

ISSN 0132-2036

ЮНОСТЬ

7

1982



В. ЕЛЬЧАНИНОВ (Смоленск).

Из детства.



ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЖУРНАЛ
ОСНОВАН
В 1955
ГОДУ

1982
ИЮЛЬ
(326)

7

ЮНОСТЬ

Главный редактор
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Редакционная коллегия:
Анатолий АЛЕКСИН
Владимир АМЛИНСКИЙ
Борис ВАСИЛЬЕВ
Сергей ЕСИН
Леопольд ЖЕЛЕЗНОВ
Юрий ЗЕРЧАНИНОВ
Натан ЗЛОТНИКОВ
Римма КАЗАКОВА
Кирилл КОВАЛЬДЖИ
Кайсын КУЛИЕВ
Мария ОЗЕРОВА
Андрей ПОТЕМКИН
Алексей ПЬЯНОВ
(заместитель главного редактора)
Юрий САДОВНИКОВ
(ответственный секретарь)
Владислав ТИТОВ
Алексей ФРОЛОВ
Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ

Издательство «Правда».
Москва

Адрес редакции: 101524, ГСП,
Москва, К-6, улица Горького, № 32/1.



В НОМЕРЕ:



Проза

Валерий ПОВОЛЯЕВ. Два рассказа	3
Леонид ФРОЛОВ. Голенастый петух. Рассказ . .	22
Игорь МИНУТКО. Шестнадцать зажженных свечей. Повесть. Окончание	32



Поэзия

Морис ПОЦХИШВИЛИ (18), Михаил КВЛИВИДЗЕ (19),
Хута ГАГУА (20), Мзия ХЕТАГУРИ (21), Рауль ЧИ-
ЛАЧАВА (21), Виктор БОКОВ (31), Евгений ЮШИН
(54), Танзиля ЗУМАКУЛОВА (55), Владимир СО-
КЛОВ (56), Александр КУШНЕР (57), Леонид ЗА-
ВАЛЬНЮК (59), Дмитрий СУХАРЕВ (60).



Публицистика

Фарман САЛМАНОВ. Искатели и испытатели . . .	62
Андрей ПОТЕМКИН. Стоит подлодка	76
Анна ПУГАЧ. Земля у океана	79
Владимир СТЕПАНОВ. У родного порога	82



Критика

Алексей ПЬЯНОВ. «Есть главное на свете—это труд»	92
Борис ГАЛАНОВ. Борис Полевой, вновь перечитанный	95
Михаил ШОР. Сложилась песня	98



Культура и искусство

Даль ОРЛОВ. Парабола	80
Виктория ТОКАРЕВА. Птице-зверь или ночь	104
Алла АХУНДОВА. Тряпичный концерт	105



Факты и поиски

Юрий ОСИПОВ. Яблоки из сада Достоевского . . .	99
Л. КАЗАКОВА. Сколько бы лет ни прошло	101



Спорт

Леонид ПЛЕШАКОВ. Феномен Анатолия Писаренко	106
---	-----



«Зеленый портфель»

Григорий ГОРИН. Эксперимент	110
Василий ТРЕСКОВ. «Высочка»	111
Арк. ИНИН. Новая Шехерезада	112

Макет
Л. К. Ябкиной.

Главный художник
Ю. А. Цишевский.

Художественный редактор
О. С. Кокин.

Технический редактор
А. В. Сальников.

Телефоны:

Главная редакция — 251-31-22
Отдел прозы — 251-59-44
Отдел поэзии — 251-44-35
Отдел публицистики — 251-02-30
Отдел критики — 251-96-76
Отдел науки и техники — 251-27-57
Отдел рукописей — 251-74-60
Отдел писем — 251-14-21
Отдел культуры — 251-48-65
Отдел сатиры и юмора — 251-05-06
Отдел оформления — 251-73-83

Во всех случаях полиграфиче-
ского брака в экземплярах журна-
ла обращаться в типографию из-
дательства «Правда» по адресу:
125865, ГСП, Москва, А-137, ул.
«Правды», 24, отдел технического
контроля, тел. 257-42-09.
Всеми вопросами подписки и до-
ставки журнала занимаются мест-
ные и областные отделения «Союз-
печати».

Сдано в набор 12.05.82.
Подп. к печ. 16.06.82.
А-08686.
Формат 84×108^{1/16}.
Высокая печать.
Усл. печ. л. 12,18.
Учетно-изд. л. 17,60.
Тираж 3 150 000 экз.
Изд. № 1582.
Заказ № 2492.

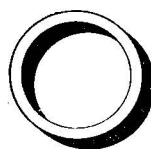
Ордена Ленина
и ордена Октябрьской
Революции
типография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина.
125865, ГСП, Москва, А-137,
ул. «Правды», 24.



**ВАЛЕРИЙ
ПОВОЛЯЕВ**



1. НОВИЧОК



Он сидел в стороне от собравшихся и, казалось, был совершенно равнодушным ко всему, что здесь происходило. Хотя, почему «происходило»? Ничего, собственно, и не происходило.

Просто ребята ждали вертолет в тайгу и радовались солнцу, которое появляется тут столь редко в осенние дни. Хотя было еще только тринадцатое сентября, уже выпал снег, который на свету сверкал взрывами, слепил глаза. Мало того, что песок здесь белый, мелкий, на крахмал своим скрипом — визгливым и протяжным — похожий, так на этот песок упал кипенно-свежий, плотный снег, который здорово отдавал тугими, как репа, и оттого дивно пахнущими яблоками.

Ребята радовались солнцу и резались в футбол, поскольку вертолетная площадка, схваченная морозом и накрытая ровной снежной простыней, превратилась в идеальное игровое поле, — вскрикивали азартно, подрывая мяч ногой и пуская его винтом в воздух, дурачились, кувыркались, ползали по снегу. Взрослые мужики вели себя, как дети, и, надо полагать, новичок, сидящий отдельно ото всех, осуждал их. Еще, может быть, осуждал возню любимец вертолетчиков — приبلудный разноглазый пес Винт с вечно озабоченной мордой, сидевший на краю площадки. Но вот он увидел, как в окне балка, служившего столовой, появилась повариха и, разложив на столе мясо, начала рубить его ножом. Винт не замедлил тут же переместиться под окно столовой и теперь, поглядывая в стекла, страдальчески тихо скулил, кланяча подачку.

— Эй, новенький! — приостановив игру, прокричали мужики. — Чего плесневеешь?

Новенький на этот призыв не обратил внимания — как сидел, погруженный в себя, так и продолжал сидеть.

— Иди, почтеннейший, сюда, мяч гонять будем! — позвал новенького мастер Канищев. Персонально позвал.

ДВА РАССКАЗА

*Рисунки
В. Мочалова.*

Новенький в ответ лишь отрицательно помотал головой: не до игры, мол. Судя по напряженному вытянутому лицу его, на котором равнодушие сменялось каким-то озбившим выражением, он кого-то ожидал. А может, просто хотел навсегда запомнить этот день, первый день своей работы, все его детали, приметы, черты — и солнце, яркой капельной точкой застывшее в бездонной сини, и снег, пахнувший яблоками, и мятый, избитый безжалостными ударами, кое-где уже залатанный кожаный мячик, и пса, который прекратил скулеж и теперь возбужденно мельтешил лапами под окнами столовой, притаптывая небесный крахмал.

— Новенький, как тебя зовут? — прокричали мужики, снова оторвавшись от футбола.

Канищев знал фамилию новенького — начальник отдела кадров сообщил, — но промолчал, ему было интересно, как поведет себя новичок, кем окажется, орлом или курицей.

Мастера пушечных ударов были опытными северянами, они знали, что в тайге, на буровой, которая черт знает как далеко находится отсюда, им предстоит жить вместе с этим новичком, делить пополам соль и воду, хлеб и огонь, вместе пережить непогоду и ходить на охоту, вместе работать. Если сюда попадает нелюдь-одиночка, заносчивый чужак, он не уживается среди других, вскоре улетает на Большую землю — тут героям-одиночкам нечего делать. Надо быть вместе со всеми, иначе делодохое — закиснешь, пропадешь.

Новенький не изменил тактики: он промолчал.

— Как тебя зовут? — никак не хотели отступить от своего мастера дворового футбола, бесхитростные ребята, меченные тайгой, морозами, тундрой, всякими ЧП, которые нет-нет, а и случаются на буровых: то бурильную трубу в скважине прихватит, то таежный дядюшка-медведь на площадку пожалует с расспросами, будто его действительно интересует, как там в мире насчет энергетического кризиса, — словом, всякое бывает.

Новенький шевельнул головой, вытянул шею, словно ему горло сжимал воротник, надел очки, стрельнул скалками в сторону играющих.

— Ковалев!

— Давай, Ковалев, присоединяйся. Мячик вместе попинаем. Для здоровья польза, животу разгрузка.

В это время на дороге, ведущей к вертолетной площадке, показалась черная, лаково блестящая в солнечном свете «Волга». Надо заметить, что легковушки бывают тут такой же редкостью, как, например, бразильский дикобраз в ямальской тундре или тропический розовый попугай, затесавшийся в кучу здешних раззяв-ворон, любящих коротать время на телефонных проводах.

— Мужики, руки по швам! — скомандовал Канищев. — Начальство едет. Явление Христа народу.

Новенький поднялся и захрумкал подошвами меховых сапог по снегу. Навстречу «Волге» захрумкал. Кстати, таких роскошных сапог, как у новенького, ни у кого из бурильщиков не было, большая редкость эта обувь — теплые, удобные и элегантные сапоги, даже на танцах в них не стыдно показаться.

Игра потеряла живость, сделалась вялой, тряпичной, угасла буквально на глазах. Мужики попросту пинали мяч из одного угла площадки в другой, всем стало интересно: а кем же доводится новичок тому, кто приехал в «Волге»?

Из машины вышел молодежавый и худой мужчина с веселыми и в ту же пору довольно жесткими глазами. Этого человека многие знали в лицо — он был одним из столпов города, часто появлялся в президиумах, заседая, азартно выступал на собраниях, случалось, и в тайгу прилетал к бурувикам.

— Фью-ю, — присвистнул кто-то из игроков, услышав, как приехавший обратился к новичку: «Ну, здорово, сын!».— А мы-то думали, чего этот парень такой важный и неприступный? Сидит в стороне, словно нарочный из небесной канцелярии, ждет, когда наступит его черед подзатыльники раздавать.

— Потихе. Все слышно ведь.

— Ничего. От этих слов ни волосы, ни лысина дыбом не встанут.

В это время растворилась задняя дверца «Волги». Сделалось тихо, как в рыбьем царстве: показалась прекрасная женская нога с точеным нежным коленом, обутая в тугую замшевый сапог, пощупала землю: не грязно ли? Потом показалась нога другая — видно, выбраться сразу из машины девушке мешала чересчур узкая юбка, — и взору бурувиков явилось нечто дивное, отчего мужики сразу вытянули шеи, замерли в восхищении. Девушка была черноволосой, как может быть черноволосая, наверное, только грузинка или турчанка, с нежным улыбочивым ликом ангела, пухлыми яркими губами, гладкой смуглой кожей.

— Здравствуй, Мики, — сказала она новичку, а когда тот подошел, подставила для поцелуя щеку.

Конечно, насчет «Мики» она была неосторожна, теперь вся бригада будет так звать новичка, дразнить, поддевать по делу и без дела, но ошеломленные голкиперы не обратили на это прозвище внимания: они глазели на девушку.

А та знала, насколько она хороша, потому в их сторону даже не глядела, будто их не было вовсе, и этим еще больше горячила кровь и воображение бывалых таежников. И тут один из несостоявшихся чемпионов обронил едва различимым голосом:

— Ребята, а ведь она не Ковалева любит, вы только посмотрите внимательнее на нее. Она положение отца его любит, деньги, черную «Волгу». А сын здесь, увы, всего-навсего придаток.

— Помолчал бы ты, брат-философ. — Канищев попытался приструнить говорившего. Фамилия «философа» была Сысоев. — Слишком зло судишь!

— А ты утопист, — огрызнулся Сысоев. — Будешь доказывать, что сильнее зла есть одна только вещь — добро, да? Толстовец несчастный.

— Не так уж плохо быть последователем гения русской литературы. — Канищев вздернул подбородок.

— ...Может, пап, мне все-таки отказаться от работы и поступать в заочный институт? — переминался тем временем с ноги на ногу младший Ковалев.

— Провалишься, как и в очный.

— А ты мне не сможешь? — спросил с надеждой сын.

Отец усмехнулся весело и одновременно жестко, повел лучистыми глазами в сторону, качнул головой.

— Не помогу.

Младший Ковалев поправил очки на переносице, посмотрел куда-то вдаль, на прозрачно-дымную обрезь низенького леса — там, за болотами, начиналось таежное царство, сперва лес рос хилым, туберкулезным — жить мешали болотные яды, — дальше он поднимался все выше и выше, и километрах в двадцати отсюда деревья уже макушками за облака задевали, водились там сосны корабельные, кедры в два обхвата. Отец увидел, как отразилось во взоре младшего Ковалева что-то тоскливое, одинокое.

— Знаешь, как в древней Спарте учили плавать юнцов? — Старшему Ковалеву было понятно все, что происходило сейчас с сыном, он уже имел горький опыт становления и падений, был бит в разных битвах, знал, что надо делать, когда изменяет любимая женщина и когда уходят из дома дети, умел спа-

саться от людского наговора и укрываться снегом в мороз, пережить пургу, хулу, славу, критику, он все знал и умел и хотел этому искусству обучить и сына. — Очень просто: бросали в бурную воду, и все. Если ребенок выплывал, значит, ему уже никогда не дано было утонуть, он любой поток мог одолеть, любую передрыгу перемочь, выжить, выйти еще закаленнее, еще сильнее, чем был раньше. Если же тонул... — Отец замолчал на секунду, закончил решительным голосом: — Значит, так тому и следовало быть.

— А если я утону? — спросил сын.

— Не утонешь. — Отец хлопнул его по плечу, сощурил лучистые глаза. — Ты — Ковалев. А Ковалевы не тонут. — Повернулся к девушке, молча наблюдавшей за ними. — Верно, Ирина?

Та кивнула в ответ.

— Учти, сын, женщины сильных любят. Не слабых, а сильных. Вот я и хочу, чтобы ты сильным был. Все. Долгие проводы — лишние слезы. — Он взялся рукою за дверцу машины. — Поехали!

Когда «Волга» треснула по дороге, направляясь к городу, мастер Канищев хмуро пробасил:

— А ведь папа-то прав, парня учить придется. Иначе он погибнет. И ангелочек этот дивный его бросит.

— Ангелочек его все равно бросит, стоит только папе силу потерять.

В тайгу бригада обычно вылетает на неделю, чтобы сменить на буровой другую бригаду, реже — на две недели. Это в тех случаях, когда буровая находится далеко. Канищевская же бригада улетала на целый месяц — их буровая располагалась у черта на куличках, на краю краев земли. И все равно месяц — это не десятилетие и даже не год. Так к чему такие пышные, демонстрационные проводы? Через месяц же сын вернется обратно.

— Чтобы отрока воспитать в надлежащем духе, — изрек Канищев мудро. Добавил: — Вот к чему.

В этой бригаде работали три приятеля, извечно подтрунивающие друг над другом. Один из них — Сысоев — философ — по образованию был художником, приехал сюда из Москвы. Второй — сам мастер Канищев — также жил когда-то в Москве и дружил с Сысоевым с детства, но потом Москву забросил и переехал жить в Сибирь, тут женился и обзавелся домом и детьми. Третий — мрачноватый, до самых глаз заросший бородой Брагин, прозванный Лесовиком, — считался правой рукой мастера Канищева. Вот эта тройка и взялась за воспитание младшего Ковалева. Особенно рьяно — Сысоев. Брагин молча помогал, Канищев же — его все звали дядюшкой Каном — просто дал «добро» на переделку новичка, сам в «акции» не участвовал.

Что главное в воспитании строптивого подопечного? Чтобы воспитываемый почувствовал: он уязвим, он такой же, как и все люди, так же состоит из крови и плоти, подвержен наплывам плохого настроения, налетам гриппа и прочим напастям, за просто может стать предметом насмешки, — словом, все это надо было дать почувствовать Ковалеву, сбить с него юношескую спесь. А какое лекарство для этого самое лучшее? Смех, и только смех.

Поместили Ковалева жить в хижину дяди Кана — балок, где уже прописалась наша тройка: Канищев, Сысоев и бородатый «весельчак» Брагин-Лесовик. Канищев, как мастер, был старостой балка, поэтому жилище и называли по его имени.

Сысоев по части розыгрыша и смеха вел давний счет с Канищевым. И вообще эта пара — Сысоев и Канищев — являла собою примерно то, что и герои знаменитого чеховского рассказа Толстой и Тонкий. Сысоев был маленьким, круглым, будто футболь-

ный мячик. Когда он выходил из-за обеденного стола, то у него на пиджаке отлетали пуговицы — так паренек набивал себя. Канищев же, напротив, был высоким, жилистым, с худым лошадиным лицом, рот постоянно растянут в каннибальской улыбке — от такого только и жди подвоха.

На вахту бригада заступила сразу же, едва прилетели на буровую. Во второй половине дня.

По дороге на буровую Ковалев поддел носком своего роскошного мехового сапога хилое деревце, похожее на прутик, растущее криво и пригнотившееся уже загнуться, увянуть навсегда. Ковалев только приблизил его кончину. Тем не менее Канищев назидательно поднял палец вверх:

— Много леса — не губи, мало леса — посади!

Стали поднимать из скважины инструмент, надо было сменить долото, съевшее свои зубы в борьбе с земной твердью, — работа долгая, хлопотливая, нудная. Подходит Брагин к Ковалеву, старое зубило в руке держит, из бороды горелая спичка торчит, зубами зажата.

— Слушай, зубилом умеешь пользоваться?

— Если не умею, то научусь.

— А тут и учиться нечему. Надо только выбрать кувалду потяжелее — это главное. — Брагин, исполненный мрачной озабоченности, нагнулся, пошарил рукою в деревянном закутке, где хранились молотки, кувалдочки, кувалды, вытащил увесистый металлический обабок, насаженный на буковую рукоять, сказал Ковалеву: — Вот такая, пожалуй, годится... Работа простая — бьешь с размаху по металлической шляпке. — Отдал кувалду Ковалеву, поднял зубило повыше, показал: — Это и есть шляпка, вот туловище, а вот острие. — Малоразговорчивый Брагин, похоже, произносил сегодня самую длинную свою речь. — Стучишь по шляпке, а острие на металле следы оставляет. Само. Разумеешь?

— А задание какое будет?

— Надо «свечи», которые мы из скважины вытаскиваем, римскими цифрами пронумеровать. Чтобы не было путаницы. Какая труба за какой пойдет, когда инструмент снова в скважину опускать будем. Не дай бог поменять одну трубу на другую.

— Ладно, — вяло отозвался Ковалев. — Пронумерую.

— Только пальцы себе не отбей, — предупредил Брагин. Хмыкнул: — Мики.

Значит, все-таки услышал Иринино обращение. Крутится Ковалев вокруг мокрых, перемазанных глиной труб, тюкает по ним зубилом, а бригада вся за животы держится. Ковалев — насупленный, потный, с морковно-румяным лицом — все тюкает и тюкает зубилом по трубам, уже двадцатую «свечу» двумя римскими крестами нумерует. И до тех пор это тюканье продолжалось, пока Канищев, ходивший на рацию, чтобы связаться с экспедицией, не вернулся, не положил конец ненужному занятию.

Ровно через час Сысоев попросил Ковалева принести ему доску, тот молча кивнул в ответ, сохраняя на лице выражение достоинства — властного, начальнического, — чего Ковалев сам, может быть, и не замечал, освещаемый с детства лучами влияния, славы отца.

— Быстрее, быстрее! — поторопил Сысоев. — Не спи на работе, Мики. Шевелись, пареня!

Доской на буровых называют приспособление для замены долота. Когда-то кто-то дал этому инструменту такое «деревянное» прозвище, оно прижилось и существует на свете уже столько, сколько существуют буровые вышки.

Ковалев негнушейся, исполненной самоуважения походкой медленно спустился с буровой площадки, прошел к дощанику, где хранился инструмент, заглянул, ничего деревянного не нашел, завернул за угол сарайчика и через минуту выбрался оттуда, неся на плече кривой горбыль с длинными лохмотьями кожи, свисающими с торца.

Кто-то на буровой не удержался, приснул хохотом, но Сысоев толкнул несдержанного гражданина локтем в бок, предупреждая: молчи!

Хотя чего опасаться — дизель-то работает на всю мощь, сотрясает округу своим выхлопом; кричит, звякает ключ, тупо сжимая челюсти вокруг буровой трубы; саму площадку трясет, как палубу корабля, угодившего в свирепый шторм. Правда, навострились ребята: если не шепот, то, во всяком случае, нормальный голос в тяжелом металлическом лязганье различают без натуги. Новичок же такой слух пока еще не выработал, это приходит со временем.

Втащил Ковалев горбыль на буровой помост, бросил к ногам Сысоева. Тот сощурил непонимающие глаза.

— Я же тебя доску просил принести, дорогой Мики, а ты что приволок?

— Досок у нас нет, есть только горбыли.

Тут уж откровенный, забивающий лязганье и тараканье дизеля хохот заставил испуганно вздрогнуть сосенки и кедры вокруг буровой.

Ковалев обиженно поджал губы, начальственное выражение сползло с его лица, уголки рта задрожали, опустились вниз, и всем показалось, что новичок сейчас заплачет — вон и глаза уже краснотой набухли, начали поблескивать влажно, но все-таки Ковалев совладал с обидой. Насильно улыбнулся, а потом и захохотал.

— А чего, вполне возможно, что он излечится. Ей-ей. Если дело и дальше так двинется, то больной скоро пойдет на поправку, — резюмировал смех новичка Сысоев, и все согласились с ним.

Ковалев, похоже, ощутил настоячивость бригады, для которой время почему-то остановилось, когда она начала заниматься Ковалевым, понял насмешки Сысоева, дядюшки Кана и этого мрачного Лесовика с хмельной фамилией Брагин. И еще понял младший Ковалев: никакой папа здесь не поможет, хоть головой о землю бейся. И если эти мужики захотят сделать из него мальчишка для бития, — запросто сделают. Тягаться физически он с ними не сумеет — вон тут какие бугаи подобрались, пятак переломить пополам или на три части разделить подкову для них плевое дело. Попробовать задавить их интеллектом? Появилось поначалу у Ковалева такое желание, и заполыхал уже в душе опасный огонь мщения, но по обрывкам фраз, по разговорам, которые он слышал, по редким репликам, обращенным к нему, он вовремя сообразил: не светит ничего ему здесь, только шишки себе набьет.

Временами ему хотелось сжаться в комок, в сухой гриб обратиться, чтобы стать неприметным, чтобы на него никто внимания не обращал — посидеть так наедине с самим собой, может быть, даже и поплакать, понимая, что очищающие слезы наверняка принесут облегчение, это он знал точно, — но желание так и оставалось желанием: никуда Ковалев не исчезал, никуда не забивался, дальние темные углы обходил стороной и потому все время был на виду.

С какой-то особой, пронзительно-светлой печалью он вспоминал Ирину, в которую влюбился еще школьником. Она была старше, училась в девятом классе, он в восьмом. Отец был против его увлечения, говорил, что ничего хорошего из этого не выйдет, сын слишком молод, мал, зелен еще для нее,

Ирина ведь уже сформировавшаяся женщина, а женщины любят сильных, зрелых мужиков, людей, которые старше их, и совсем не обращают внимания на своих одногодков или тех, кто моложе.

Девчонки всегда бывают старше, взрослее своих сверстников-мальчишек, это закон.

Но младший Ковалев с каким-то тупым, а впрочем, вполне понятным упрямством продолжал стоять на своем: он любит Ирину, а она любит его. И когда они закончат учебу, получат высшее образование, то поженятся. Но вот как вышло: Ирина, довольно сносно сдав все экзамены, поступила в областную педагогический институт, Ковалев же заматхнулся на Москву, на всемирно известный ВГИК, о котором мечтает каждый школяр, получающий аттестат зрелости. И, естественно, срезался. «Вгикнулся», как говорят во ВГИКе. Сдал документы в Институт театрального искусства — и тоже срезался. Хорошо, что экзамены в вузах Москвы проводятся в разное время, поэтому Ковалев попытался попасть в третий вуз — и опять неудача.

Вот тут-то и наметился разлом, Ирина стала на Ковалева смотреть как-то по-иному, не так, как раньше, — что-то холодное, незнакомое, заставляющее тревожно колотиться сердце, появилось в ее взгляде. Временами она вообще воспринимала Ковалева словно совершенно чужого человека.

Отец, замечая подобное, только насмешливо хмыкал: он, много поживший, имел опыт и в таких делах, знал и поражения и победы.

— ...Слушай, Мики. — Сысоев подошел к новичку, собрал озабоченные морщины на лбу. — Тут вот какая петрушка обозначилась: масло нам отработанное нужно. Из буре. Обратно мы его называем. Прокладки у дизеля надо смочить, иначе клапаны стучат и перегрев слишком большой. Сходи в сарай, там использованные буры лежат, будь другом, а! Нацеди баночку. Во как нужно! — Он чиркнул пальцем по горлу.

Ковалев не раз видел уже, как бур вытаскивают из земной глубины и какой он затупленный, забытый глиной, грязью, каменной крошкой. Бур будто сам из земли бывает сделан — и никаким отработанным маслом в нем вроде бы не пахнет. Нет в буре никакого масла! Нет и быть не может.

Молча кивнув в знак согласия, Ковалев отошел, пробормотал что-то недовольное про себя. Сысоеву показалось, Ковалев сказал: «Сейчас сделаю», — но, видно, стекла очков, за которыми пряталось выражение ковалевских глаз, помешали Сысоеву сориентироваться, и он, похлопав себя по животу, уминая плоть, чтобы не отлетели пуговицы, приготовился к очередному сеансу хохота. Подтолкнул плечом дядюшку Кана.

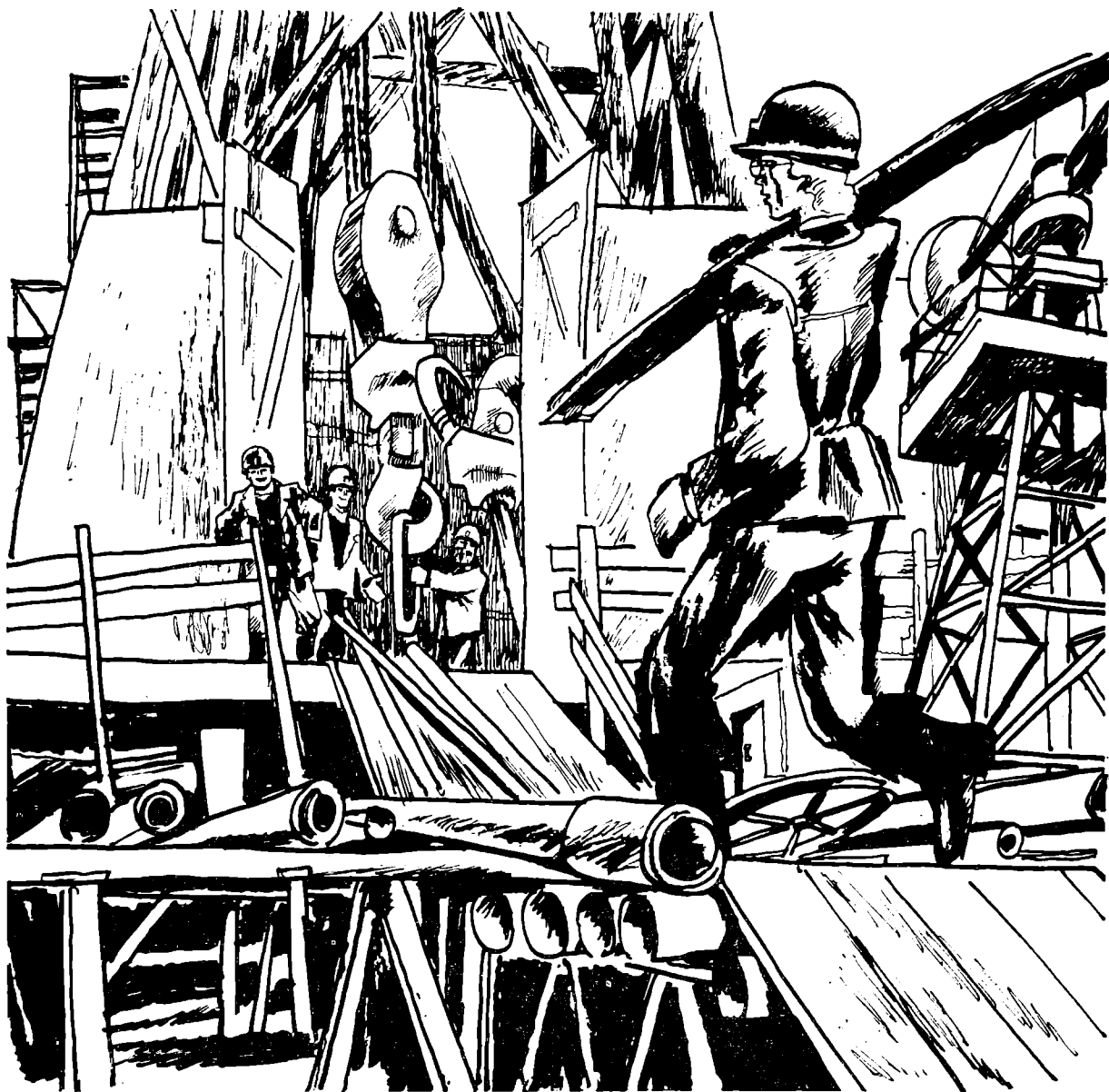
Прошло немного времени, и на тропке, ведущей от сарая к буровому помосту, оказался запыхавшийся Ковалев — он возвращался назад, дыхание радужным веселым облачком вспухало над ним.

— Масляный обрат минут через десять принесу, жестянку под бур уже поставил. Стекает. Только очень медленно, — пояснил Ковалев, потом совсем неожиданно спросил: — А масла нормального, неотработанного у нас много?

Сысоев наморщил лоб, обдумывая вопрос. Он не видел никакой опасности в этом вопросе. Да и разве новичок, салага-юнец, зелень огородная, осмелится нападать на него, матерого таежного волка?

— Масла? — переспросил он. — Полбочки найдется. А что, картошку жарить собираешься?

— Нет, думаю, кто это так неэкономно машинное масло расходует? Через выхлоп из трубы во какой струей течет! — Ковалев с особым рабочим ши-



ком произнес «выхлоп!», скруглил пальцы обеих рук, показывая, какого размера струя хлещет из трубы.

Глаза у Сысоева сузились, он наморщил лоб, прикидывая: что же могло случиться с дизелем и кто виноват в этой беде? Потом в горле у матерого таежного волка забряцало что-то, будто он, не жуя, глотал, извините за выражение, гвозди, взгляд ожесточился, и Сысоев, вначале медленно, а потом все убыстряя и убыстряя шаг, двинулся к навесу, под которым находился дизель, нырнул в темную мрачную отдушину, оставленную откинутым в сторону брезентом, — дизель тщательно укрывали, берегли от снега, дождя, ветров: пока работает дизель на буровой — работает и сама буровая. Через полминуты Сысоев выметнулся из-за полога и, приставив к навесу лестницу, полез наверх проверить, все ли там в порядке.

Бригада ждала, глядя, как Сысоев, осторожно переступая ногами, чтобы не провалиться, перебирается поверху из одного угла навеса в другой, тщательно осматривая каждую из трех выхлопных труб. Такими шагами, наверное, только грибники по лесу ходят, опасаясь спугнуть добычу — не то ведь гриб, как услышит громкий топочущий шаг, скусится, съжится от страха, спрячется под пологом лежалых листьев и травы, и тогда ни за что его не найдешь.

— Ну чего, течет? — прокричал дядюшка Кан, вытянул худую, обвитую жилами шею и вдруг, звучно стукнув себя ладонями по коленям, захохотал.

Спустившись с лестницы задом, Сысоев неуклюже спрыгнул на деревянный помост и, неожиданно поняв, в чем дело, растянул рот в слабой недоверчивой улыбке.

Затем подошел к младшему Ковалеву, похлопал

его ладонью по ватным, обтянутым телогрейкой плечам, словно проверял на крепость.

— Молодец, Мики, хорошо разыграл. Так держи и дальше. Толк выйдет... бестолочь останется.— Сысоев улыбнулся уже в полную силу, показал частые некрупные зубы, наклонился к уху Ковалева.— Вот что...— Ткнул пальцем вниз.— Совет тебе: обувку эту поменяй, слишком пижонская она. К таким сапогам уважения нет. Надень лучше простые кирзачи, в них и ходить, голуба, сподручнее и... чтоб один в пижонской обувке ходил, а остальные в разбитых кирзачах... Мужики наши не понимают этого. А с розыгрышем молодец! Чисто сработал. Один ноль в твою пользу.

Новичок покивал в ответ — он, судя по всему, действительно кое-что начал наматывать на ус.

Маленький, круглый, смешливый Сысоев принадлежал к категории людей, которые никогда не остаются в долгу. Даже в самых малых малостях не остаются.

На буровой подходил к концу запас бентонита — глины, которую используют для раствора. А без раствора, как известно, бурить нельзя, ЧП может случиться.

Бентонит был доставлен в бригаду вертолетом — пришел тяжелый, вяло свистящий в воздухе лопастями «Ми-6», снизился, пробуя площадку колесами — выдержит ли земля такую тяжесть, потом примерился окончательно, сел, увязнув в насте, заглушил двигатель. Вначале из трюма с лаем выскочил Винт, потом оттуда выбросили груды бумажных мешков, похожих на коконы, Винт снова прыгнул в машину, вертолет загудел мотором, поднялся и улетел дальше на север.

Для вертолетных площадок место подбирают особое, почву пробуют, что называется, на зуб: будет ли земля держать тяжелую машину, не даст ли осадку, не раскиснет ли в дожди, хороши ли к ней подходы и подъезды, словом, выбор вертолетного пятака — целое искусство. И очень часто бывает, что вертолетная площадка находится не рядом с буровой, а где-нибудь километрах в двух-трех от нее: ближе подходящего места не удалось выбрать.

Так и здесь. Вертолетная площадка располагалась далеко от буровой, и за бентонитом надо было ехать на машине. Кому поручить простую, но трудоемкую работу? Естественно, кому. Новичку.

— На чем ехать? — спросил Ковалев, довольный, что наконец-то получил ответственное задание.

— На ЛПК, на чем же еще, — хмыкнул Сысоев. — Пойди к Канищеву, скажи, что ЛПК требуется для перевозки бентонита, пусть даст. Заводи агрегат и поезжай.

— Угу, — согласно покивал головой новичок Ковалев и потопал по черной, много раз хоженой тропке в балок, где жили и он, и Канищев, и Сысоев.

Дядюшка Кан сидел за столом, длинный, жилистый, какой-то кособокий, на корчагу похожий, и, нагнувшись на нос модные, в черепаховой оправе очки, заполнял буровой журнал. Увидев новичка, молча повел головою на стул: садись, мол. Новичок оторичательно помотал перед собой ладонью — некогда расслаиваться, дело надо делать.

Тогда дядюшка Кан, отложив писанину в сторону, поднял голову.

— Ну?

Ковалев ни капли не сомневался в том, что справится с ЛПК — это, должно быть, простейший механизм, которым может управлять каждый рабочий, тут водительские права совсем не нужны, поэтому новичок уже нутром своим, кожей ощущал тот сладостный момент, когда сядет за руль этого ЛПК, заведет мотор и — р-р-р! — укатит на вертолетную

площадку. Ковалев кашлянул, прочищая горло, чтобы голос был будничным, не выдавал истомы ожидания, внутренней напряженности и одновременно чтобы в нем серьезность присутствовала.

— ЛПК надо, мастер. На вертолетную площадку съездить, бентонит привезти.

Дядюшка Кан крикнул, на лице у него возникло какое-то суматошное движение, удивление сменилось обидой, потом лукавством. Крикнув во второй раз, Канищев приставил ко рту кулак, потом ухватил себя за подбородок.

— Кто тебя за ЛПК послал? Сысоев, что ль?

Немного помедлив, Ковалев кивнул.

— А что такое ЛПК, ты знаешь? — Канищев засмеялся.

— Ну... машина!

— М-машина, — передразнил новичка дядюшка Кан. — ЛПК — это, почтеннейший, лебедка для подъема керна. Пора бы, черт возьми, знать. И ни руля, ни колес она не имеет. С таким же успехом можно съездить за бентонитом верхом на жерди или на бочке из-под солярки. Все едино. Понятно? — Снова крикнул, на сей раз изобразив досаду. — Нашли время для розыгрышей! Это все-таки работа, а не вечер отдыха, где можно веселиться как кому вздумается.

Понурым, уязвленным возвращался новичок на буровую, поддевая носками сапог смерзшиеся комки снега, деревяшки. Потом остановился, поглядел на сапоги, подумал, что, пока он не станет таким, как все, не сравняется с этими мужиками-лесовиками в простоте, дружелюбии, способности реагировать на удачу, поражение, победу, потерю, насмешку, он будет в бригаде чужим. Вечным новичком, которого ждут в основном подзатыльники, а не радости. Вздохнул тоскливо, протяжно, жалея прошлое — безоблачные школьные дни, вечера, проведенные вместе с Ириной. Все это теперь позади, с этим надо раз и навсегда попрощаться. Потому что настала иная пора в жизни. Новая.

Пройдет время, и от прошлого останется одно пепелище, сколько мы о нем ни вздыхай, сколько ни сожалей — да, собственно, жалеть и не надо, ибо и настоящее и будущее покоятся на фундаменте прошлого.

Ковалев вздохнул глубоко, пытаясь отогнать от себя тоску, отмести все, что вгоняло в сентиментальность, расслабляло, подумал, что неплохо бы — да какое там неплохо, здорово, невероятно здорово! — быть жестким, умным, ироничным человеком, способным реагировать холодно, философски-спокойно на любой удар судьбы, на любую насмешку. Надо учиться повелевать собой, без этого просто жизни дальнейшей не должно быть!

На буровую Ковалев пришел именно таким, каким ему хотелось быть: холодным, философски-спокойным, не реагирующим ни на какую подначку.

А мужики на буровой уже сжились от предвкушаемого удовольствия. Завидя новичка, начали хмурить лица, чтобы хоть как-то сдержать улыбку, не выдать ни себя, ни Сысоева, затеявшего очередной розыгрыш.

— Чего так быстро? Уже привез бентонит? Ай да Мики! — удивился Сысоев, приподнял брови, потом взглянул на часы. — Да нет, шер а ми, никак не должен ты был вернуться. По времени рано еще. — Вдруг всплеснул руками: — Это надо же! Жмот Канищев не дал тебе ЛПК, чтобы на вертолетную площадку за бентонитом съездить. Ну и жмо-от у нас товарищ Канищев!

— Не жмот он, а, извините, рачительный хозяин, государственную технику бережет, — тихим, ничего не выражающим голосом возразил Ковалев. — Да

потом там поломка стряслась — правое заднее колесо спустило, надо шину залатать, а это дело, как сказал товарищ Канищев... — новичок изменил голос, подражая Канищеву: —...можно только специалисту доверить. Потому он и просил вас, — Ковалев церемонно поклонился Сысоеву, — прийти и заняться ремонтом.

Вот так и шло обкатывание новичка Ковалева. Через двадцать дней на вертолетной площадке приземлился новенький аэрофлотский «Ми-4», яркий, как пасхальное яйцо, крашенный в светлый, с жемчужным посверком колер, с синей полосой, продолженной вдоль обоих бортов, совершенно не похожий на запаренные, замызганные вертолеты-трудяги, которые возили в тайгу мазут и солярку, бентонит и бурильные трубы, жратву и вахтовые бригады. На чистеньких вертолетах летает в основном начальство, гостей возят, сибирские красоты им показывают. И верно — прикатило начальство: Ковалев-старший.

Ковалев-младший, придя с ночной вахты, в это время спал в хижине дядюшки Кана.

Ковалев-старший, узнав, где располагается сын, прошел прямо в балок, долго сидел у его постели, сосредоточенный, молчаливый, с горестными морщинами, обметавшими сухой крепкий рот, с набрякшими усталостью веками. Было видно, что это уже изрядно потрепанный временем, задерганный всеми и вся человек. Он, похоже, сейчас расслабился и стал самим собой; не верилось даже, что Ковалев-старший может быть веселым, жестким, неуступчивым, волевым, насмешливым, — сидел совсем домашний, измотанный начальством, гостями, морозами, городскими неурядицами мужик. О чем он думал сейчас? Вряд ли об этом мог кто-либо знать. Кроме него самого.

В хижине дядюшки Кана пахло мокрыми портянками, плесневелой кожей исшарпанных о мокрый снег сапог, мазутом от промасленных телогреек, которые на манер седел были положены на хребтину длинной, неровно склепанной трубы, ведущей к печушке. Спал не только новичок Ковалев, спала вся хижина дядюшки Кана — и сам Канищев, и круглобкий храпун Сысоев, и мрачный таежник Брагин.

Ковалев-старший вздохнул, всплывая на поверхность. На лицо его напозлали улыбка, горестная плетенька вокруг рта убралась, проступил румянец. Он тронул Ковалева-младшего за плечо.

— Сын, вставай!

Тот, среагировав на зов, нехотя шевельнулся во сне, отодвинулся к стенке, снова затих. Ковалев-старший опять подергал его за плечо.

— Вставай, сын, вставай, дорогой.

На этот раз действовало. Ковалев-младший поднялся, сел на постели, не открывая глаз, покрутил лохматой, в висюльках отросших волос головой.

— Чего случилось? — пробормотал он хриплым голосом.

— Ты что, не узнаешь меня? — тихо спросил отец. Ковалев-младший вскинулся, сонная одурь мигом слетела с него, в глазах обозначился ясный свет радости.

Отец сейчас узнавал и не узнавал сына. Надо же, три недели не было его — всего три недели, а как сын изменился! Впрочем, ему все равно было суждено измениться. Но если бы это происходило на глазах, было бы не так заметно. А здесь — вон какой резкий переход.

Ковалев-младший растянул рот в счастливейшей улыбке. Для него сейчас перестало существовать все. Кроме отца.

— Как ты здесь живешь? — вполголоса спросил

отец, оглянувшись, посмотрел на сложившегося вдвое, словно ребенок во сне, Канищева, лежавшего на соседней койке, перешел на шепот: — От работы не умираешь?

— Труд сделал из обезьяны человека, — с неожиданным высокомерием произнес Ковалев-младший. — И ничего, не умерла макака, когда ее преобразовали...

Отец усмехнулся.

— Месяц назад ты, увы... не того мнения был. В институт не тянет?

— Тянет, — признался Ковалев-младший.

— На будущий год поступишь. Курить здесь у тебя можно?

— Кури. У нас в балке все дымят.

— Коллектив не обижает? Новичков ведь не сразу признают.

— Не сразу, — согласился Ковалев-младший. — Коллектив? — Немного подумал, покачал головой. — Нет, не обижает. — Потом внимательно поглядел на отца и, несмотря на маску веселости, начальственного дружелюбия, родительской заботы, которая была прочно припечатана к лицу Ковалева-старшего, уловил в его взгляде что-то горькое, растерянное, не характерное. — Ты чего это вокруг да около ходишь? Что-нибудь случилось? А? Скажи!

— Чего говорить? — Ковалев-старший полез в карман, немного помедлив, достал оттуда конверт. — Это тебе. Читай!

— От Ирины? — изменившимся голосом спросил Ковалев-младший.

— Нет, от Венеры Милосской, — жестко проговорил Ковалев-старший, но, почувствовав, что жесткость ни к чему, порывисто наклонился к сыну, прижал его к себе, ощутил, как у того где-то далеко бьется сердце.

Какая-то немужская слезная жалость стиснула горло, мешая дышать. Ковалеву-старшему показалось, что каждая часть его тела живет сама по себе, отдельно, и каждая часть эта поражена тупой ноющей болью, умирают клетки, и час от часу этих мертвых клеток становится все больше и больше, они замусоривают организм, мешают клеткам жить. Ковалеву-старшему было сейчас больно за сына. Он заговорил, стараясь придать голосу бодрый оттенок, но это у него не получилось, все равно он никак не мог скрыть тоску и сочувствие в голосе.

— Понимаешь, малыш, в жизни не раз приходится выходить на длинную дистанцию, брать барьеры, и очень часто в этом беге с барьерами, — он усмехнулся печально, в себя, — мы теряем друзей. Одни оказываются слабачками и покидают нас в трудную минуту, другие делают перерасчет и находят людей, попутчиков, так сказать, более выгодных, чем мы, третьи просто перестают любить нас. Но не надо жалеть ни о первых, ни о вторых, ни о третьих. Надо просто научиться воспринимать потери. Ибо, извини за банальность, жизнь состоит не только из одних приобретений. Иначе бы она была сплошным рождественским пряником или сверкающей новогодней игрушкой.

Ковалев-старший, умный человек, понимал, что говорит избитое, тысячу раз уже произнесенное другими, мучался из-за этого и вместе с тем чувствовал, что не произносить эти банальные слова нельзя. В конце концов любая истина банальна. Она так изнашивается от бесконечных повторений, что ее время от времени надо чинить, как прохудившуюся одежду. А с другой стороны, Ковалев-старший говорил все это для того, чтобы заглушить собственную маету, боль, поднимающуюся в нем. Боль за сына.

Сын вскрыл конверт, бросил его на пол, прочитал записку.

Подглязья у него буквально вымерзли, сделались белыми, как снег. Белые пятна пошли и по щекам. Когда Ковалев-младший поднял глаза, в них плескалась мука.

— Извини, сын, что привез тебе такую худую новость. Извини.

— Ты здесь пролетом, отец? Или специально приехал? — пересилив себя, сухим и спокойным, абсолютно ровным голосом спросил Ковалев-младший.

— Я транзитный. Дальше, на север, лечу. Здесь посадку из-за тебя сделал. — Ковалев-старший помолчал. Признался: — А ты изменился, сын.

— К худшему или к лучшему?

— К лучшему.

— Значит, ты был прав, что послал меня сюда, в тайгу, а не оставил в городе.

— Не знаю, не знаю.

На соседней койке зашевелился Канищев, всхрипнул, переключаясь с одного сна на другой, попытался вытянуть ноги, но койка была короткой для рослого таежника, и он уперся пятками в стенку.

— Тс-с-с, — забеспокоился Ковалев-старший, — мы его разбудим.

— Не разбудим. После ночной смены мужики всегда спят как убитые. — Тут Ковалев-младший ударил кулаком по колену, потряс лохматой головой. — Надо же, а! А я ведь любил ее, батя, верил ей...

— Не надо! Не раскисай, как огурец в рассоле. Держи себя в руках!

— Не бойся. Ручей не выплеснется из берегов, — произнес Ковалев-младший манерно. Все-таки он совсем еще пацаном был. — Не расплывусь, — выдавливал тем временем сын из себя слова, — здесь, в тайге... меня за это время кое-чему научили.

— За двадцать-то дней? — удивился отец. Посмотрел на часы. — Все, сын, мне пора лететь, — неловким сострадающим голосом сказал он. — Извини, ради бога. Люди ждут.

Ковалев-младший молча кивнул, запрокинул голову назад. На шее у него запрыгал, забегал какой-то маленький, хрупкий, вызывающий жалость щенячий кадык, и Ковалева-старшего будто пламенем обожгло: ведь это же сын, его родная ветвь, плоть от плоти, кровь от крови, сы-ын, за которого он в отведье и перед людьми, и перед землей, и перед самим собой. Сыну сейчас плохо, а он его оставляет ет!

Не-ет, в сторону слезы, в сторону сентименты, надо держаться. В следующий миг он уже подтрунивал над собой, потом хотел было сказать Ковалеву-младшему какие-то успокаивающие, необязательные слова типа: «Подумаешь, юношеской любви лишился, у всех первая любовь проходит, дотла сгорает. Не ты, сын, тут первый, не тебе и последним быть. Никакой трагедии в этом нет», — но не произнес этих слов, ибо они тоже были примитивны и пошлы.

— Иди, отец, тебя ждут, — глухо проговорил Ковалев-младший. — Не бойся за меня.

Ковалев-старший, ни слова не говоря, вышел. Едва за ним захлопнулась дверь, как на своей койке-маломерке подпрыгнул дядюшка Кан. Уставился мрачно на новичка. Когда тот сделал движение, чтобы пояснить происшедшее, Канищев остановил его.

— Я все слышал. От и до. — Дядюшка Кан неожиданно вздохнул. — Не надо мне ничего объяснять. Ушла — и хрен с нею! Мы, когда увидели ее на аэродроме, сразу поняли: красавица эта, увы, уйдет. Она же по меньшей мере на пятнадцать лет старше тебя.

— Не на пятнадцать, а всего на полтора года.

— Это материальная, так сказать, разница. А есть еще разница психологическая. Эта девочка намного переросла тебя. И если бы ты на ней женился, дурачок этакий, она бы тебе через полгода начала рога наставлять. Извини, почтеннейший, за откровенность. — Увидев, что новичок сжал кулаки, Канищев предостерегающе поднял руку. — Такое уже тысячу раз было.

Ковалев-младший неверяще помотал головой.

— Женщина — самое непонятное существо на свете, — назидательно произнес дядюшка Кан. — И не крути котелком, не возражай. Я старше тебя. И, значит, опытнее. Ты думаешь, почему я уехал из Москвы? Романтика потянула? Туман и запахи тайги привлекли? Пустое все это, гитарный звон. У меня тоже была любимая девушка и тоже бросила. Увлелась другим и, даже не выйдя еще за муж, умудрилась родить ребенка. Каково мне было это, а? Вот и не сумел проглотить я пилюлю, уехал.

Ковалев-младший недоверчиво посмотрел на дядюшку Кана.

— Да, да, — подтвердил тот. — Было такое, было. А с твоей разлужбозной что? Стихи о любви другому читает? Характером не сошлась?

— Ничего. — Новичок приподнял письмо, держа его двумя пальцами, потом разжал пальцы, и письмо упало на пол, легко рядом с конвертом.

— Выбрось ее из головы. Она же не тебя любила, а положение твоей семьи... Влиятельный, популярный в городе отец, черная «Волга» и все такое. А сейчас нашла другую черную «Волгу». — Дядюшка Кан встал, прошлепал босыми ногами по холодному полу к новичку, сел рядом с ним. — Может, спирта немного дать? У нас хоть и сухой закон, но для таких случаев всегда заначка имеется. Выпьешь?

— Не надо, — покачал головой новичок. Он сейчас совсем не узнавал дядюшку Кана, которого, честно говоря, боялись многие в бригаде, в том числе и он, Ковалев-младший. А выходит, и бояться было нечего — вон какой Канищев простой, «ручной», такой же, как и все, уязвимый. — Может, мне к ней слетать?

Дядюшка Кан посмотрел на него.

— Не будь слабаком! Посиди лучше здесь, среди ребят пообтирайся, поживи немного, и все пройдет. А полетишь на свидание к ней, боль твоя только обострится. Так припечь может, что криком кричать будешь. Поверь мне. Сам все испытал. И не на ком-нибудь, на себе.

Ковалев-младший закрыл глаза, качнулся на кровати, выпрямился, потом его снова повело в сторону. Он словно наяву увидел Ирину — красивую, с прямыми волосами, глазами сочного темного цвета, в столичных замшевых сапожках, в модном узком пальто — и чуть не застонал. Вспомнив, что рядом находится Канищев, зажал зубами стон. Конечно, то, что он стал работягой, буровиком, таежником бродягой, — это для Ирины не приметы успеха. Но почему она судит о нем только по сегодняшнему дню? Почему не хочет заглянуть в завтра? Жить, что ли, торопится? Эх, Ирина, Ирина... Он опять помотал головой, погружаясь в самого себя, в какую-то полуявь-полудурь, теряя способность видеть и слышать. Очень часто мы в минуты боли ныряем в душевный подвал, чтобы превозмочь, переждать там худое время, одолеть беду и обиду.

На следующий день дядюшка Кан собрал бригаду, оглядел каждого из сидящих, проговорил:

— Вот что. Больше ни единого розыгрыша, понятно? Парню надо помочь удержаться на ногах.

Все промолчали — согласились с дядюшкой Каном.

2. А ВАМ ВСТРЕЧАЛИСЬ В ЖИЗНИ ЧУДАКИ?

К каждому из нас в жизни обязательно должен повстречаться чудной человек. Чудаков в народе называют по-разному: то малохолными, то чокнутыми, то «с приветом», некоторые говорят, что у таких людей «шарики за ролики зашили», — словом, у каждого имеется свое определение.

Довольно много лет назад я приехал в Москву поступать на факультет прикладного искусства текстильного института. Приехал с периферии — из небольшого приокского городка, тихого, пахнущего яблоками, нафталином, созревшим деревом старых купеческих сундуков, — и являл собою этакое неуклюжее, заикающееся, боящегося любого разговора — особенно с дамами — детину с красными жилистыми руками, порченными каустиком (я работал на химическом заводе), в стоптанных башмаках и голубой рубашке с самодельными погончиками. Чемоданишко у меня был еще довоенным, отцовским, из картона, с клопиными следами в пазах; в нем, глухо стучаясь о стенки, болтались две или три книжки, мыльница, зубная щетка в пластмассовом футляре и банка консервов. Сдал я документы в приемную комиссию, и их, как ни странно, у меня почему-то приняли (хотя принимать, как я сейчас разумею, вовсе не следовало, ведь я так и не работаю по специальности), выдали на руки расписку и серенький, слепо отпечатанный на машинке квиток — направление в общежитие.

Общежитие текстильного института располагалось недалеко от учебных корпусов, в тихом и зеленом проулке, который походил на асфальтированную беговую дорожку и совсем не оправдывал свое довольно громкое название: он числился проездом (Второй Донской проезд, дом семь дробь один — вот как будет это звучать с точки зрения блюстителей почтовых законов), рядом со знаменитым Домом коммуны. Дом коммуны, который также был студенческим общежитием, мы прозвали небоскребом. Это был лежачий небоскреб. Около него время от времени останавливались различные провинциальные зеваки вроде меня, глазели, открыв рот, словно гадая, кто же положил этот небоскреб на землю и почему он растет не вверх, а стелется по проулку, упираясь одним своим концом в трамвайные линии, а другим примыкает к неказистому кирпичному зданию, похожему с овощехранилищем. Неказистое кирпичное здание, похожее с овощехранилищем, и было общежитием студентов-текстильщиков.

Вход в общежитие охраняли две одинаково круглолицие бабули, похожие друг на друга, будто сестры-близнецы. И очки в коричневой оправе, аккуратно насаженные на носы-кнопочки, а сзади подвязанные бечевой, и строгий взгляд карих линейных глаз, и румяные, смахивающие на свежие булочки щечки — все у старушек было одинаковым. Только вязанье у них было разным — одна вязала черный узкоплечий свитер с высоким воротом, похоже, женский; другая — толстый мужской носок огромной величины. Такой носок можно было не только на человеческую ногу надеть, а и на тракторную гусеницу.

Увидев меня, бабули отложили вязанье в сторону и учинили допрос: кто я таков, откуда приехал, где живут мои родители, работал ли я после школы на производстве, женат или нет: «Ах, не женат? Женим!» Их волновало буквально все. И почему у меня плохо усы растут, и зачем к рубашке пришиты погончики, и знаю ли я, сколько денег зарабатывают художники средней руки, и если не знаю, то почему же поступаю на этот факультет.

Погоняв меня таким образом, они поглядели на свет квиток-направление, проверили его подлинность, так сказать, потом смиростивились и впустили в общежитие. Пояснили назидательным тоном, что комната моя находится на третьем этаже правого крыла.

— Там маляры ваши живут. Самый грязный этаж. Помещение в конюшню своими красками превратили, художнички, — презрительным тоном бросила мне вдогонку одна из старушек.

— Истинно маляры, художнички конюшенные, — подтвердила другая бабуля. — Малюватели. Что ни нарисуют, все не похоже. Человек на человека не похож, картоха на картоху, яблоко на яблоко. И чего их только в институте держут?

Общежитие было донельзя пустым — шаги так гулко звучали и распространяли такое беспардонно громкое эхо, что казалось: идешь не по деревянному, крашенному казенной коричневой краской полу, а по навощенному зеркальному паркету. Все звенит, стучит, многократно отзываясь. Добравшись до крыла, где жили «малюватели», я заглянул в одну комнату — пусто, во вторую — пусто, в третьей — тоже пусто. Никто не жил и в четвертой, и в пятой, и в шестой комнатах — везде было оглушающе тихо. Комнаты узкие, тесные, в каждой стояло по три, а то и четыре кровати.

Я затащил в комнату, что была указана на квитке, свой обшарпанный, крытый апельсиновым дерматином картонный чемоданишко, плюхнулся на матрас, подняв клуб пыли, и бездумно уставился глазами в потолок — сиротливо мне что-то сделало в этом огромном безлюдном общежитии. Плохо быть здесь одному.

Не знаю, сколько времени прошло — наверное, много, — прежде чем я услышал далекий тонкий звук. Вернее, какое-то странное птичье попискивание. Писк то усиливался, приближаясь, то вдруг слабел, уходил в небытие, и поэтому я не сразу понял, что же это такое. Но открытие, что в тесных серых комнатах, расположенных по обе стороны унылого темного коридора, длинного, как городская улица, я не один, меня обрадовало, и я — что было вполне естественно — рывком поднялся с койки, будто ужаленный током.

Вскоре я нашел загадочного свистуна! Он находился в самом конце коридора, в последней келье справа. Был свистун таким худым, что своею худобой вызывал тревогу, он буквально светился насквозь, словно созданный из какой-то странной неземной ткани. Сквозь голубоватую прозрачную кожу были видны вызывающие жалость хрящи, непрочные, готовые вот-вот порваться жилы. Высокий лоб свистуна переходил в лысину, волос имелось немного — на один кухонный скандал, как говорится; завивались они в немыслимые мелкие кудряшки, словно у овцы, и стояли торчком, сквозь них проглядывало розовое темля. Тщательно выскобленные щеки были обрамлены длинными пушистыми бакенбардами, густыми, с сильным рыжим отливом. Глаза большие, выпуклые, немигающие.

Перед этим тоненько посвистывающим, сидящим парнем — звук был действительно странным, из-

лишне тонким, каким-то неземным — стояло сразу три мольберта с небрежно приклепленной к ним бумагой, рядышком стул, две коробки с акварельными красками, наполовину вылизанными из хрупких пластмассовых кюветок, и банка с грязной водой, куда эта бродячая тень, мастер художественного свиства, окунал кисть.

Одет свиствун был по моим провинциальным понятиям роскошно, хотя и несколько необычно для жаркого июльского дня: в черный, тщательно отутюженный костюм-тройку, в сероватую, давно уже не стиранную рубашку (наверное, когда-то она была белой), воротник которой украшал импозантейший актерский галстук-бабочка из блестящего черного репса. И вот еще что — и это, конечно, поражало более всего: с одной ноги у этого парня был снят лаковый, потрескавшийся на сгибах ботинок, лежал в стороне носок, и двумя босыми пальцами свиствун держал кисть, делая ногой эскизы, а вернее, рисунки, на которых были изображены какие-то невероятно модные, с вытянутыми фигурами человечки. Ногой делал, ногой, вот как! Ловко, быстро, лихо, будто не человеком был этот парень, а обезьяной.

Руки же этот парень сложил на груди, словно государь-император, принимающий купцов плебейского происхождения.

Я поздоровался. Но свиствун на приветствие, будто настоящий император, — ноль внимания, как и на меня самого. Слово я и не стоял на пороге его комнаты.

Всюду — на кроватях, тумбочках, стульях, на полу, подоконнике — лежали аккуратно нарезанные восьмушки ватманской бумаги с нарисованными на них длинными вихлястыми человечками. В кепках и без кепок, с шарфами, быющими на ветру, и без оных, в пальто, плащах, куртках, в роскошных костюмах, сшитых из невиданных тканей, с загорелыми худыми лицами и веселыми глазами. Эскизы были талантливые, броские, смелые — не надо даже быть художником, чтобы понять это.

Я вторично поздоровался с парнем, и в ответ снова ни слова, ни мыка, лишь тоненький посвист, который этот лихач довольно умело выдавливал сквозь расщелину в передних зубах. Кисть, зажатая пальцами ноги, шустро перепрыгивала с листа на лист, разбрызгивая краску, оставляла после себя решительные акварельные мазки. Прошло всего несколько минут, пока я стоял в комнате, — и все три эскиза, приклепанные к мольбертам, были уже готовы.

Парень быстрым жестом сорвал их, бросил на пол, приподнялся на стуле, чтобы с высоты посмотреть на сделанное, оценить взглядом продукцию. Кисть он так и не выпустил из босой ноги и теперь стоял, поджав конечность под себя, словно гусь на снегу. Эскизы парню понравились, исправлять в них он ничего не стал. Не прекращая свиствовать, он выдернул кисть из ноги, окунул ее в банку, размешал там воду, подняв со дна всю собравшуюся цветастую муть. Переместился на одной ноге к стенке, где было укреплено простенькое зеркало, мазнул грязной акварельной кистью себя по щеке, посмотрел на собственное отражение, несколько не удивляясь тому, что сделал, потом потянулся к шершавой роговой мыльнице, ко дну которой присох прозрачный, тонкий, как бумага, обмылок, позволил кистью туда-сюда по этому обмылку.

Намылил вначале одну щеку, потом другую, ловким, стремительным движением выхватил из тумбочки дешевый безопасный станок, вложил в него лезвие и, приподняв собственное лицо за нос, начал бриться. Хотя бриться, по-моему, не надо было —

лицо свистуна, украшенное пушкинскими баками, было чистым. Тем не менее он поскоблил вначале над верхней губой, потом под нижней, несколько раз провел по щекам и шее, оглядел себя внимательно в зеркале. Улыбнулся. Судя по всему, остался собой доволен.

Опустил станок в банку, поболтал там, смывая пену, вытер лицо полотенцем, что висело на спинке кровати, и только тогда повернулся ко мне.

По-гусарски лихо пристукнул босой ногой об обутую, проговорил высоким пацаньим голосом:

— Извините, не побрившись, представляться не могу. Студент третьего курса факультета прикладного искусства Борис Степанович Хворост. Группа двадцать два — пятьдесят семь, отделение моделирования изделий из ткани. А это, — он повел рукою по комнате, где были разбросаны восьмушки ватмана, — как вы, наверное, изволили догадаться, моя продукция.

После этих слов многоуважаемый Борис Степанович Хворост сунул мне сложенную рыбешкой вялую узкую руку. Ладонь у него была горячей и потной. Судя по всему, перегрелся парень, перетрудился, пока корпел над эскизами.

Я посмотрел на его босую ногу, которую он продолжал по-гусиному держать на весу. Поймав мой взгляд, Хворост стукнул ногою о ботинок, вторично издав гусарский хлопок, и тут же снова поднял, поджал под себя. Засмеялся.

— А-а-а, не обращайтесь внимания. — Пояснил: — Просто ногой я делаю эскизы гораздо лучше, чем рукой. Парадоксально, но факт. — Он нервно дернул головой, выпячивая вперед подбородок, зачем-то издал губами звук пробки, вырывающейся из тесного обжима бутылочного горлышка. — А вы, сударь, как я разумею, собираетесь важный жизненный шаг совершить, да? Извольте на наш факультет поступать, я не ошибся?

Речь его была манерной, старомодной, но — вот странно — не коробила слух. Ни интонация, ни растянутость, ни окраска слов, ни даже пресловутые «сударь», «извольте» и прочее. Хотя слово «сударь» и звук выдернутой из бутылки пробки, честно говоря, мало уживались друг с другом.

— Располагаете ли вы, сударь, какими-нибудь свободными деньгами? — вдруг осторожно поинтересовался Хворост.

— Какими-нибудь — да, — ответил я, довольно смутно представляя, что такое «свободные деньги». Свободных, иначе говоря, лишних денег никогда не бывает.

Лицо Хвороста оживилось, на синеву щек наполнила легкая розовая тень.

— Тогда, сударь, я предлагаю сходить в парк, выпить там пива с леденцами. Это невероятно вкусно. Я больше чем уверен, вы никогда не пробовали пива с леденцами. Угадал?

Конечно же, он угадал. Ведь только сумасшедший может пить пиво с леденцами. С воблой, с соевыми ржаными сухариками, с селедочными бутербродами — да, а с леденцами — извините...

— Пойдемте, пойдемте, — потянул Борис Хворост меня за рукав. — В парк имени товарища Горького. Это совсем недалеко. Есть там роскошнейший пивной лакей.

Мы пришли не в ЦПКиО имени Горького, а в Нескучный сад — здесь царила благодатная тишь, прерываемая только пением птиц.

Чем ближе были пивные павильоны, тем все более нервной, подпрыгивающей делалась походка Бориса Хвороста. Он то убыстрял шаг, то вдруг, остановленный кем-то невидимым, замедлял ход и с безразличным видом срывал с кустов листья.

Чувствовалось, что некое чересчур сильное желание одолевает его. Едва мы купили четыре кружки пива — по две на каждого, а в картонную тарелку продавщица насыпала десятка полтора чешских леденцов-сосулек в красных обертках, — как Борис Хворост схватил одну из кружек, стремительно уткнулся в плотную пенную шапку лицом. Отпил немного. Свербение, сидевшее в нем, улеглось, и он сразу же превратился в безобидного добродушного чудачка, эдакого милого созерцателя жизни. С орлиным видом осмотрел высокие, стоящие на длинной хромированной ноге столики, находящиеся справа от нас, ничего примечательного не нашел, столики были пусты, потом оглядел те, что слева, но и там, кроме двух красноносых забулдыг, тоже никого заслуживающего внимания не было. Сморщил лоб, закрывая себе глаза лохмами, проговорил:

— Сюда иногда такие девушки приходят пить пиво, такие... — Он, странное дело, не сразу нашелся, с кем можно было сравнить девушек — любительниц пива, и, чтобы хоть как-то заполнить паузу, издал тоненький свист. — Таких и в Большом театре не сыщешь. И в ансамбле «Березка» таких нет, сударь.

Отпив еще немного пива, Борис Хворост медленными, наверное, не раз выверенными перед зеркалом движениями расстегнул пуговицы своего черного пиджака. Пуговиц на пиджаке было три, причем для каждой у Бориса имелся свой подход, свое движение, свой жест. Затем исполненным неподдельного благородства жестом он отодвинул в сторону (другого слова тут не подберешь, именно отодвинул, как дверцу шкафа) одну половину пиджака. Довольно широко отодвинул, но не настолько, чтобы были видны промелькнувшие дыры в шелковой подкладке. Зацепился большим пальцем правой руки за специальную петельку, которая была пришита к боку жилетки. Таким образом, борт пиджака оказался зажатым его рукой, как портьера тугим держателем, и взорам окружающих — двух ошарашенных забулдыг и смятенного провинциала — предстала во всей красе, поблескивая на солнце каждым своим сгибом, каждым звенцом, хорошо начищенная полумедная-полужелтая часовая цепь. Цепь тянулась из-под мышки, слева направо, через весь живот и ныряла в специальный небольшой кармашек. Кармашек был расположен на жилетке почему-то справа, а не слева, как обычно. Видимо, портной не очень-то представлял, для чего этот кармашек нужен. Но все это детали, сущие пустяки по сравнению с эффектом, который производила сияющая в летнем ярком свете цепь...

— Так о чем же мы говорили с вами, сударь? — словно бы спохватившись, воскликнул Хворост, как ни в чем не бывало отпил пива из кружки, отер ладонью испачканное пеной лицо. — М-м-м... — Он нетерпеливо приотпнул лаковым полуботинком. Вскинулся. — Знаете, почему кавказцы носят большие кепки? Нет? Чтобы брюки не выгорали. — Рассмеялся своей шутке, похрустывая леденцом, наморщил лоб. Прическа смешно сканнула вперед. В Хворосте, кажется, что-то заело сейчас, застыло, застыло, он никак не мог вспомнить, о чем же шла речь ранее, что интересное он рассказывал. Так и не вспомнив, он неожиданно погрузился, на лицо напала тяжелая, совершенно не типичная для его характера печаль, вытеснила глаза, впадины под скулами, низ подбородка. Хворост заморгал часто, словно под веко ему попала пыль, проговорил тихо: — А ведаете ли вы, как прекрасно бывает здесь, в Нескучном саду, в то-скливаю осеннюю пору, а? Когда тихо и никого кругом нет. На черной мокрой земле уже кое-где лежит снег, неподалеку кричат вороны. Эти пивные ларьки закрыты, на длинных грядах-газонах растут



астры. Цветущие, белые, лежат сплошным рядом. Они тут цветут даже в заморозки. Поздние осенние астры...— Борис Хворост задумчиво вздохнул.— Уже холодно, уже заморозки по ночам, сыро, снег постоянно падает с небес, а астры цветут. На дворе конец ноября стоит, а они все цветут и цветут. Но вот интересно, сударь, кроме цвета и красоты, у астр ничего нет. Ни запаха, ни вкуса — ничего. Снег на них не садится, птицы не приближаются. Ведь и люди такие есть, как эти астры, — ничего в них, кроме внешнего вида.— Он помолчал немного, погружаясь в себя. Потом всплыл обратно, помахал сам себе рукой.— Как же это так — ничего в цветах нет? А стойкость, мужество, с которыми они сопротивляются морозам? А то, что они, несмотря на снег, цветут? Вот за что я люблю поздние осенние астры! — Голос у Бориса Хвороста был удивленным. Он, похоже, сделал для себя открытие.— За мужество их люблю, за стремление жить. Даже когда жить уже нельзя.

Снова замолчал. На сей раз основательно. В молчании мы допили пиво, доели леденцы. Как ни странно, мне пиво с леденцами понравилось. Хотя позже нигде, ни в какой другой компании ничего подобного уже не удавалось отведать. Это ведь все равно, что джем с перцем или ржавая закислое селедка с липовым медом, — ни в какие ворота, говоря студенческим языком, такая гастрономия не лезет.

По дороге в общежитие я спросил у Бориса Хвороста, почему он не едет на каникулы домой. В ответ он небрежно махнул рукой, но потом помрачнел, на лицо опять, как и в прошлый раз, напознали тени.

— Понимаете, сударь, нет мне дороги домой. И не потому, что дома не хотят принять, нет. Дело в том, что я несколько не сошелся в оценке собственной персоны с... преподавателем, композицией. Не надо быть Сократом, чтобы определить следующую вещь: если возникают разногласия между преподавателем и студентом, то на чьей стороне бывает верх? — Он мрачно вздохнул.— Вот мне и перенесли экзамен на осень, на послеканикулярный период. Чтобы в следующий раз разногласия больше не возникали.

Некоторое время мы шли молча.

Навстречу нам попала девушка. Очень даже ничего девушка, не каждый раз такие попадаются. Борис Хворост вмиг взбодрился, прочистил горло, поправил галстук-бабочку и несколько приоткнул полу пиджака — так, чтобы была видна щегольская металлическая цепь, — подпрыгивающим шагом двинулся навстречу, весело посвистывая и крутя пальцем колечки цепи. Ох, как неузнаваемо преобразился он, буквально на глазах похорошел. Словом, это был настоящий кавалер, сверкающий, способный закружить голову любой представительнице прекрасного пола. Я даже остановился посреди тротуара. Но, видно, девушка, как и Борис Хворост, тоже знала себе цену — ничего у него не получилось: девушка прошла, почти не заметив Бориса Хвороста, словно мимо неодушевленного предмета. Неудача несколько не задела любителя пива с конфетами, Хворост на ходу медленно повернул голову:

— Так на чем мы с вами остановились, сударь?

Честное слово, я уже и не знал, на чем мы с ним остановились...

Один за другим потянулись дни упорной работы. По двенадцать — четырнадцать часов мы, донельзя замученные абитуриенты, запуганные всем и вся и в первую очередь собственной решимостью (надо же, до чего обнаглели ребята — вздумали поступать на факультет, где конкурс двадцать шесть человек

на одно место!), рисовали гипсовые головы великих мудрецов древности, писали акварельными красками натюрморты, корпели над учебниками по истории и литературе, — словом, довольно серьезно готовились к экзаменам. В эти дни Борис Хворост исчез — может, уехал к родителям, может, куда-нибудь на юг подался, бегая зайцем из одного вагона в другой, опасаясь преследования и мести со стороны контролеров, может, забывшись в глухой темный угол, творил эскизы — ведь схватка с преподавателем композиции вещь серьезная, — а может, просто в горячей сутолоке будней я его не замечал.

Когда закончились экзамены и на огромной черной доске объявлений, что находилась в главном корпусе текстильного института, в святая святых — там располагался ректорат, — вывесили список принятых в институт, я неожиданно в числе счастливых обнаружил и свою фамилию. Радости не было конца. В тот же вечер мы, шесть или семь «обсужденцев», принятых в институт, сбросились, складывая в кепку мятые, затертые на сгибах абитуриентские рубли, оставленные на худой день, про запас, чтобы купить тарелку супа и пару кусков хлеба, и приобрели в магазине две бутылки водки. Наш праздник — поступление на такой мировецкий факультет, художниками же будем, вы представляете, художниками! — надо было отметить. И, думаю, никто из старших, ежечасно провозглашавших «Пьянству — бой!», не стал бы порицать нас в тот день.

Едва мы разложили наше богатство на столе, как дверь комнаты бесшумно растворилась, словно была смазана сливочным маслом, и на пороге возник Борис Хворост, уже почти забытый, — ведь он сколько он отсутствовал, — подтянутый, прямой, как гвоздь, одетый в свою неизменную черную тройку. Поправил на горле галстук-бабочку, улыбнулся ослепительно, озарив тусклую нашу комнату чем-то лучистым, светлым. Присвистнул по обыкновению тонко.

— Сударе, — он так и произнес «сударе», с «е» на конце, — я пришел поздравить вас! — Хворост молитвенно поднял глаза вверх. Казалось, еще минута — и он рухнет на колени, чтобы воздать хвалу студенческому богу, облагодетельствовавшему нас. Но, увы, этого не произошло.

В правой руке Борис Хворост держал увесистый покоробленный портфель, здорово смахивающий — и размерами и конструкцией — на чемодан. Портфель был сшит из толстой свиной кожи, заготовленной, видать, для ботиночных подошв, но потом по какому-то причинам (может быть, потому, что свинья кожа пропускает воду, как губка, и на подошвы не годится) пущенной в галантерейное дело. Некогда блестящие латунные замки позеленели и даже, кажется, прогнили от времени. В общем, портфель был древним, как мумия египетского фараона, внушительным, словно пирамида Хеопса, вместительным, будто железнодорожный вагон-путьман, — качества, за которые владелец портфеля, судя по всему, любил его. А ржавость и покоробленность кожи, вылезшие из прорех нитки и безобразность разваливающихся замков — это все пустяки.

Пройдя к столу, Хворост сел на койку рядом со мною, не глядя, сунул узкую вялую ладонь:

— Здравствуйте, сударь.

Портфель он поставил на колени. Поковырявшись немного в замках, с противным ржавым скрипом раздвинул обе половинки портфеля, обнажая черное, пахнущее осенними грибами нутро. На дне портфеля, словно блошка в гигантском резервуаре, болталась помятая алюминиевая кружка.

Как давно не видел я таких кружек, они просто куда-то исчезли, словно были сняты с производства. Кружка эта была так памятна по послевоенному

непростому детству, когда мне пришлось скитаться по дальневосточным и сибирским железнодорожным станциям — на каждой станции имелся бачок с кипятком, который очень часто выпрессенно именовали титаном, — так вот, к бачку-титану обычно была привязана, а точнее, прикована прочной цепью много-страдальная, сплошь в прорехах и вмятинах алюминиевая кружка.

Когда Борис Хворост достал эту кружку со дна портфеля, я даже шею вытянул в невольном ожидании: а где же обрывок цепи? Обрывка не было.

Тем временем Борис Хворост к колоннаде стаканов, куда уже была налита водка, пристроил свою кружку, вылил в нее водку из стакана, потом еще добавил крепкой горькой жидкости из бутылки. Заглянул одним глазом в алюминиевый сосуд, будто любопытный ворон.

Все молча чокнулись, каждый отпил из своего стакана немного водки. Хворост внимательно, даже излишне внимательно следил за тем, как ребята уничтожают «огненную воду». Подождал, когда все поставят стаканы на стол, потянутся за закуской, и лишь затем поднял кружку. Поднес ее ко рту.

Но нет, сразу пить он не стал — у Бориса Хвороста на этот счет, видно, имелась своя теория и был разработан довольно сложный и красочный ритуал. Он, округлив ноздри, втянул в себя водочный запах, пропуская его глубоко в легкие, с шумом, будто бегун на длинной дистанции, выбросил воздух из ноздрей. Бледная полупрозрачная кожа на Борисовом лице налилась легкой неплотной розовиной — розовина проступила изнутри, словно жидкость, в глазах появилась жизнь, неподдельный интерес ко всем нам, кто сидел сейчас в этой общежитийской конуре, занимался делом, за которое старшие бы по голове нас не погладили... Шевельнулась, смешно запырнула прическа. Затем, помедлив чуть, отставив немного кружку от себя и, вывинчивая шею из воротника рубашки, словно болт, приблизился к кружке сложенными в трубочку губами, коснулся края, махом опрокинул алюминиевый сосуд на себя.

Казалось, водка должна была залить ему лицо, обжечь глаза, ноздри, кожу щек. Ничего подобного не произошло. Ни единой капельки у Бориса Хвороста не пролилось, вся кружка пошла точно по назначению. Причем водка у него в горле, где существует естественная преграда, не задержалась, судя по всему, она целиком, единым потоком пролилась в желудок, спешно растеклась там по закоулкам, сусекам, емкостям.

Медленным, величественным движением поставив кружку на стол, Борис отодвинул ее от себя, щелкнул ногтем по многострадальному помятому боку, потом начал расстегивать пуговицы пиджака, делая это одухотворенно, значительно, красиво, осознавая важность и необычность того, что делает.

Расстегнув пиджак, он знакомым замедленным жестом отвернул борт, но, как и в прошлый раз, когда мы пили пиво в Нескучном саду, не широко — чтобы не было видно прорех в подкладке, — удовлетворенно отметил изумление, возникшее в глазах ребят при виде его сверкающе-желтой часовой цепи. Красивым движением — Борис все делал красиво, именно красиво, другого слова тут, пожалуй, не подобрать, — оттопырив, будто купеческая дочка, мизинец на правой руке, он запустил щепоть из трех пальцев в часовую кармашек, куда был засунут нижний конец его роскошной цепи. Из кармашка он вынул не часы, нет...

Вытащил маленький, тоненький, покрывшийся от времени черной гречкой сухарик, который был специальным колечком прикреплён к цепи, чтобы не потерять. Поднес сухарик к носу и, сплюснув паль-

цем одну ноздрию, затянулся добрым хлебным духом, потом зажал другую ноздрию, снова затянулся, затем, кашлянув довольно, медленным округлым движением засунул свою «долгоиграющую» закуску обратно в кармашек. Мизинец свой, будто маленький пистолетик, готовый в любую минуту выстрелить, Борис Хворост держал оттопыренным. Он словно учил нас: наматывайте на ус, салаги, усваивайте, пока я жив, светские манеры, без которых и дня в Москве невозможно просуществовать.

Увидев, что водки больше нет и питоки из нас неважные — одно только название, — Борис Хворост поднялся с койки, снова распахнул свой огромный видать, в годы войны по ленд-лизу полученный из США портфель, сунул туда кружку.

— Сударе, я вынужден расстаться с вами, — произнес он торжественным и одновременно полным сожаления голосом, озабоченно поправил галстук-бабочку, — меня ждут дела, ни минуты нет...

Некоторое время мы слышали шаги нашего гостя в коридоре, потом шаги эти исчезли.

Борис Хворост обладал уникальнейшим, совершенно безошибочным чутьем. Он мог пройти по длинному коридору нашего общежития и, слегка приоткрывая кончиками пальцев, буквально ногтями к дверям, абсолютно точно определить, чем занимаются жильцы, сидящие в комнатах-кельях. «Здесь идет зубрежка, материаловедение ребята готовятся сдавать, здесь эскизы клепают, здесь чистят картошку, чтобы сытно поужинать, сало кто-то из деревни получил, как раз к картошке, тут глядят брюки, хлопцы на танцы в клуб «Красного пролетария», по соседству с общежитием, собираются поить, здесь... О-о, здесь имеется нечто...» Хворост многозначительно поднимал указательный палец. — Тут хлебным духом пахнет, какую-то торжественную дату сударе собираются отмечать. Кажется, день рождения». Он никогда не ошибался.

Стипендия у нас была маленькой — на такую не пороскошествуешь. За три дня до нее мы стреляли друг у друга двугривенные, чтобы съест тарелку щей в дешевой рабочей столовой «Кр-пр», как мы сокращенно называли завод «Красный пролетарий». Хорошо, что хлеб в столовой был бесплатным, с тарелкой щей можно было смолотить две тарелки мягкого, душистого, невероятно вкусного хлеба. Очень часто в канун стипендии случалось, что завтрак наш состоял из ничего, из подтягивания брючного ремня на несколько дырок, обед — из тарелки щей, приобретенных на одолженный двугривенный, ужин — из «белой розы», так мы величали чай без заварки и без сахара, и потому каждый из нас завидовал, мечтал: хорошо бы иметь чутье Бориса Хвороста. Он ведь вон как поступает — пройдет по нашему необъятному общежитию, определяя, где еда повкуснее готовится, и открывает дверь без всяких «предисловий», объяснений, зачем пришел, что намерен делать, и прочее и прочее. Бориса Хвороста, несмотря ни на что, любили. Так, вполне возможно, любят только калек, чудачков да домашних животных — какого-нибудь песика. Пользы от песика в общем-то никакой, но зато душу греет сознание того, что в доме находится благородное преданное существо, живая душа. Причем должен заметить, что дважды на неделе в одной и той же комнате Борис Хворост никогда не бывал.

Потом я как-то узнал: для того, чтобы не повторяться, он даже специальный график имел. С делениями-клеточками, где отмечал все свои походы на предмет «заправки» желудка.

На факультете из курса в курс передавалась анекдотическая история о первых днях, а точнее, первых месяцах пребывания Бориса Хвороста в инсти-

туте, когда еще не была налажена система гостевания, когда его не знали в комнатах общежития — а здесь обитают не только студенты-художники, но и будущие механики, химики, технологи, под нами, например, располагается целый этаж студентов-экономистов, на первом этаже живут рабочие института (у нас, в текстильном, имеется несколько ткацких и трикотажных цехов, где проходят практику будущие командиры производства, машин множество, станки эти надо обслуживать, так что рабочих в институте предостаточно, как на самой настоящей фабрике), — так вот, Борис Хворост, как рассказывают, получив стипендию, считал за обязанность непременно появиться в дымном крохотном ресторанчике, расположенном неподалеку от общежития, на Ленинском проспекте. Там с небрежным купеческим видом он разваливался на стуле, прищелкивал пальцами, подзывая: «Эй, человек!» Приходил «человек» — официант. Борис Хворост, взяв в руки лакированное ресторанный меню, прикрывал ладонью левую часть, где были написаны названия блюд, оставлял свободной правую, где столбиком располагались цены, и тыкал пальцами в цифры: «Вот это принести... Это... это... это...» В общем, он проедал и пропивал свою стипендию в двадцать пять — тридцать минут, потом неделю ходил голодный по факультету, шатаясь из стороны в сторону, и в конце концов падал от истощения в обморок. Приезжала «Скорая помощь» и увозила его в больницу до следующей стипендии.

Но потом жизнь у Бориса Степановича Хвороста пошла по иному пути, сделалась, что называется, сытной. И все из-за фантастического дара, редкого чутья. Выходил Борис Хворост, например, утром из станции метро «Сокол», зная, что неподалеку, около пищевого института, живет его приятель Володя, с которым он когда-то случайно познакомился на танцах в «парке имени товарища Горького». И вот как: Борис точно знал, что через пятнадцать минут его приятель сядет завтракать. Еще не побывав у него, Борис Хворост ведал, что у Володи на столе будут паровые котлеты с соусом, картофельное пюре, салат из свежих огурцов, сардины — банка, правда, початая, но на вкусовые качества сардин это не влияет, — и консервированный кофе с молоком. Хворост ехал к Володе и звонил в дверь в тот самый момент, когда ничего не подозревающий шалопый приятель его, аккуратно разложив еду перед собой, собирался приступить к трапезе. Не пригласить за стол товарища, пусть даже знакомого едва-едва, мимолетно, в такой ситуации, естественно, неудобно.

Так Борис Хворост завтракал. На обед он тихо сматывался с лекций и ехал на троллейбусе, допустим, к универсаму «Москва». Там, в доме напротив, жил его дружок Лева — не далекий и не близкий, такой же, как и Володя, приятный интеллигентный парень. Из категории тех, кто никогда не откажет. Уже в троллейбусе Борис Хворост знал, что у Левы сегодня готовится довольно роскошный обед — будет украинский борщ, заправленный душистыми салынными шкварками (при мысли о борще Борису становилось не по себе — ему так жутко хотелось отведать этой вкуснятины, зачерпнуть ложкой побольше шкварок, что ломило зубы, чесался язык и текла слюна), на второе — дивная рыба осетрина, еще у Левы есть компот и полбутылки красного вина. Хворост приезжал к Лева в тот момент, когда тот, расставив тарелки с едой на кухонном столе и добыв вино из холодильника, весело потирал руки, решая, с чего ж ему начать трапезу. В это время раздавался звонок в дверь...

Вечером уважаемый Борис Степанович Хворост

ехал на улицу Горького, где снимал квартиру его знакомый Игорек, недавно окончивший нефтяной институт и получивший распределение в Москву. Игорек с полочки купил бутылку шампанского; конфеты вразвес, колбасу двух сортов — с жиром и без одного, — колбасу он еще в магазине попросил нарезать тонкими скибками и в таком гастрономически идеальном виде принес домой, купил также двести граммов сыру, пачку мармелада и в обществе одной очаровательной блондинки собирался отметить получку. Борис, зная все про еду — даже какого сорта куплен сыр и когда была выпущена колбаса, приобретенная Игорьком, позавчерашняя она или, наоборот, свежая, только что из колбасного цеха, — про девушку же ничего не знал. Не было у него нюха на девушек; не было. Поэтому ужин выходил скромным, ибо нетерпеливый Игорек норовил как можно быстрее вытолкнуть непрошеного гостя из комнаты. Что делать, что делать, иногда бывали у Бориса Хвороста проколы, не без этого...

А в остальном жил он вполне сносно. Причем, сколько я ни знал Бориса Хвороста, сколько ни встречался с ним в разные годы, он всегда был одет в одну и ту же черную тройку, нестираную серую рубашку, бывшую когда-то белой, обут в потрескавшиеся лаковые туфли и под подбородком у него обязательно красовалась пышная репсовая бабочка. И все так же впалый узкий живот перепоясывала полумедная-полужелтая сияющая цепь с привязанным к ней сухариком. Борис Хворост не менялся ни внутренне, ни внешне, и даже прическа, которая готова была осыпаться еще при первой нашей встрече, нисколько за все эти годы не обтрепалась.

Время щадило Бориса Хвороста.

С годами он не избавился и от привычки делать эскизы ногей, а поскольку все годы находился в конфликте с ведущими преподавателями кафедры композиции, то каждый раз проваливал весеннюю сессию и, как всякий нерадивый школьник, оставался на перезачаменку, потому лето многоуважаемый Борис Степанович проводил в общежитии, делал десятки, сотни эскизов, изумлял тихих иногородних абитуриентов своими манерами, гибкой художнической ногой, едва приметным свистом, который издавать может не человек, нет — лишь, пожалуй, насекомое (и еще Борис Степанович Хворост).

Иногда в поздний час он без стука открывал нашу дверь, входил в темную комнату, бесцеремонно расталкивал кого-нибудь из нас и, усмехаясь чему-то своему, неожиданно предлагал:

— Хотите, сударь, я новую главу из романа прочитаю? А? Свеженькую.

Борис Хворост писал роман под названием «Мандрапапу мандрапа!» Причем, что же означали эти слова, никто не знал. Хворост терпеливо втолковывал каждому невеже, что это клич некоего вымершего индейского племени. Я, например, запомнил короткий абзац из романа, прочитанный вот так неожиданно, ночью. «Он ткнул себе пальцем в живот, и на одинокой пальме острова лопнул кокосовый орех, изумивший всех лягушек Маганазады. Но поскольку дело происходило не на Маганазаде, а в Кемлурии, то мы выпили перцовки и закусили ожиданием важного извещения, написанным на бумаге. Известия не было, ожидание улеглось, и народ начал чихать».

Это был самый настоящий набор нелепиц, но когда Борис Хворост собирал по вечерам вокруг себя любителей необычного и читал вслух главы из своего романа — и старые, давно уже написанные, и новые, — то обязательно раздавался хохот. Читал он, надо заметить, здорово. Корчил рожи, вскакивал на

стул, падал на пол, свистел, хохотал, ревел, мычал, издавал губами плеск волн, вой ветра, хрюпанье переламываемых пополам пальм, чавканье обедающего орангутана... Иногда он своими выступлениями доводил слушателей до колик, те были на грани вызова «Скорой помощи».

Однажды весной, в самом конце ее — на улице уже май стоял, жаркий, веселый, беззаботный, настоящий студенческий месяц, — Борис Хворост зашел к нам в комнату грустный, с сухариком, отцепленным от привязи — он держал его в кулаке и постоянно подносил к носу.

Проговорил печальным голосом:

— Перед большим жизненным выбором, сударе, я стою. Шекспировский вопрос надобно мне решать: быть или не быть?... Женюсь я, вот какая незадача, сударе...

Он замолчал, а нам показалось, что в ясном майском дне, в этой цветущей жаре погромыхивает сердитый августовский гром — предвестник осени, затяжных дождей и сырых холодов.

То, что Борис Хворост был всегда не прочь поволочиться за юбкой, знал, наверное, каждый и на факультете и в общежитии, но вряд ли кто воспринимал его ухаживания всерьез. Значит, произошло нечто из ряда вон выходящее.

Оказывается, занесла его как-то нелегкая во Дворец культуры автозавода имени Лихачева. Там он на танцах познакомился с круглолицей девицей — прессовщицей корпуса, где делают детали для автомобильных мостов. Девица была крепкобокой, мускулистой, именно ее неженская сила, ядерность и подкупили Бориса — он решил отложить все дела в сторону, отменить часть преддипломных занятий (а учеба у него, несмотря на конфликты и весьма странную жизнь, подходила к финишу, еще четыре-пять месяцев — и защита диплома) и поволочиться немного за прессовщицей.

И видно, дело там зашло далеко, раз Бориса Хвороста прижала не только сама прессовщица, а и ее братья, четыре доверху налитых силой здоровяка, каждый из которых мог запросто сложить нашего ловеласа вдвое и выжать, как тряпку. Здоровяки, что называется, «застукали» свою сестру с Борисом Хворостом, дали понюхать ему четыре пудовых кулака и предупредили, что если он не женится на «ихней Зинаиде», то ему худо будет.

Физическую силу Борис Хворост уважал и поэтому, страшась расправы, немедленно дал согласие жениться на Зинаиде. Так уважаемый Борис Степанович Хворост угодил в сети Гименея.

— Одна положительная вещь в этой женитьбе все-таки имеется, сударе. — Борис Хворост задумчиво повертел в воздухе пальцами. — Стану я мужем Зинаиды — московскую прописку получу. А что это значит? Это значит, что при распределении меня в Тмутаракань уже не загонят, а оставят работать в столице. И вполне возможно, в Доме моделей. С Льером Карденом и Ниной Риччи в костюмных поделках состязаться. А? Как вы думаете?

На этот счет у нас суждение было единым: конечно же, Бориса Хвороста обязательно оставят в Москве, иначе быть не может. И непременно в Доме моделей.

Но, увы. Недаром говорят, что человек предполагает, а бог располагает. Забегая вперед, скажу, что после окончания института Бориса Хвороста не оставили в Москве, он получил назначение на швейную фабрику то ли в Подольск, то ли в Орехово-Зуево — в общем, в один из подмосковных городков. Прессовщица Зинаида, естественно, взяла расчет на автозаводе, поменяла московскую прописку на подмосковную и уехала вместе с Борисом. Уст-

роилась работать на его же фабрику. Швей-мото-ристка.

После затяжной шумной вечеринки, которая последовала вскоре за свадьбой, мы больше не видели многоуважаемого Бориса Степановича Хвороста. На вечеринку он пришел с обручальным кольцом, прочно сидевшим у него на безымянном пальце, одетый не в обычный свой черный костюм, а во что-то легкое, изящное, сшитое из коричневой, с искоркой ткани. Пиджак у него был по тем временам супермодным, без лацканов. Полупиджак-полутужурка. На груди слева, там, где сердце, алело яркое пятно — мазок масляной кадмиевой краски.

— Специально мазнул, — пояснил Борис Хворост. — Вы ведь знаете, что великий русский художник Константин Коровин, например, терпеть не мог новых вещей? И если он надевал новый пиджак, то обязательно сажал на лацкан мазок краски. Вот так-то, сударе... Я, хоть и не Коровин, но тоже не люблю новых вещей. — Борис Хворост присвистнул тоненько, привычно, окидывая оком компанию, оживляясь при виде ребят своих, с кем многие годы за одной студенческой партией просидел, долбя науку и изобразительное искусство, потом на его лицо напала вполне понятная тень озабоченности, губы сложились в обиженную полуулыбку-полуусмешку, и он нырнул в самого себя, будто в пустоту какую.

— Вот только Зинаида еще не знает, что я сделал с пиджаком...

Веселье шло дальше своим изведенным, знакомым каждому путем, все шумели, веселились, славя весну, конец сессии, предстоящее лето, но веселье это обходило Бориса Хвороста стороной. Он был словно остров посреди речной быстрины — вода несется куда-то, стремится с плеском и пузырящим шипеньем вдаль, а остров, молчаливый, задумчивый, печальный, все стоит и стоит на одном месте. И нет такой силы, что могла бы сдвинуть, разбудить его.

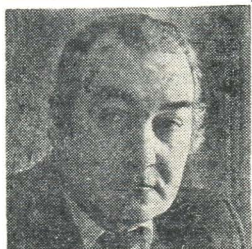
Через несколько дней мы попрощались с Борисом Хворостом. Нам еще предстояло корпеть и корпеть над учебниками, работать не только кистью, а и руками, иголкой, швейной машинкой, познавая на практике, что же такое мода и с чем ее едят.

Больше ни я, ни мои друзья никогда не видели его, ничего не слышали о нем. Только временами становилось жаль, что мы упустили этого человека, в грудь заползала странная холодная тоска, возникало желание повидать нашего знакомого чудака, многоуважаемого Бориса Степановича Хвороста, послушать его рассказы-нелепицы, познакомиться с новой главой романа «Мандрадапуна мандрадапа!», а то и просто посмотреть, как он пьет пиво с леденцами, засовывает в часовую кармашек цепь с привязанным к ней сухариком (впрочем, ни цепи, ни сухарика в последние дни у него уже не было) и делает эскизы искусной босою ногой.

Жаль, когда теряешь чудаков, людей не от мира сего, оригиналов, и не только потому, что без них жизнь скучна и однообразна. По таким людям мы, как правило, определяем самих себя, собственные поступки, их нормальность. Мы не равняемся на этих чудаков, нет, упаси господь до этого дойти, но все время держим их в поле своего зрения, делаем прикидку на них, производим поправки — вот таким, мол, быть нельзя. Как у детей: если не будешь есть манную кашу, то обязательно вырастешь плохим человеком, а у плохого человека часто болят голова и живот.

Выходит, и чудаки в нашей жизни нужны. Наверное, ради этого им стоит прощать и болтливость, и нелепицы, и излишнюю назойливость. Прощать не ради них самих, а ради тех, кто находится рядом.

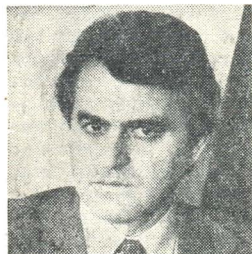
СТИХИ ПОЭТОВ ГРУЗИИ



МОРИС
ПОЦХИШВИЛИ



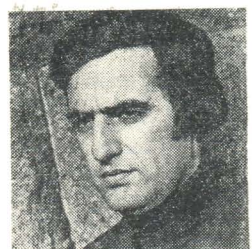
МИХАИЛ
КВЛИВИДЗЕ



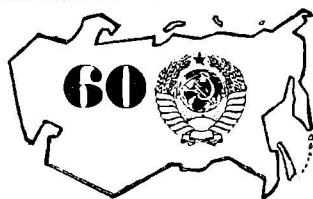
ХУТА
ГАГУА



МЗИА
ХЕТАГУРИ



РАУЛЬ
ЧИКАВА



Поэзия

МОРИС ПОЦХИШВИЛИ

Праздник «Тбилисоба»

Дружба верная и братство —
Наше главное богатство.
Все вы дома, не в гостях.
Всех вас ждали мы особо.
Тбилисоба, Тбилисоба,
Пой, ликуй на площадях!

Мир вам! — от горы Давида.
Радостью душа повита,
Праздник плещет до утра.
У подножья Нарикала!
Бьет по камню, как кресало,
И звенит, звенит Кура.

Бьют фонтаны, блещут скверы.
Справедливости и веры
Прочно высится стена.
Словно птаха на ладони,
В Анчисхати², на балконе
Появляется она...

Здесь когда-то утром рано
Раздавался крик фазана,
Ключ под деревом журчал.
Здесь не зря томились стрелы,
Тетива тугая пела,
Здесь был зорек Горгасал³.

Теплый ключ⁴ все так же бьется,
Не иссякнет, не прервется.
Вольный шум его не стих.
Песня кружит в синей выси,
И под ней поет Тбилиси,
Глядя на детей своих.

Мартiros Сафьян

Март, ростепель, все блекло... Но весна —
Я понял, Мартiros, ее секрет нехитрый —
Едва в твои холсты засмотрится она,
И сразу обретет цвета твоей палитры.
Свет выставки твоей Армении облек.
С картины в сад сбежал цвет персиковой ветки.
Прошел через Севан твой солнечный мазок.
Долины и холмы полны твоей расцветки...
А ты ушел от нас, печалась и скорбя
Не за судьбу своих ошибок и открытий, —
Трагическая мысль тревожила тебя.
Просил ты, уходя: «Друг друга вы любите».
Из книги изойдя, став частью бытия,
Как будто свет свечи, нас озарило слово.
«Любите» — лишь о том была мольба твоя.
И должно нам любить, и нет пути иного.
Прощальной песни звук рождается во мне,
Рыдающий, простой и невозможный прежде.

¹ Старинная крепость.

² Уголок старого Тбилиси.

³ Один из основателей Тбилиси.

⁴ Тбилиси — теплый.

Завета твоего достаточно вполне,
 Чтоб сбыться навсегда единственной надежде.
 Я знаю, Мартирос, всем смерть нам суждена.
 Но как смешон, как глуп закон ее нехитрый! —
 Опять в твои холсты засмотрится весна
 И снова обретет цвета твоей палитры.

Пестрая баллада

И, не задумавшись нисколько,
 Я над землей занес кулак.
 «За что, — она вдруг простонала, —
 Я мать твою, за что ты так!»
 Ударил топором умело.
 Но вдруг, как будто бы набат,
 Сосна над лесом загудела:
 «Что делаешь! — ведь ты мне брат!»
 И словно нож под сердце острый,
 Ромашек робкий шепот плыл:
 «Зачем! — ведь мы твои же сестры —
 Ты нас сорвал и погубил».
 В источнике я вымыл руки,
 Ил подниматься стал со дна.
 Журчит вода, и слышу звуки:
 «Не замути, ведь я — родня».
 В тоске хотел сойти с дороги
 И миновать тепло, жилье.
 Но путь мой голосом тревоги
 Позвал: «Ведь я дитя твое».

☆☆☆

Судьба, не исполняй всего,
 Что мной задумано когда-то.
 Ведь воплощение, торжество
 Довольством может быть чревато.

Пусть не овладевает мной
 Оно до самой смертной грани,
 И путь не меркнет световой
 Невоплотившихся желаний.

Перевел с грузинского
 С. АЛИХАНОВ



МИХАИЛ КВЛИВИДЗЕ



☆☆☆

Я на земле Поззии солдат.
 Лишь вдохновенье — командир поэта.
 И только тем я знатен и богат,
 Что есть во мне и что на мне надето.

Я подданный ее и гражданин.
 Ее ярмо я на себе таскаю.

Достаток у меня всего один:
 Все, что мне мнится и о чем я знаю.

Какой богатый я! Как счастлив я!
 Благодарю тебя, страна моя,
 За все, что не сберег и не припрятал.

Я постарел! Вы думаете! Нет!
 Я только устарел, как тот сонет,
 Которого никто не напечатал.

Автопортрет

Это — я! В зрачках — горячность рыси.
 Дело делаю, а не речист.
 Михаил Квливидзе из Тбилиси —
 Добрых замыслов «авантюрист»!
 Вам ничуть не страшно! Неужели!
 Странно ведь, не кажется ли вам!
 Сущность дела не в словах, а в деле.
 Вы ведь и не верите словам!!
 Дело измеряют не словами.
 В деле — мера жизни, смысл жить.
 Лишь в делах раскрою перед вами
 Все, что знаю, что могу свершить...
 Я порой печален без причины.
 вспыхну вдруг, рассеивая мрак.
 То безумен, то смирней мужчины
 Не найти. То мудр, а то дурак!
 Захочу, и станет жизнь картиной, —
 Распишу и глянец наведу.
 Уведу невесту у скотины.
 И жену достойному найду.
 Захочу, так инвалид-калека
 Станет покорителем Казбека,
 А поэт, неведомый доселе,
 Станет вдруг известней Мачабели!¹
 Все чужое отниму у вора,
 Хижины наполню серебром...
 Только вы доверьтесь мне без спора,
 Мы, как в сказке, с вами заживем!
 Я готов пред вами повиниться,
 Но мое намеренье невинно:
 Я стою пред жизнью-рожицей,
 Я хочу принять красавца сына.
 Что за злое время! До стихов ли!!
 Что стихи, когда бушует пламя!
 Над людьми трещат гнилые кровли.
 Помогите им добрыми делами!
 Короток наш век! Мои порывы
 Не осилят мирового лиха...
 Познакомимся, пока мы живы:
 Добрый человек, Квливидзе Миха!

☆☆☆

Вьюжно, снежно и туманно
 В мире, в памяти, в мозгу.
 Город кратером вулкана
 Замолчал, застыл в снегу.
 Что ж так снежно! Что ж так вьюжно!
 Чем я занят! С кем я пью!
 Мне в пурге снежинок нужно
 Угадать одну, мою!

¹ Известный грузинский литератор.

Копилка памяти

1. Ты лишь одна не знаешь,
что мертва ты.

Я знаю лишь один,
что ты жива.

Лишь это отличает
нас с тобою
от всех других —
от остальных,
от прочих.

2. Копилка памяти моей
наполнена до края.
Жизнь кончена. Бегущих дней
я не запоминаю.
В мое сознание путь закрыт
надеждам и событиям,
и ни одной минуты я
не вправе уступить им.
И я лишь то (создал творец
меня, а не другого),
что память бережно хранит,
являет людям Слово...
Владеют мною только те,
кто в землю лег и замер,
копилка памяти полна
их добрыми делами.

Перевела с грузинского
М. АЛИГЕР



ХУТА ГАГУА



Два путника

Пугалось стадо свиста хворостинки.
Кричал петух. Шумели дерева.
И путник, бодро шедший по тропинке,
догнал другого, ползшего едва.

— Зачем назад ты смотришь то и дело!
О чем жалеешь! Что там, позади!
Не улочку ли детства разглядела
твоя печаль! Иль ты устал в пути!

— Смеюсь сквозь слезы... Это не усталость.
Но дедовский привиделся мне дом.
— Да там небось собаки не осталось,
чтоб, встретивши, вильнула бы хвостом...

— Еще приснилось...

Брось. У богатея
в любовницах любимая твоя.
Он что султан: теперь его затея —
иметь гарем.

— Будь проклят!.. Видел я,
приснилось мне...

— Да ты ребенок, право!
Тащиться меж провалов и вершин,
чтоб о тебе прошла худая слава:
зачем пришел, коль пуст его хурджин!!

— Пусть люди впредь от праведного пыла
плюют мне вслед — я плоть их все равно.
И так скажу: где отчая могила —
там родина: другой не суждено.

Ступай своей дорогою угрюмой,
спаси господь — что нам делить с тобой!..
И дым от трубки — над тяжелой думой
растет, уходит в купол голубой.

Там он исчезнет, там ему спокойней...
Прохожий в гору движется едва.
И звон и звон стоит над колокольной.
Белеет храм. Сверкает мурава.

Вот и могила. И в тоске, в разброде
все путается: мысли, времена.
Мерещится ему — на небосводе
восходят вместе солнце и луна...

...Судьба моя, стою с мольбой постылой.
Не жаден я в желаниях своих:
Убей меня, замучай, но помилуй —
не одежай уделом тех двоих!..

Мечта

Стояла ночь на месте дня —
ты мне светила взглядом.
Все отвернулись от меня —
ты шла со мною рядом.

Не знал я, где согреться мне,
не знал, куда мне деться, —
напомнила о давнем сне,
о теплом мире детства.

Лишь ты являлась предо мной —
и все вокруг лучилось.
Я — на вершине ледяной:
как все легко случилось!

Весельем дерзостным моим
смущались все в тревоге —
тебя, невидимую им,
я развлекал в дороге.

Спасибо добрая, тебе,
ты, право, молодчина!
Ярмо, присущее судьбе,
ты так мне облегчила!

Но вот беда: тебя уж нет.
Бреду, куда не зная.
Метнулся быстрый силуэт
коня — и — тьма густая.

Край одиночества вокруг —
проселки ли, проулки.
Какой тебя неверный адруг
умчал в разбойной бурке!

Я боль своих давнишних ран
зализываю дико.
Ты это или же обман!
В руке твоей гвоздика!

Дрожь старости со мной — смотри! —
вот-вот и сопадает...
А на столе красней зари
гвоздика увядает.

Перевел с грузинского
Ю. РЯШЕНЦЕВ

МЗИЯ ХЕТАГУРИ



☆☆☆

А что есть мужество!
Иль пролитая кровь!
Иль пот труда на лбу!
Иль точка в трудном споре!
Или отказ от чистых убеждений
во имя чуждых мыслей, чуждых дел!
Быть может, украшение полых слов!
Сражение с откровенностью мольбы,
когда тебе протянет доброта
две нежные руки свои в надежде!
Иль вера в давние обычаи народа!
Или спокойствие при вспыхнувших зрачках!
Иль новых фраз приобретенное излишество!
Уменьше лестью улаживать волков!..
Но удивительно,
что мужество порой
всего лишь в том, чтобы суметь привыкнуть
к безгрешной падчернице, к лепету ее,
иль полюбить ее,
как собственную дочь.

Песня о злом человеке

Мать, у которой умерли взрослые дети,
того, кто изменой измучен, но гордо живет,
деву увечную, что, затаясь от соседей,
все еще песню любовную робко поет,—
жалостью я не унижу. Слезами отмыты
взор их и боль, и сияет душа чистотой.
Жаль мне лишь злого:

от глаз его желчью сокрыто
всё, что обычно зовется людской красотой.
Нет у него ничего: ни тепла, ни печали.
Нету луча, осветить себе пасмурный день.
Вечна зима его. Зависть терзает ночами
даже к сухому сучку, потерявшему тень.
Грубостью, окриком я его быт не нарушу.
Просто скажу ему тихо, но так, чтоб он внял:
лучше скорбящим прожить, сохранив свою душу,
верой платить, если даже неверность познал...

Перевел с грузинского
Г. ГЛАЗОВ

РАУЛЬ
ЧИЛАЧАВА



☆☆☆

Скажи, почему эти двери,
Слегка приоткрытые в сад,
Напомят внезапно потери
И вдалеке поведут наугад!
Скажи, почему эти ямбы,
Десятки и тысячи строк,

Зажжет керосиновой лампы
Дрожащий ночной фитилек!
Скажи, почему, как поверье,
Волнуют меня до сих пор
Слегка приоткрытые двери,
Запущенный сад или двор!

☆☆☆

Как в глубине колодца, на мгновенье
Звезда, блеснув, покажется судьбой.
Особое отпущено мне зренье:
И днем я вижу звезды над собой.
Смотрю на них — и уж ничто на свете
От взгляда моего не ускользнет,
Он и пылинку каждую заметит
И времени незримого полет.
Взгляд все острее — и никакие сказки
Теперь не могут обмануть меня:
И отличаю я лицо от маски,
И день от ночи или ночь от дня.
Я разделю границу сна и яви.
А что ж за ними, где-то там, в конце!
Ведь даже смерть я не узнаю не вправде,
Хоть маска жизни на ее лице.

Конец детства

Еще не знал я, что случилось, что,
Но изменилось все на белом свете,
Когда я поднял воротник пальто
И первый снег впервые не заметил...

☆☆☆

Мне послышалось,
вьюга свистит, и несется, и вертит.
Мне привиделось,
кони отчаянно скачут, дрожа.
Это снова берут,
задыхаясь, барьеры бессмертья
Буцефал, Росинант и Лурджа!...

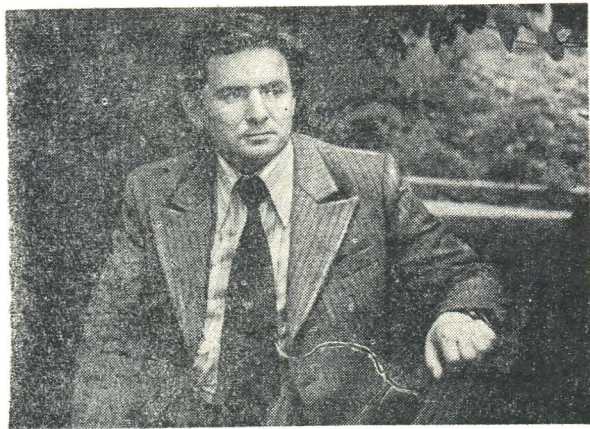
Письмо Датунии

Когда наполнятся багровым соком гроздья
И желтый бок айвы вдруг заблестит вблизи,
Когда пропахнет кукурузой теплый воздух,—
В Мегрелию меня, будь добрым, увези!
Когда белье развесит мама на балконе,
А в полдень с грохотом опустит жалюзи,
Когда в знакомом шуме старый двор потонет,—
В Мегрелию меня, будь добрым, увези!
Когда твой сын с утра раскроет «деда-эну»²,
И постигать начнет своей судьбы азы,
И обретут чернила нашей крови цену,—
В Мегрелию меня, будь добрым, увези!
Когда от яблок чердаки у нас распухнут
И после долгого пылающего дня
Сойдутся родичи за трапезой на кухне,—
Не забудь прийти и пригласить меня!

Перевел с грузинского
Р. ЗАСЛАВСКИЙ

¹ Лурджа — кличка коня Арсена Одзелашвили, народного героя Грузии.

² Деда-эна — грузинский букварь.



ЛЕОНИД ФРОЛОВ

ГОЛЕНАСТЫЙ ПЕТУХ

РАССКАЗ

Рисунок
А. Никулина.

Для вечерних киносеансов в Полежаево нет определенного часа. Пока не управятся на ферме доярки, Петя-киномеханик со своей будочки, на дверях которой намалевано печатными буквами слово «Аппаратная», и замка не снимет. Будь клуб располным-полнешенек, Петя и бровью не поведет — на афише русскими же словами написано: «Время сеанса — после вечерней дойки». Вот и майся все Полежаево, жди, когда доярки закончат свои дела.

Вовка Воронин в кино идти не собирался, но все равно проклинал доярок. «Тожэ мне барыни выискались, — ворчал он, поглядывая на запотевшие окна клуба. — Из пустого в порожнее наверняка переливают там, языки чешут, а трудящиеся люди из-за них понапрасну время теряют...»

Он, воровато ежась, сидел в канаве, чуть не доверху запорошенной палым березовым листом, и всякий раз, хотя в темноте его было уже и не углядеть, прятал голову в воротник пиджака, если кто-то проходил по тропинке. Собственно говоря, доярок Вовке можно было бы и не ждать: не они его занимали. Людей же, интересовавших Вовку, он видел собственными глазами: с полчаска назад в клуб прошествовали и заведующий машинно-тракторными мастерскими Степан Кузнецов и тракторист Микулин. Вовка был уверен, что они не выйдут из клуба, пока фильм не закончится. Но никогда не мешает подстраховаться: а вдруг у Степана Кузнецова не хватит терпения, и он, изнурился ожиданием, устанет от духоты и гомона, выскочит из зала на улицу. Степан по характеру домосед. На обычную-то картину его на аркане не затянуть. А тут сказали, что фильм называется «Выстрел в спину» — и звать Степана не надо, всем семейством Кузнецовы явились. Смешно вспомнить, но «Степь» показывали — не какая-нибудь чепуха, по произведению великого русского писателя Чехова снято, — так не пошел, «Белое солнце пустыни» привезли — уж там и в спину и в грудь стреляют, — тоже отсиделся дома, название, видите ли, не завлекло... Зато на «Выстрел в спину» прибежал, ног под собой не чуя. Вовка так и предполагал.

С минуты на минуту «пришлепают» с фермы доярки, в клубе погаснет электричество — и тогда, можно сказать, все Полежаево упрется взглядом в киноэкран. Вовке полная волюшка.

Ночи стояли уже по-осеннему темные, заволоченные; звездные сполохи не тревожили небо, и светло было только у клуба под окнами, уронившими на землю скособоленные, вытянутые прямоугольники неестественной желтизны, перечеркнутые черными переплетками рам.

Вовка зябко ежился. С берез начинала капать ночная роса. Она прожигала холодом пиджачишко, покрывала жухлые листья в канаве дождливой слизью, так что невозможно стало пошевелиться: сдвинулся с насиженного места — и штаны уже мокрые.

Нет, этих барынь, видно, и самому черту не пересидеть. Вовка выскочил из укрытия и чуть не напоролся в темноте на доярок. Они возвращались с фермы, гогоча, как гусыни.

Вовка перемахнул через канаву и присел, опасаясь, что на бегу мокрые штанины захлопают по ногам и женщины по хлопкам услышат: по дороге кто-то бежит. Он никому в этот вечер не хотел мозолить глаза. Конечно, надо было бы... для алиби, что ли, показаться в клубе, но мало ли среди ребят прилипал — привяжется тот же Славка Соколов, попробуй потом от этого хвоста отцепиться, репьем пристанет. Нет уж, Вовка будет действовать без свидетелей.

Он, ни разу не споткнувшись в темноте, по памяти вылетел на бугор, с которого днем видно всю деревню, поле за ней и лес, а сейчас, предсентябрьской ночью, — хоть глаз коли, не понять, где земля, где небо. Лишь одинокой звездочкой горело под бугром окно Митьки Микулина, сына Матвея Васильевича Микулина, тракториста, у которого Вовка, пока трактор не вышел из строя, работал в напарниках. «Усадили, видать, нянчиться с младшим братом, а сами в кино увистали», — осуждающе подумал он о родителях Митьки и обернулся назад, туда, откуда пришел: чернота слизнула прямоугольники света из-под окон клуба, а по самим стеклам, перемещаясь, сложились сейчас фиолетово-оранжевые блики. Фильм, по всему понятно, начался.

Вовка достал из кармана фонарик, осветил под ногами пятно дороги и, скользнув лучом, нащупал отворотку в поле.

Да, время действовать. Если и услышит кто рокот трактора, так это Митька Микулин. Но и то вряд ли: ему с неугомонным-братом возни по самые ноздри — избу на буксир бери, и то вряд ли почувствует. Вовка, настороженно прислушиваясь к тишине, повернул в поле. Фонарик он предусмотрительно выключил. Под ногами асфальтом лежала набитая машинными колесами твердь. Правда, от росы она начинала покрываться слизью, и ему невольно приходилось смирять шаг, не топтаться.

Перед воротами, преграждающими дорогу в поле, Вовка испуганно замер, всем нутром ощутив, что из темноты кто-то сверлит его взглядом. Вовка неловко переступил, не зная, попятиться ему или все же идти вперед, и, поскользнувшись, потерял равновесие. Он с трудом устоял на ногах, а когда выправился, из подворотни, шурша омерзевшим репейником, взметнулся на изгородь живой ком. Вовка, потя, навел на него луч фонарика. На изгороди никого не было. Луч судорожно скользнул вдоль дороги, ощупывая ее уже по ту сторону ворот, и наткнулся на фосфорический отблеск кошачьих глаз. Кот выпрыгнул из пучка света, неслышно исчез в траве.

«Ух, ты», — расслабленно выдохнул Вовка, ноги у него сделались ватными. Он еще раз посмотрел в сторону клуба. Там было по-прежнему тихо, лишь фиолетовыми ответами играли видимые отсюда окна. «Ну, ладно же, — угрожающе прошептал Вовка, — Смотрите свой «Выстрел в спину».

Слева за воротами открывалось поле, справа начинались колхозные гаражи, а впритык к ним прижались машинно-тракторные мастерские — вотчина Степана Кузнецова.

С утра у их ворот стоял неисправный трактор Микулина, с которым Вовка больше недели пахал зябь. Какая удивительная неделя была, а этот охломон Степан все испортил, не подпускает Вовку теперь к микулинскому трактору — и баста. «Не положено, — говорит, — нет восемнадцати лет». Да какие восемнадцать лет? Вовка целую неделю на тракторе ишачил, никто о годах не спрашивал.

— Для меня ты хоть в космосе эту неделю от-

летай, я тебя все равно к технике не подпущу, — уперся Степан. — У меня инструкция есть, закон... Понятно тебе?

— Да я же с Микулиным, с Матвеем Васильевичем, зябь пахал...

— Хоть с председателем колхоза паши... Он инструкцию нарушают, я за них отвечать перед законом не собираюсь. Случись чего, их посадят, а не меня.

Микулин сидел у окна на скамейке, хмурился, кусал сухой стебелек мятлика.

Степан не обращал на него никакого внимания, ходил перед Вовкой в засаленной фуфайке, растопырив выпачканные в мазуте пальцы.

— У меня, видишь вон, мотор от колесника висит, — показывал он на подтянутый на стальных тросах чуть ли не под потолок двигатель. — Сорвется ненароком — да на тебя... Я отвечаю? Да?

— И на вас может сорваться.

— А у меня, что, головы нет? Зачем я под него полезу?

Микулин сидел невозмутимо. Хоть бы слово в разговор вставил. Так нет. Молчал, как воды в рот набрал. А сам же Вовку и звал в мастерские. У трактора правый фрикцион вышел из строя — гусеница руля не слушается. Только влево и можно поворачивать, до мастерских-то еле-еле добрались. Пока ехали, все объяснял Володьке: фрикцион — это, говорит, такое устройство... Когда рулевой рычаг тянешь к себе, фрикцион там к чему-то прижимается, и гусеница стопорится на месте, а другая, свободная, знай себе идет. Но поскольку застопоренная не дает ей ходу, держит, будто на привязи, свободная движется по кругу. Таким образом трактор и разворачивается. Правый фрикцион выжимаешь — трактор идет направо, левый — налево. А вот уж если оба фрикциона выйдут из строя, тогда машина становится неуправляемой.

— Ну, я тебе принцип действия фрикционов покажу в натуре, когда будем ремонтироваться, — пообещал Микулин.

И вот — на тебе! — показал! Словечка в защиту не выдал. Вовку его молчание больше всего и бесило. Ну, этот охломон летает с растопыренными, как куриные лапы, руками — дивиться нечему. Перестраховщик! Но Матвей-то Васильевич хорош! Ехали, говорил: «Молодец, Володя!» За практическую езду хоть сегодня можно пятерку ставить, теперь еще изучишь устройство — и можешь досрочно сдавать экзамены на права».

— Ты ведь в седьмом будешь нынче?

— В седьмом.

— Ну вот видишь, а трактористом, считай, уже можешь работать. Так что профессией обеспечен. Осталась одна формальность — сдать на права.

Вовку прямо-таки распирала гордость. Шутка ли — тринадцать лет, а он уже тракторист. Другие и после десятилетки в технике ничего не смыслят, а его сам Микулин, лучший механизатор колхоза, в пример ставит, в напарники к себе брать не отказывается: «Молодец, Володя!» Еще бы не молодец. Микулин Вовку и одного оставлял в поле — без подсказок управлялся с трактором. Да если бы хронометраж провести, кто за эти семь с половиной дней больше за рычагами просидел — Микулин или Володька, — так еще неизвестно, чей верх оказался бы.

— Вот что я тебе скажу на прощание, Воронин, — явно подытоживая разговор, насмешливо произнес Степан. — Ты в мастерскую лучше не заходи. Ни мне нервы не порти, ни себе. До свидания! — Он протянул Вовке испачканную мазутом руку.

— Сначала с мылом отмойте, а потом уж протягивайте.— Вовка отстранился от мазутной руки и двинулся к выходу.

Степан поблел, суетливо полез в карман за сигаретами:

— Ну, знаете ли... Молод еще...— Он похлопал себя по штанинам — спички отозвались в правом кармане.

Микулин встал, выплюнул изо рта травину, что держал в зубах, и легонько подтолкнул Вовку к выходу.

— Володя, на улице меня подожди.

Вовка, не оглядываясь, переступил порог. Через плечо он услышал еще в дверях, как Микулин, будто выбывая из мундштука окурков, ударил ладонью о ладонь:

— Круто берешь, Степан. Разгонишь пацанов, с кем в следующей пятилетке работать станешь?

— А потакать не собираюсь, как ты. Он в тринадцать лет зубы волчком скалит, так что с ним будет, когда в силу войдет?

Вовка невольно замедлил шаг.

— Верно, с характером парень. Так этот характер надо на дело направить, а не против тебя или меня...

— Ну, я-то, положим, не боюсь с молокососом поссориться,— самодовольно хихикнул Степан.

Микулин помолчал и вздохнул.

— Эх, Степан, Степан...— Он вдруг спохватился и крикнул: — Володя, прикрой дверь!

Вовка не отозвался на зов, прошел к скамеечке, установленной у стены мастерских. Она была залоснена механизаторскими штанами, будто воском натерта. Любят, видать, мужички покурить на завалянке: ветер в спину не дует — стена прикрывает, дождь сверху не мочит — крыша над головой есть. Для окурков вкопан в землю обрезок металлической бочки. В самую бы пору и Вовке закурить, успокоить нервы...

Микулин, видимо, сам прикрыл дверь, но она прилежала к косякам неплотно, оставляла широкие щели: голоса все равно были слышны.

— У меня, видишь, все по полочкам разложено,— горячился за дверями Степан.— Тут — подшпнники, там — болты и гайки...

— Да что он у тебя этот порядок нарушит?

— А как же! — искренне удивился Степан.— Пацанов запусти сюда, так не только кавардак здесь устроят, а и половину запчастей на игрушки растащат.

— Ну, это ты зря,— снова вздохнул Микулин.— Хочешь, я тебе расписку дам... Пусты под мою ответственность.

Степан вроде засомневался.

— А циркуляр? — вдруг встрепенулся он.— Ведь его умные головы сочиняли, не нашим чета.

— Законы и то устаревают...

— Нет, Матвей, ты меня не уговоришь. Твоя расписка противозаконна, ее в расчет никто не возьмет. Сказано в положении, что на тракторе разрешается работать с восемнадцати лет, вот пусть и терпят.

— Терпят... А он, видишь, какой терпеливый... Ему восемнадцать-то стукнет, он уж школу закончит. Ты ему: «Садись, Володя, на трактор». А он тебе что ответит? «Нет,— скажет,— дядя Степан, у меня душа к трактору не лежит». Ты понял? Если ты сейчас его душу нашим делом не займешь, потом поздно будет. Упустим время.

— Ну, Матвей, тебе бы министром работать, а не трактористом,— опять засмеялся Степан.

— Да уж не хуже тебя справился бы...

— Не знаю, не знаю,— усомнился Степан.— Са-

мовольничаешь ты много, а и министры должны в узде ходить.

— Значит, не уговорить тебя?

— Да я же тебе сразу сказал.

— Ну, а если председатель прикажет?

— Не прикажет, Матвей. Нет у него таких полномочий — государственные директивы ломать. А прикажет — я и ему не подчинюсь... Я тебя-то, Матвей, не понимаю: разве можно мальчонку на ремонт трактора ставить? Там же какая тяжесть! Не по его плечам.

— Неужели я его тяжести таскать заставлю? Ключи нужные будет подавать — и то помощь. Смотришь, и его кой-чему научу.

— Да чему ты его научишь?.. Везде бы с тринадцати лет и учили на механизатора. Ан нет, почему-то постановили права выдавать с восемнадцати. Не дурнее же нас кругом.

— Ой, Степан, с тобой каши, видать, не сваришь...

— Да уж такую, какую ты затеял варить, это точно, со мной не сваришь. Ты что, увечить пацанов хочешь? Они разве соображают чего? Левый рычаг на себя потянул — трактор пошел налево, правый — направо... А вот у тебя фрикцион вышел из строя — не окажись ты на месте, что было бы? Он бы, помощник твой, с трактором вместе в овраг свалился — и технику бы угробил и от самого косточек было бы не собрать... Ну, чего молчишь? Не так, что ли?

— Зачем крайности брать...

— Ага, крайности... А кто от них застрахован? Или представь: не в овраг бы он угодил, а в автомашину с людьми врезался. Тогда кому отвечать? Министру? Или нам с тобой?

— Я ответственности не боюсь.

— А я жертва боюсь... Вот тебя, может, бог спас, что ты на тракторе оказался, когда фрикцион...

— Да что ты с этим фрикционом заладил? И Володя бы не растерялся. Уж если бы и не привел трактор в мастерские, так заглушил бы в поле.

— Это он на словах герой: кукиш пожилому человеку показать, язык высунуть, нагубить... А посмотрел бы я, как он с неисправным фрикционом трактор посел... Я не то, что машины, разводного ключа ему не доверю. Не потеряет, так стырит. Есть, есть у них такая привычка — тащить все, что плохо лежит... Ты и не спорь, я пацанву знаю! Они ведь то самокат мастерят, то еще что, а строительного материала нет... Приходится, так сказать, экспроприировать у государства или колхоза.

Вовку аж передернуло от этих слов. «Ах, вон оно что! — изумился он.— Заведующий мастерскими боится, как бы его не ограбили». Да он, Володя, чужого гвоздя без спросу не возьмет!

— Значит, опасаясь, что мальчонка у тебя колесный вал умыкнет, чтобы самокат построить? Не то, смотри, уянет планетарный механизм от трактора.

— Ну, планетарный механизм, положим, не утянуть,— усмехнулся Степан.— В нем все-таки шестьдесят два килограмма весу... хотя... Ватагу собьет пацанов из шести, могут и за планетарный взяться. А уж о запчастях и говорить нечего. Половину растащат.

По себе меряете, товарищ Кузнецов!

Вовка вскочил со скамеечки, толкнул дверь мастерских ногой.

— Я, Степан Сергеевич, о ваши запчасти рук мараить не хочу! — закричал он с сердцем.— Не хочу, чтобы они походили на ваши крюки.

Степан набылчился:

— У меня крЮки, конечно,— поднял он избитые ссадинами, изъеденные машинным маслом руки. Пальцы на них, кажется, отторгали друг друга, распухшие топорщились в стороны, как зубья граблей.— Только они вас, белоручек, кормят, вот эти крЮки мои.

Микулин поднял на Вовку усталый, расстроенный взгляд:

— Володя, я же говорил, подожди меня немного на улице.

— А я и ждал... Но вы же не говорили мне, чтоб я и уши там, на улице, затыкал...

Микулин, горько усмехнувшись, покачал головой:

— Ну, давай, бей своих, чтоб чужие боялись...

Степан обрадованно подхватил:

— Вот-вот, я ж тебе не зря говорил, что он, как волчонок, зубами клает.

Вовка было пристыженно потупился, но Степан входил в раж и терял чувство меры:

— Я тебя предупреждал, Матвей: не потакай молокососу. Он отца родного не пощадит, загрызет, не то что тебя, наставника... Воспитали на свою шею нахлебников...

— Я в нахлебники к вам не напрашиваюсь,— взъершился Вовка.— Вы не оскорбляйте, пожалуйста, я не подчиненный вам.

— Давай, давай, обойдемся и без сопливых.

Вовка приготовился было уж убежать, а убежать в таком положении нельзя, и он оскорбленно остановился, не зная, что предпринять в ответ.

— От сопливого слышу,— наконец вывернулся он.

Микулин страдальчески поморщился.

— Да хватит вам, ненормальные... Ты уж, Степан, не уподобляйся маленькому.

Степан, заложив руки за спину, пыхтел, как самовар:

— «Не уподобляйся маленькому...» Этого маленького надо ремнем учить, а потом уж на люди выводить.— Он словно бы готов был исполнить свою угрозу, снять ремень, да какая-то досадная мелочь останавливала, держала.— Нет, я отцу его посоветую, чтобы он, пока не поздно, взялся за воспитание. А если у Ивана Андреевича ремня нет, могу свой одолжить, солдатский, с бляхой на конце. Живо поумнел бы сынок от такого воспитания.

Он шел на Вовку, распахнув полы фуфайки и показывая под ней широкий солдатский ремень. Вовка пытался от Степана, готовый щучонком извернуться и выскользнуть в дверь.

— Да ты не дрейфь, мне правое дано этот ремень на тебе испытывать. А то бы давно штаны тебе спустил до колен да исполосовал бы, чтоб знал, как огрызаться.

— Значит, и тут без инструкции не решается? — опять осмелел Вовка, все же не давая Степану приблизиться к себе.

— Не решаюсь,— вздохнул Степан.— Отвечать за паршивца не хочется. У меня ведь рука неостановная, исхлещу до бесчувствия.

— Ну, что же, прощайте,— сказал Володька, понимая, что навсегда отлучен от посещения колхозных мастерских.

— Скатертью дорога.

Микулин кашлянул в кулак:

— Володя, и все-таки ты меня подожди на улице.

Степан насмешливо покосился на Вовку.

— А чего ему на улице дожидаться тебя? Он же все равно к двери прильнет подслушивать. Так уж пусть здесь торчит, поговорим и при нем.

— Спасибочки за доверие,— насмешливо раскланялся Вовка.— Разве я не знаю, о чем вы будете говорить? Мои же косточки станете перемывать:

белоручка, неумеха, молокосос... Ему нормальный-то трактор не привести, не то что с неисправным фрикционом.

— Неужто бы привел и с неисправным? — Степан дурашливо вскинул брови, испытующе посмотрел на Вовку и махнул рукой.— Да где тебе! Молоко на губах не обсохло! — Он покосился на морщившегося, как при зубной боли, Микулина.— Что, Матвей, разве не правда?

Микулин пожал плечами.

Ах, и он не верит? А ведь Матвей Васильевич и Степану так заявлял, что случись на тракторе Вовка один, без него, без Микулина, так не вляпался бы в аварию, как утверждал Степан, а заглушил бы в поле мотор — и вся, мол, недолга.

Степан поучающе покачал головой:

— Тс-то и оно... Еще подрасти надо... Вот я читал в газетах недавно, что для школьников не худо бы изготовить на заводе специальные ребячьи машины. Ну, значит, вроде игрушек. Игрушечный трактор, игрушечную автомашину, игрушечные плуги и бороны... Чтобы, значит, учились пахать и сеять, а безопасно было и для окружающих и для самих школьников...

— Вы сами на игрушечных и работайте! — Вовка не захотел больше слушать его. Нет, Степан Сергеевич! Это вы мастерскими лет десять заведуете, а шоферить до сих пор не выучились. Вовка не из таких! Ему не игрушечную автомашину подавай, а настоящую.

— А что? На игрушечных неохота ездить? — засмеялся Степан.— Охота искалечить такую машину, что подороже стоит? А ведь игрушечную-то и с неисправным фрикционом води сколько хочешь...

Вовка смерил Степана презрительным взглядом и вышел.

«Водите сами!» — распалял он себя. Подумаешь, фрикцион, фрикцион... Да не так уж и велика премудрость — с неисправным фрикционом привести трактор с поля в ремонт. Ну, собьется он у тебя с дороги немного вбок — так ты сдвигай назад, вырубивая гусеницей нужное направление, а потом дуй себе дальше. Скосит он через какое-то время снова в сторону, так ты снова спятся, работая исправным фрикционом. Сколь ни подергаешься взад-вперед, а куда надо приедешь.

Вовка, конечно, не стал дожидаться Микулина. Да и зачем его дожидаться? и так видно, со Степаном они сплутаются. Один кричит — не приведет Вовка трактор; другой утверждает — не приведет, так заглушит в поле. А вот и не заглушу!

Ворота в деревню были закрыты, и Вовка с разбегу переметнулся через изгородь на руках. У подворотней колодины грелись на солнышке куры — рассыпались сразу в разные стороны. Один лишь петух — гребень красный, будто мороженая калина, — драчливо склонил голову и боком-боком пошел на Вовку.

— А, иди ты! — Вовка отлягнулся от него лсвой ногой.

Гребень у петуха был в крови — уже от кого-то, видать, досталось, — а вот поди ж ты: характер не переломить. Петух подпрыгнул, взлетел на уровень Вовкиного плеча и, хлопая тяжелыми крыльями, со стукотком опустился на голенастые ноги. Вовка опять отлягнулся от него, но петух не намерен был отступать — угрожающе клонил к земле голову, распускал шпоры, разворачивался снова боком.

Вовке показалось, что на него из-за ворот смотрит Микулин. Подошел будто бы к самым воротам и стоит улыбается, ждет, чей верх будет — петуха или Вовки. Вовке хотелось обернуться к Микулину, удостовериться, что это действительно он,

а не кто-либо иной. Но петух словно гипнотизировал Вовку. Он следил за каждым движением парня, не давал ему выключиться из поединка даже на долю секунды, подпрыгивал, норовя вцепиться шпорами в Вовкину рубашку. Вовка невольно попятился. Петух гордо занял отвоеванное пространство, держа удобную для нападения позицию.

«Ах ты, гад такой!» Вовка взмахнул рукой. Петух подпрыгнул, захопал крыльями, поднимая ветер и жухлые листья.

Кто-то мешал Вовке взглядом, сковывал его движения. А петух не давал оглянуться, выяснять кто. Вовка спятился еще на шаг и нашарил ногами палку. Схватил ее — и к петуху. Но тот уже оценил обстановку: загроможденно крича, он убежал по дорожке, резко вскидывая голенастые ноги.

— Та-ак, сыночек, — услышал Вовка голос отца. — С петухами воюешь...

Вовку словно окатили из ушата холодной водой.

— А ну, подойди сюда! — приказал отец.

— За-ачем? — неуверенно протянул Вовка.

— Я кому сказал, подойди!

И надо же такому случиться — Вовка побежал от отца. Он не мог и себе объяснить, почему так случилось. Ну, отдрал бы отец за уши, ну, дал бы ему подзатыльника — так отец же... Да и не сделал бы он ничего такого; Вовка не помнил, чтобы отец когда-нибудь распускал руки, мораль бы, конечно, шепотом прочитал, чтоб из соседей никто не услышал, а бить — нет, это на него не похоже.

— Ну, хорошо, — многообещающе погрозил отец. — Придешь домой — разберемся.

А в чем, собственно, Вовка перед ним провинился? В том, что от петуха драпака не задал? Или, может, Степан успел нажаловаться отцу: мол, сын у тебя грубиян, мол, он у тебя такой-сякой. Нет, вроде бы не успеть отцу со Степаном перемолвиться. Вовка только что из мастерских.

Вот уж верно замечено: беда в одиночку не ходит. Вовка это по своему опыту знает. Неприятность всегда идет под ручку с другой неприятностью... В мастерских от ворот поворот получил, так еще и с отцом повздорил.

Вовка неприкаянно брел по деревне, не зная, куда себя деть. И домой заходить нельзя: сам себе дорогу отрезал. И к ребятам заглядывать — настроение не то. Ведь выложит им, что Степан о тебе говорил, скажут, так и есть: не привести неисправный трактор. Они же по себе меряют, за рычаги никогда не держались. А Вовка — механизатор. Неделю у Микулина в напарниках ездил.

Решение вызревало у Вовки не вдруг. Он просто еще не догадывался и сам, что носит уже его в себе.

Не было у Вовки намерения угонять трактор, не было, а зуд какой-то уже точил душу. Ведь может же Вовка проехать на тракторе с одним фрикционом, назло всем может.

Вот то-то бы Степан Кузнецов удивился: «Посмотрите, какой мастак, а я не верил в него...» Микулин, тот бы и руку пожал: «Я всегда говорил, что ты молодец, Володя...»

Вовка забирался мыслями высоко. Но земля не небо: чем выше паришь в мечтах, тем чаще спотыкаешься на дороге.

Это ж надо, опять отец навстречу попался.

— Слоняешься все? — спросил строго. — Ну-ну, смотри... Сколь ни шляешься, а ночевать-то домой придешь.

Неужели Степан успел-таки наябедничать на него? Вполне возможно, что теперь уже и успел.

Отец у Вовки работает секретером в сельсовете. Наверно, телефонограмму из «Сельхозтехники»

принял для заведующего мастерскими, бегал вручать и напоролся сейчас, на обратном пути, на Вовку. А может, и старый какой-нибудь грех отыскался? Да не должно бы... Вовка целую неделю на тракторе работал, ничего не успел натворить. Вот и ломай теперь голову...

— Ну, так что? До вечера? — не без намека спросил отец и, как на амортизаторах, пружинисто вышагивал к сельсовету.

Вовка совсем сник.

Утро, говорят, вечера мудренее, но как до этого утра дотянуть? Пожалуй, пока отец на работе, надо заскочить домой подкрепиться да, может, куда-нибудь и краюху припрятать. Там неизвестно, чем день завершится...

Он открыл калитку и уже отсюда увидел, что дом на замке: ну, конечно, мать с сушилки не возвращалась, зерно там проветривает. «Тем лучше, пообедаем в одиночку», — потер он руки. Взгляд его наткнулся на старую ременную плетку, валявшуюся под крыльцом. И опять, не думая еще всерьез о тракторе, Вовка полез ее доставать: кожа у плетки мягкая, из ремешка можно сделать шнур к пускату.

«Все в карманы Ваня тащит, и набит карман, как ящик», — прищурился Вовка, вспомнив любимую присказку отца. Да, отец никак не шел у него из головы. И чего он сегодня так выстрожился?

Вовка похлопал себя по карману. Шурупы, гайки, ножик-складенчик отозвались дружным звоном. Теперь вот к ним отправился и ременный шнур.

— Да, как ящик, — повторил Вовка заключающие слова присказки и, сняв с петли замок, вошел в дом.

Он в каком-то полузабытии, машинально поел, не ощущая вкуса еды, отломил ломоть хлеба, с трудом затолкал его в карман и опять оказался на улице.

Кинемеханик приклеивал у клуба афишу. Вовка повертелся вокруг него, повыспрашивал, что за картина, и, усевшись под березой на выпирающий из земли мощный корень, по щипку съел припасенную на черный вечер горбушку.

И только тут до него дошло, что сегодня же все Полежаево будет в клубе. И Степан Кузнецов, и отец, и Микулин... Конечно, если они узнают, что сегодня показывают «Выстрел в спину».

Вовка заскочил к кинемеханику в аппаратную.

— А на мастерских тоже вывесите? — кивнул он на кипу незаполненных голубых афиш.

— Для кого там вывешивать? Два человека всего работают, — отмахнулся кинемеханик.

— Не ска-ажите. Там тракторов вышло из строя — не пересчитать. Чуть ли не все механизаторы на ремонте.

Кинемеханик уловил в Вовкиной горячности какой-то подвох, погрозил пальцем:

— Ой, парень, ты чего-то мне неспроста казачьи песни поешь.

— Да я что, мне все равно, — похолодел Вовка, спасая ситуацию, намеренно равнодушно повернул к выходу. — Я думал, как лучше: на мастерских повесить, на сельсовете, на школе, на магазине... А мне ведь, конечно, все равно.

Кинемеханик, бегать с афишами не большой охотник, на Вовку же и навязал это дело. А Вовке что? К мастерским только надо тишком пробраться, чтоб ни Степан, ни Микулин его не увидели, да к сельсовету не под окнами, а с тылу пройти. К магазину же и к школе можно лететь даже с песнями.

В хлопотах вечера и дожидаться не надо — сам настал. Но смутное беспокойство не оставляло Вов-



ку весь день, вечером же стало щемить еще сильнее. Вовка не пытался найти ему объяснения. Он знал: так бывает с ним всякий раз, когда предстоит трудное объяснение с отцом.

Ох, напел Степан отцу в уши дурные вести. Может, и лишку еще добавил, кто его остановит. Не Микулин же, который не только за Вовку, но и за себя постоять не может, это надо же, какой-то неумеха Степан так развязно разговаривает с лучшим механизатором колхоза. В узде, мол, ходить не умеешь... Не имеешь права пацана своему делу учить. Да Вовка бы на месте Микулина показал Степану, как с передовиками должны обращаться: «Мой трактор — с кем хочу, с тем и ремонтирую!» А то ведь срам: расписку какую-то обещал. Не так надо: не слушаете меня — ухожу, мол, с работы; где вы найдете такого механизатора? Сразу бы залезли... Сразу бы любое разрешение дали...

Ну, Вовка и сам за себя постоит: не первый раз. Он, полный решимости, проскочил мимо доярок, торопившихся в клуб, но перед воротами в поле заробел. А тут еще этот кот добавил тревоги. Какие-то заколдованные оказались ворота: днем их охраняет петух, вечером около них несет караульную службу зеленоглазый котиче.

За воротами Вовка включил фонарик, в темноте можно залететь в яму, в колдобину, споткнуться о вывороченный пласт дерна — земля перед гаражами исхрыстана техникой, все равно что побывала под бомбежкой.

Микулинский трактор стоял на месте, перед въездом в мастерские. Степан Кузнецов не пустил его даже под навес. Как же, у него на ремонт очередь... А то еще, может, на полках нету и запасных фрикционов, надо ехать в район...

Вовка залез в знакомо пахнущую кабину. На сиденье валялась фуфайка Микулина, будто он отлучился на перекур, а не ушел домой до утра. Фуфайка обычно прикрывала ящик с инструментами. Но сейчас его не было под сиденьем. Ящик Микулин куда-то припрятал. Конечно, гаечные ключи, отвертки, молотки, плоскогубцы, масленки, шурупчики, свечи дороже для тракториста даже новой

фуфайки, а уж о микулинской, из которой вата клочьями лезет, и говорить не приходится. Так что Вовка не напрасно прихватил с собой ременную змейку от плетки. Шнур-то от пускача лежал у Микулина в ящичке.

Вовка взялся — для пробы — за рычаги управления: левый упруго пружинил, а правый проваливался, как в пустоту. Ну, где наша не пропадала! Вовка, посвечивая фонариком, выпрыгнул из кабины, прошел к двигателю пускача. Он поблескивал машинным маслом. Под заплывшей мазутом колбочкой карбюратора висела капля горючего. Она, как росинка, отражала лучи фонарика и горела радужным сколком стекла. Вовка накрутил ременную плетку на пускач, но дернуть за шнур не осмеливался.

За спиной — он ощущал это — жила деревня. Ее не было в темноте видно. Даже в микулинском окне свет либо погас, либо его заслонили постройки. Но до Вовки долетали вздохи коров, взбрыкивали у собачьих конур цепи, нет-нет, да и захукачут — как будто рядом! — на чьем-то наместе куры. Вовка никогда не думал, что темнота бывает такая чуткая. По мосту через Березовку проехали на телеге — опять как рядом: протяни руку — и упрешься ладонью в дроги. Слышно даже, как в щели меж мостовин сыплется в речку потревоженный колесами песок... У кого-то в доме несмазанно скрипнула дверь... Ой, не все Полежаево в клубе! Старики и старухи не променяют тепла печей ни на какие заманы.

Вовка дернул за шнур — камнепад обрушился с неба. Трактор не просто трещал, он задыхался в дробильном грохоте, надрывался в реве, и Вовка, оглушенный, раньше времени переключил подачу горючего на мотор. Мотор не схватился.

Тишина вернулась на землю, но в ней не было уже ни брэнчания собачьих цепей, ни квохтанья кур на нашествиях, ни скрипа дверей. Будто мир погрузили глубоко в воду, отгородили от той жизни, какой он только что жил.

Ноги дрожали в коленях. Вовка, притушив свет, прислушался к темноте и стоял не шевелясь до

тех пор, пока не вернулись к нему прежние звуки и шорохи. Деревня, оказывается, никак не отреагировала на обвальный грохот. Но Вовка, не очень-то доверяясь тишине, еще потянул время: отошел от трактора, присев на корточки, повслушивался в шелест травы — не перебивается ли он чьими шагами — и только после этого вернулся к покрытой потным холодом машине. Он не полез сразу к мотору, а завернул к баку с горючим, проверил, не слито ли оно, и убедившись, что заправки хватит на дальний путь, снова прокрался к пускачу.

Вовка вновь намотал змейку шнура на разгонное колесо, вновь пережил минуты оглушающего грома и треска, но у него на сей раз хватило терпения раскрутить мотор так, что тот принял наконец живительный ток горючего, заработал ровно и — по сравнению с пускачом — почти бесшумно.

Вовка залез в кабину, врубил в ней свет, дал ток передним и задней фарам и, дождавшись, когда мотор прогреется, выжал сцепление. Трактор вздрогнул. Волнуясь, Вовка нащупал набалдашник переключателя скоростей и для начала толкнул его прямо вперед. Гусеницы лягнули, темнота поплыла навстречу капоту, раздвигаясь в стороны перед пучком сильного света.

Трактор явно забирал влево, шел дугой, и выровнять его ход было нельзя: правая ручка рычагов управления обессиленно проваливалась.

«Пожалуй, так на второй скорости и поеду, — решил Вовка, не очень-то пока надеясь на свою реакцию, — мало ли какая возникнет преграда, на медленном ходу можно и сообразить, что к чему. Все-таки машина-то — инвалид».

Трактор сунулся радиатором в рытвину — Вовке, чтоб усидеть, обеими руками пришлось упереться в приборный щит — и, еще круче развернувшись влево, вылез по скосу наверх. Фары выхватили из темноты деревню, и сразу чуть ли не во всех окнах заиграл свет. У Вовки мелькнула даже мысль, что это не отражение от фар, а загорелись лампы под потолками, что он слишком долго возился с двигателем, и люди уже вернулись из кино. Рискнув снова свалиться в канаву, Вовка попятил трактор, выворачивая его на полевую дорогу. Направляющие колеса лягнули сзади ослабевшими цепями гусениц и, зависнув над рытвиной, оттянули машину вниз. Радиатор взмыл вверх, поднявшись на уровень ветрового стекла, уперся фарами в вязкое небо. Вовка торопливо включил переднюю передачу, и трактор, выползая из кювета, успел развернуться чуть ли не на девяносто градусов.

Вовка не удержал себя, чтобы не оглянуться. Деревня по-прежнему отсвечивала окнами, и, как при луне, белели стволами березы, изгородь сбегала под горку, а вдоль нее густо чернела крапива. Господи, да он же заднюю фару не отключил! Вовка щелкнул тумблером, чернильная темнота осела за трактором, поглотив в себя и деревню с березами и тем более изгородь, затянутую крапивой.

Трактор уже опять сехал с дороги, опять надо было спячивать его назад. Ну, это дело не хитрое. Вовка быстро приспособился к переключению скоростей: от второй до заднего хода — один рывок рычага. Благо, не плуг за собой тянешь, сдавай назад хоть полверсты. Конечно, полверсты спячивать ни к чему. Но дергаться взад-вперед придется, от этого сейчас никуда не уйти.

Дорога свернула в беззначок, разреженный ельником, перескочила ручей и повела к песчаному карьеру уже строевым лесом.

Мотор работал ровно и басовито. В кабине смотровое стекло усеялось крапинками пота. Душа у Вовки ликовала и пела: «Ну что, Степан Сергеевич?

Чья взяла?» Трактор слушался Вовку, как умная лошадь.

Лес казался каким-то неправдашним. При свете фар и зелень хвои и пестрота листьев приобретали особую сочность и напоминали скорее не настоящие деревья, а картину художника.

Перед взгорком дорога неожиданно раздвоилась, и трактор сам себе выбрал левую, неразъезженную отвилку. Отвилка эта опять раздвоилась, и опять трактор отвернул влево.

Ночью лес узнавался трудно, и Вовка не сразу сообразил, что уже давно едет к карьору заброшенным и опасным путем. Лет пять назад носились машины с ветерком и по этой дороге, но когда вплотную к ней подступил овраг, с каждым дождем, с каждым таянием весенних снегов размываемый все сильнее, ретивая шоферня пробила к карьору объезд. Но это ж для опытного механизатора овраг страшен, а для Вовки и сам леший — друг.

Овраг выходил к дороге не сразу. Вовка увидел сначала по правую руку от себя широкий темный проем в деревьях, из которого на него дохнуло сыростью, потом запорощенная пальми листьями и мертвой хвоей просека выскочила в сосняк, и уж только после этого деревья вообще отступили с правой обочины, а луч фар, не находя во что упереться и скользя по песчаному обрыву, так ни разу и не высветил дна оврага. Да неужто он бездонный?

Левая рука непроизвольно отжимала рычаг управления, заставляя трактор, и без того забирающий влево, еще круче вязать дугу. Вовка заметил это, когда гусеница соскребнула кору с осинки, ближе других выскочившей к дороге, и уже подмывая ее под себя. Нет, пока есть еще относительный простор для маневра, надо сантиметров на тридцать дать задний ход. Вовка переключил скорость и, покрываясь потом, лег всем телом на рулевой рычаг. Мотор освобожденно гудел, а Вовка давил и давил на рычаг и не понимал, отчего так легко двигается. Боже ж ты мой, да он же работает вхолостую — нога у Вовки онемело топила педаль сцепления. Вовка медленно отпустил ее, но это ему казалось, что медленно, а нога, видно, дрогнула — и трактор рывком качнулся назад. Вовка испуганно осадил его, не успев развернуть гусеницу. Суетливо переключив скорость, он послал трактор вперед и снова — на сей раз уже плавно — спятился. Истерзанная гусеницей осинка распрямилась обочь кабины. Кора с нее слезла клочьями. И Вовка представил, что могло бы произойти, доведись шпорами гусеницы вглотиться не в тонкий податливый пруттик, а в ствол заматеревшей сосны или ели. Чего доброго, трактор могло б развернуть и поперек дороги — ни назад не сунешься, ни вперед не пройдешь. Хорошо, если шесть с половиной тонн веса распределяются таким образом, что центр тяжести окажется по эту, невидимую черту на дороге, за которой тебе дарована жизнь, а если по ту, близкую к осыпи? Какие тормоза тогда останавливают трактор?

Вовка отер рукавом испарину, выступившую на лбу, и тронул машину вперед. Ему почему-то очень нехотяти вспомнилось, что он забыл у ворот мастерских свой ременный шнур, с помощью которого раскручивал диск пускача. Ну, и невелика потеря, не возвращаться же из-за нее домой. На обратном пути подберет, чтобы не оставлять за собой никаких улик. А глубоко в подсознании тайно торжествовала другая мысль: и хорошо, что забыл, — если не суждено вернуться, по ней, по этой утере, его и найдут.

С воспоминания о шнуре подспудная тревога вселилась в душу, и Вовка не мог понять, отчего у него защемило сердце.

На дорогу выкатился еж, побежал по световой толоке впереди трактора. Вовка не испытал от его появления ни восторга, ни желания поймать растерявшегося звереныша. И когда еж, ослепленный фарами, с разгону не сообразил, что земля под ним неожиданно оборвалась, когда он взмелкнул черными лапками, на лету сжавшись в упругий комок, Вовка от ужаса закрыл на мгновение глаза. Ему даже показалось, что внизу, в утробе оврага, тело ежа глухо шмякнулось, и эхо пронесло звук шлепка по всему лесу.

Дорога слегка отвернула от оврага, но он тут же, за поворотом, догнал ее и еще теснее прижался к деревьям. Ни вправо, ни влево тут уже повернуть, пожалуй, было б нельзя. Вовке пришла на память сказочка о двух баранах, встретившихся на горной тропе. Они, бедолаги, не смогли разминуться: таким узким был переход. Но, вывернись сейчас из-за поворота не трактор, нет, а тот же баран, посмотрел бы Вовка, куда б он стал отворачивать. Хотя ему, конечно, не страшно: встречный баран мог бы сигануть в лес. Но Вовка-то на тракторе не сиганет — деревья не пустят. А по правую сторону... Перед радиатором медленно ползла земля. Ползет, ползет — и вдруг проваливается в темноту. Луч от фар скользит по ней, как по небу, не находя, за что уцепиться.

Вовке слышалось даже, как из-под правого трака оползнем стекал по круче песок. Ему чудилось временами, что кабина накренивается, что земля ускользает из-под нее, и он невольно прибавлял газу, чтобы выскочить из опасной зоны.

У него разнилось от напряжения плечо, которое было ближе к оврагу. Он перетрудил его, наверное, потому, что на роковых метрах пути словно бы упирался во что-то хоть и невидимое, но твердое. И всем корпусом, а особенно правым плечом помогал машине не завалиться на бок. Стоило ей чуть-чуть огрузнуть на правую гусеницу, как Вовка задеревенелым туловищем клонился к свободному сиденью, пока трактор не выравнивался, не обретал устойчивость. Вовка утопленником вцепился в спасительную рукоятку рычага управления — пальцы самому дьяволу не разжать: заостенели. В кабине было душно, но Вовка не замечал этого. Он расширившимися от ужаса глазами смотрел вдаль.

На песчаной кромке обрыва вверх корнями распластано лежала сосна-выворотень. Вершина ее могучей кроны была отпилена темнотой, а корневище, как морское чудовище, как спрут, топорщилось своими отростками и выглядело живым. Оно, казалось, подзывало Вовку к себе, как рукой, приглашающе взмахивая одним из широких щупалец. Вовке начинало чудиться, что сосна продолжает сползать по песчаной круче в бездонную глубину и манит за собой его, Вовку.

Вовка до крови прикусил губу. Корневище-спрут медленно уплыло назад, в темноту.

Трактор полз по кромке обрыва, с которой — может быть, даже сегодня — обрушилась, потеряв опору, сосна.

Дорога стала невообразимо узкой. На ветровое стекло угрожающе надвигались рогатины сучьев. И тогда думалось, что они вот-вот вспорют кабину и, словно вилами, пригвоздят Вовку к сиденью. Но трактор упрямо пер на них, и сучья, скользнув по капоту машины, проскрежетав по ее кабине, затихали, успокаивались сзади.

Вовка не смел оглядываться. Он прощупывал взглядом дорогу перед радиатором, пытаясь пред-

угадать, что его ждет, — хорошо, что колея закруглялась немного влево, и ему не надо было поминутно бросать машину взад-вперед. Но уж очень узок был уступ для проезда. Добро бы лежал под трактором твердый грунт, а то ведь песок. Усыпанный жухлыми листьями, он успокаивающе обманчив: смотришь, вроде бы сухо и ровно, но Вовка всем телом ощущал — гусеницы выворачивают из-под листьев песок, склонный утекать вниз водой. Вовка понимал, что трактор останавливать опасно: твердь под ним была ненадежной. Он чувствовал, как она податливо оседает под тяжестью машины. И спасение было сейчас в одном — быстрее проскочить гиблое место.

Там же, где колею не замело листьями, там, где она проступала сеем скипидарно-бурых иголок, можно было довериться глазу: какой видишь дорогу, такая она и есть. Но чем она лучше замаскированной? Тот же самый песок.

И хоть дорога, словно помогая Вовке, полукругом отжимала лес от оврага, левая гусеница все равно норовила выскочить за обочину, зарыться в ягодник, в муравейник, в кусты ивняка, вгрызться в податливую кору необхватной сосны. Рывочками, на сантиметрик, на два вершка, трактор приходилось сдавать назад, чтобы направить на колею, и Вовка слышал, как на таких разворотах уплывал песок не только из-под правой, но даже из-под левой гусеницы. Нет, песок не соскальзывал по круче в овраг, он продавливался, расступался, словно вода, и создавалось такое ощущение, что вся дорога садится, сползает вниз вместе с многотонной и неуклюжей громадиной, вызвавшей этот оползень.

Вовка прямо-таки сросся с машиной, будто наделив ее своими нервными клетками. Малейшая оступь гусеницы испуганно заставляла крепче сжимать рукоятку рычага, словно в ней одной и заключалось его спасение.

Ох, Вовка бы и врагу своему не пожелал такой дороги, какая выпала на его долю!

У него мелькнула подленькая мыслишка выпрыгнуть из кабины. Но куда прыгнешь: откроешь дверцу — и вот она, бездонная пропасть, прямо под змеисто ползущей гусеницей. Перелезть к левой дверке? Да ведь на секунду выпустишь управление из рук — и неизвестно, успеешь ли даже передвинуться с одного сиденья на другое. Выключить мотор? Но трактор-то и на ходу оседает на правый бок. Так что уж лучше стиснуть зубы и вести трактор вперед.

Дорога неожиданно пошла под уклон, забирая все круче вправо. Левая гусеница поминутно вгрызалась теперь не в кусты, не в ягодники, а в стену земляного откоса, который рос и рос, пока не сравнялся верхним обрезом с крышей кабины и пока, наконец, совсем не удвинулся в непроглядную темноту. Вовка сообразил, что это спуск в карьер, прорытый когда-то бульдозерами.

Трактор достиг дна оврага, мертво-желтого, изуродованного кратерами ям и холмами земли, без единого кустика, без единой травинки. Свет фар уперся в противоположную стену котлована, отглаженную ковшами экскаваторов. Нет, овраг был не такой уж и глубокий, каким казался сверху. Чуть правее изъеденной ковшами стены начинался пологий откос. Вовка углядел на нем укатанную дорогу. Так вот он где, новый объезд, пробитый шоферней к карьеру!

Вовка враскорячку вылез из кабины на гусеницу, свалился в песок. Ноги не держали его. Все тело ныло надсадой. Каждая клеточка его была чужой. Вовка уперся руками в песок, чтобы подняться, и не повсрился, ощутив, каким стал тяжелым: мышцы не

выдерживали его, дрожали перенапряженными струнами.

Он все же поднялся. Так шатало, наверное, космонавта, вернувшегося из полета на Землю. Только Вовку свое возвращение не радовало. Ему ничего было не любо, не дорого.

Он рухнул снова в песок и, распластавшись, долго был неподвижным. Кажется, так бы и пролежал тут до смерти — ни волков, ни самого лешего не было страшно.

Мерно рокотал трактор. Сквозь его рокот был слышен наверху шум деревьев. Откуда-то издали, из деревни, долетал крик петуха, перепутавшего ныч с утром. Не того ли самого, голенастого?

Вовка перевернулся на спину, разбросав руки в стороны, и лопатками, сквозь пиджачишко, почувствовал идущий снизу холод. Скребнув по земле пальцами, он набрал горсть перемешанного с галькой песка, вяло сдвигая его — кажется, выступила вода, скользнула по запястью в рукав, обожгла холодом. Может, это и не вода, конечно, а песок, высушенный росой и туманом.

Вовке послышалось, что где-то заговорили люди. Он проворно вскочил и, перевалившись туловищем через гусеницу — забраться на нее не хватило сил: к ногам словно двухлудовые гири подвешены, — дотянулся рукой до рычажка газа.

Мотор задохнулся. Тишина опустилась, как с неба, и словно накрыла овраг звуконепроницаемым копаком. Даже шум деревьев, слышимый при работе двигателя, куда-то отодвинулся, исчез, и люди нигде не говорили, не пел петух, не шуршали на ветру жухлые листья. Немым истуканом стоял трактор, уставясь немигающими зрачками передних фар в отвесную стену песка, а задней высвечивая полотно взвешенного в лесу. Вовка выключил свет, и в темноте почувствовал, что трактор излучает живое тепло.

«Ну, вот, теперь вы его поищите», — устало подумал Вовка, не испытывая никакого удовлетворения ни от того, что он привел машину в карьер, ни от того, что Степан Кузнецов утратил волосы, будет рвать на себе, хватившись пропавшей. Кажется, достать в нем, Вовке, сил, он привел бы этот трактор обратно и поставил бы его к воротам мастерских точно так, как тот и стоял с вечера. И пусть никто бы и не узнал, что Вовка может водить трактор без фрикциона, пусть безнаказанно важничал бы Степан Кузнецов и не подпускал к трактору: Вовка не видел сейчас улады ни в своей мести, ни в собственном самоутверждении.

Он достал из кармана фонарик и побрел домой не той короткой дорогой, какой приехал сюда, какая была знакома ему теперь каждым листиком, каждым песчаным выночком, он пошел объездным, более длинным путем. Идти по следам своего трактора у него не хватало духу. Только сейчас ему сделалось по-настоящему страшно, и его начала пробирать дрожь.

Вовка не знал, как одолел четыре версты дороги. Он помнил только, что шел долго, томительно, что, когда выбрался, наконец, к деревне, окна в клубе пылали светом и у крыльца гомонил народ. Кино, видимо, давно кончилось, молодежь устроила танцы.

Вовка открыл калитку своего дома, замка на дверях не было, но Вовку, судя по всему, не ждали, потому что свет в избе не был зажжен. Само собой, родители были уверены, что сын носится у клуба с другими ребятами.

Вовка поднялся на сеновал, где у него было постелено, разделся и, комом бросив одежду, упал на подушку. Он уже сквозь сон натянул на себя холодное одеяло и тут же увидел, как в яви, огромного

петуха, того самого, голенастого, с горевшим калиной гребнем. Петух убежал от кого-то, бойко отбрасывая назад голенастые ноги, пригнув шею к земле и чудом не опрокидываясь клювом в землю. Шпоры его мелькали медными пятаками, а гребень надломленно зависал над глазом и по капле ронял на дорогу густую кровь. Кровь отскакивала от земли калиной-ягодой. Мальчишки собирали ее в пыли.

«Ребята, — слабым голосом умолял их Вовка, — Да калины и в палисаднике можно нарвать».

Но они не слышали его крика, бежали за петухом, и Вовка бежал вместе с ними, только не нагибался за ягодами. И пока Вовка гнался за петухом, произошло непонятное превращение: петухом-то стал Вовка, и не у настоящего петуха, а у Вовки уже сочился кровью гребень. Вовка ощущал его тяжесть, чувствовал боль в надломе и видел отпрыгивающую от земли калину.

«Так от кого же я убегаю?.. Надо остановить кровь». — И догадывался, что бежит от себя самого, а тот, настоящий петух, идет следом и горделиво клюет ягоды.

«Что ты делаешь? Не твои!» — продолжая бежать, кричал Вовка, не понимая, зачем он бежит от себя. Ведь вон настоящий-то петух не бежит...

Вовка проснулся совсем разбитым. Отца с матерью в доме не было. На столе лежала записка: «А кто будет копать картошку?» — прочитал Вовка и сразу узнал руку отца. Уразуметь же смысл записки он долго не мог. Ох уж эта отцовская манера изъясняться с сыном! Все подковырочками, насмешками, недомолвками... Вовка вспомнил: отец же вчера с утра говорил, что, если Володька будет свободен, пусть копает в огороде картошку: начнутся занятия в школе, и вздохнуть станет некогда. Надо же... Вовка с этими мастерскими отцовский наказ забыл-перезабыл. Значит, о нем и напоминал отец, когда Вовка у ворот воевал с петухом. Еще бы: со стороны-то, конечно, картина открылась не из тех, что поднимают сыновей в глазах родителей. «Опять, — скажет отец, — мой балбес ветер в поле гоняет».

Вовка склонился над умывальником, чтобы ополоснуть лицо, и обомлел, увидев себя в зеркало: все губы в кровоподтеках. Вот уж верно, петух с калиновым гребнем. Стал руки намыливать, а на обеих ладонях мозолищи: копай картошку, когда и мыло взять больно.

Побитой собакой вышел Вовка на улицу. Ноги были словно резиновые, шарашиться на них, а не идешь. Казалось, не на тракторе вчера ездил, а марфон без тренировки сдал.

Вовку, как преступника, потянуло к месту своего преступления. Он направился к мастерским. И второй раз за сегодняшнее утро удивился: трактор стоял уже у ворот. Может, и не было этой дурацкой ночи? Может, приснилось все?

Нет, шнур от Вовкиной ременной плетки висел, захлестнутый петлей, на дверной ручке. Вовка его не вешал. Значит, Микулин подобрал на земле и, обо всем догадавшись, пошел по следам, оставляемым гусеницами. Конечно же, трактор не птица, не по воздуху улетел.

Микулин сидел на завалянке, курил.

— Ну, что, Володя, утер нам нос? — спросил он тихо.

В его голосе не было ни иронии, ни угрозы, скорее даже прозвучала нотка жалостливости.

Вовке сделалось стыдно.

— Да-а, — протянул Микулин и отвернулся, чтобы не встречаться с ним взглядом, словно в чем-то был виноват и сам.



**БОКОВ
ВИКТОР**

У Вечного огня

Бессмертие — материя, которая,
Надежно память Родины храня,
Горит над городами и просторами
Мемориальной вечностью огня.
Седая мать, а ты все так же держишься!
Твои морщины — фронтовые рвы.
Так велика печаль, но сила нежности
Хранит святую гордость головы.
Горючею слезой поминовения
Закапаны цветы с родных лугов.
Не уходи! Побудь еще мгновение,
И попейся за других сынов.
Огонь, как вспышка боя рукопашного!
Все кажется, что он заговорит,
И голосом солдата, храбро павшего,
Тебе надежду в жизни подарит.

В лугах России

Луга России меня спросили:
— В твоих руках была коса!
Я взял литовку на изготовку,
Взмахнул — и брызнула роса.
К ногам упала земляника,
Запахло ягодой лесной.
А зоотехник Зинаида
С косою острой шла за мной.
Волос ее льняные прядки,
Как ласточки, взлетали вверх.
Вдруг Зина выкрикнула: — Пятки!
И уронила звонкий смех.
— Напрасно ваше опасенье! —
Был мой решительный ответ.
Я вырос на лугах, на сене,
Косьбу узнал в пятнадцать лет.
Смеялся луг, смеялась Зина,
Шутил шофер из гаража.
И нежно чавкала низина
Водою чистой, как слеза.

Доброта

Доброта — поступок.
Доброта — характер.
Тот большой преступник,
Кто ее карает.
Доброта — потребность,
Доброта — готовность.
Духом все мы крепнем
В дружбе с добротою.
Доброта — Отчизна.
Доброта — сплоченье.
Главный принцип жизни,

Главное ученье.
Если в человеке
Доброта погибла,
Значит, он навеки
Умер — как обидно!

Балалаечка

Балалаечка-отрада,
Возьму в руки, сердце радо,
Заиграю, запою,
Всех людей развеселю.
Балалаечка-зазноба,
Полюбил тебя до гроба,
Ты звенишь, и я звеню,
Я тебе не изменю.
Балалаечка-засуха,
Соловьем влетаешь в ухо,
То и слышу — трень да брень,
Добры люди, добрый день!

Воспоминание о Севере

Я жил при солнце нескатном
В песках, где всюду топи блат.
Сидел, как ученик за партой,
И слушал, слушал водопад.
Звенела музыка паденья,
А рядом белый ягель глож,
И в голубое загляденье
Роняло солнце светлый вздох.
Брусника на каменных рдела,
Глядело озеро в проем.
Я делал там не чье-то дело,
Я делал именно свос.
Я собирал слова-каменья,
Командовал: — Душа, кипи!
И творческое вдохновенье
Как пса, спускал с ночной цепи!
Спешил и сам за ним в порыве,
Хозяйский голос подавал.
И не впервые, не впервые
Родную землю целовал!

Посвящение

Олегу Поскребышву

Твое зерно из твоего лукошка
Посеяно на белом поле книг.
Ты, как птенцов, пустил его с ладошки,
И нива поднялась, и всход велик.
Твое зерно в амбары свезено,
Оно кондиционно — белояро.
Чтоб отливало золотом оно,
Тебе земля все тайны доверяла.
Твое зерно проверено на всхожесть,
Заколосились дружно колоски.
И урожай твой можно подытожить
И выложить стеной твои мешки.
Ты пахарь, и свирель твоя певуча,
Я узнаю напев ее простой.
Поэзии целительная туча
Вот-вот в тебе прольется добротой.
Ах, дождичек! Трава смеется стоя,
Купается в ней сельская душа.
И стонет сердце звонкой красотой
Под синевой хрустального коша.
Ау, мой брат, нагнись за земляникой,
Сорви скорей земли душистый плод.
И напитайся силою великой,
И песнею пролейся в свой народ!



ИГОРЬ МИНУТКО

ШЕСТНАДЦАТЬ ЗАЖЖЕННЫХ СВЕЧЕЙ

Глава седьмая НОВЫЕ ЗНАКОМСТВА

ПОВЕСТЬ

Был воскресный день.
К Косте пришел Жгут. Удивительно! Теперь Жгут стал тенью Кости Пчелкина.
«С тобой интересней,— кратко объяснил он.— И ты на психику не давишь».
«Это как?» — не понял Костя.
«Обыкновенно,— не стал распространяться Жгут.— И матери обещал помочь. В общем, во всем рассчитывай на меня».
Сейчас, встретив настороженный взгляд Ларисы Петровны, Жгут сказал Косте:
— Пойдем погуляем.
— Пойдем.
...Возле подъезда, в котором живет Костя Пчелкин, стоят скамейки. На одной из них сейчас сидел, небрежно развалившись, Муха, пощипывал струны гитары, что-то еле слышно напевал. Рядом сидел Дуля, курил. На вышедших из подъезда Костю и Жгута они, казалось, не обратили никакого внимания.
— Ленку ждут,— шепнул Жгут, повернувшись к Косте.— Вон идет.
Лена быстро шла к подъезду и вдруг остановилась в нерешительности.
— Лена! — позвал Костя.
Она сделала шаг в сторону Кости, но тут прозвучал спокойный, жесткий голос Мухи:
— Подруга! Сюда! Быстро!
Лена замешкалась, растерянность, отчаяние были на ее лице.
И опять сказал Муха, теперь снисходительно:
— Давай, давай! На полусогнутых.
Лена, опустив голову, покорно шла к скамейке, где сидели Муха и Дуля. Дуля вскочил, шутовски раскланялся, смахнул невидимый сор с места, где только что сидел.
— Просю!
— Дуля! — тихо, но грозно процедил сквозь зубы Муха.— Слияй!
Дуля поспешно отступил в сторону.
Лена села рядом с Мухой, опустив голову.
Муха, быстро взглянув в сторону подъезда—Костя смотрел на них,— обнял Лену за плечи.
— Убери руку! — сказала Лена, и в голосе ее было нечто, заставившее Муху послушаться.
Чтобы не уронить своего достоинства, Муха произнес насмешливо:
— Воля женщины — закон.

Жгут предложил Косте:

— Еще раз позвать ее?

— Подожди! — тихо, но резко сказал Костя. Он еще не принял никакого решения. «Уйти?..»

И в это время все услышали громкий крик:

— Ребята! Ребята!

К подъезду бежал худой мальчик в очках, которого Костя часто видел встречающим или провожающим «Скорую помощь».

— Ребята! — Он говорил быстро, взволнованно жестикулируя: — Они окончательно решили!.. С липой... Муха! Придумай что-нибудь! Пожалуйста!

— При чем тут я? — громко перебил Муха. — Да и ничего сделать невозможно. Раз они решили. У них власть. А против власти не попрешь.

— Значит, — удрученно сказал мальчик в очках, — ты ничего...

— Очкарик! — опять перебил Муха. — Обращение не по адресу. Что мы можем? И вообще... Выдумали вы все с дедом. Тоже проблема. — Муха засмеялся. — Липовая проблема!

И тут вскочила со скамейки Лена.

— Ты всегда... Всегда такой! Тебе ни до чего нет дела!...

— Верно, — спокойно подтвердил Муха. — Всем ни до чего нет дела. А всякие высокие словеса — лапша, дуракам на уши вешать.

— Врешь! Все ты врешь!.. — закричала Лена. — Если бы так, все давно поубивали бы друг друга. Очкарик! — Лена схватила мальчика за руку. — Идем! — решительно сказала она. — Пчелка! Пошли с нами!

— Ленка, кончай цирк! — Муха бросил гитару на скамейку, и она жалобно прозвенела, будто стон вырвался.

Но Костя, Жгут, Очкарик и Лена уже шли к подъезду, возле которого часто останавливается «Скорая помощь».

— Ленка! — вдруг сорвался с места Дуля. — Я тоже с вами! — И он, грузный и неуклюжий, побегал за ними.

Муха смотрел им вслед...

Лифт поднял ребят на пятый этаж. Очкарик от волнения долго не мог открыть дверь.

— Я и у Мамонта в магазине был, и в этом... ДЭЗ... — говорил он, возясь с ключом. — Разговаривать не хотят. «Все уже решено».

Наконец дверь распахнулась.

— Дед! Это мы!

Ребята прошли в большую светлую комнату, в которой сразу же бросились в глаза предметы, связанные с морем: висел на стене барометр, на книжном шкафу стоял макет многомачтового парусника, одну стену занимала лоцманская карта, и всюду были фотографии: моряки, порты, айсберги в океане, птичьи базары на северных островах. Часто повторялась фотография моряка, сначала в простой форме, потом в офицерской, потом в форме капитана второго ранга.

Большое окно было открыто настежь, и дверь балкона тоже была широко распахнута. И в окно и в дверь тянулись зеленые ветки старой липы, весь балкон был окутан зеленью, и слышалось, как щебечет невидимая воробьиная стая.

Рядом с дверью на балконе стояла инвалидная коляска, в ней сидел старик, седой, высохший, но в резких, мужественных чертах лица, в стрижке бороды и волос, в осанке угадывалось что-то «мичманское», морское. В фотографиях моряка, офицера, капитана второго ранга можно было сразу узнать старика в разные годы жизни. И сейчас он смотрел на ребят молодыми, горячими глазами. И еще до брата была в этом взгляде.

— Дед, — сказал Очкарик, — это ребята с нашего двора. Они насчет липы.

— Сначала будем знакомиться, — с одышкой, но бодро сказал старик. — Время у нас есть. Итак, рад служить: капитан второго ранга в отставке Владислав Константинович Спивак.

— Лена Макарова! — Лена подошла первой к коляске навстречу протянутой старческой руке.

По очереди назвали себя остальные:

— Гарик... то есть Георгий Тарков! — сказал Дуля.

— Константин Пчелкин.

— Станислав Савохин.

— Прекрасно! — бодро сказал старик. — Располагайтесь вот на диване, в креслах. И все обсудим.

Некоторое время молчали. Наконец Костя спросил Владислава Константиновича, взглянув на фотографии, развешанные на стенах:

— Это все вы?

— Я... — вздохнул старик. — По каким только морям не ходил! А вот теперь... С тех пор, как ноги отнялись, уже шестнадцатые лет...

— Дед двое суток в воде на спасательном поясе продержался, — перебил Очкарик. — Их тральщик в тумане на айсберг налетел.

Ребята во все глаза смотрели на старика.

Дуля подошел к макету многомачтового парусника, стоявшего на шкафу, спросил:

— На таком корабле вы тоже плавали?

— Ходил, — сказал старик. — На каких только я не ходил... А это учебный парусник. Я его еще курсантом осваивал, чуть постарше вас был... Вот наше описание нашего «Меркурия», чертежи и сделал макет.

— Сами? — с интересом спросил Дуля.

— Вместе с Виктором, внуком моим.

— Да я только так, — сказал Очкарик. — Это подат, то поддержать.

— Мне бы чертеж, — насупил брови Дуля, — я бы запросто.

— Витя, — Владислав Константинович повернулся к внуку. — Дай-ка мне вон ту книгу, ты знаешь.

Очкарик взял с книжной полки старую, толстую книгу, подал ее деду. Владислав Константинович стал листать внушительный том, замелькали схемы кораблей, парусников, чертежи, фотографии судов.

— Посмотри на эту схему, — сказал старик Дуле. — Яхта простейшего типа. Вот описание и чертежи. Материал и инструменты у меня есть. Сделаешь?

Дуля стал с сосредоточенным видом рассматривать чертеж, подумал немного и произнес довольно нахально:

— Сделаю!

— Ну и трепач ты, Дуля! — засмеялась Лена. — Чего мозги-то пудришь?

— Сказал, сделаю — и сделаю.

— Давай вместе займемся? — предложил Владислав Константинович.

— Вы серьезно? — не поверил Дуля.

— Конечно, серьезно!

— А когда можно прийти?

— Будет свободное время — и приходи.

— Да он всегда свободный, — буркнул Жгут.

— У нас времени навалом, — сказала Лена. — Даже неизвестно, куда его девать...

— Только сейчас у нас его, — перебил Очкарик, — не очень-то много.

— Ты, не паникуй, внук. — Владислав Константинович посмотрел на открытую дверь балкона. — Неделю-то у нас есть?

— Да, — ответил Очкарик. — Сказали, что через неделю...

Все посмотрели на открытую дверь балкона, за которой ласково шумела листва липы.

— Нет, это надо додуматься, — снова заговорил старик. — Поднять руку на такую красавицу! Это же не просто дерево! Это символ жизни! А что значит эта липа для нашего двора? Для всех людей, которые живут в каменных громадах?

— А для тебя? — сказал Очкарик. — Разве ты, дед, проживешь без нее? — Мальчик повернулся к ребятам. — Летом для деда эта липа — спасение. У него же астма. Липа воздух очищает, вентилирует, не пускает сюда со двора бензиновый дух, всякие там магазинные запахи.

— Все это так, Витя, — задумчиво сказал Владислав Константинович. — Но, пожалуй, еще важнее другое. За последние шестнадцать лет липа под окном стала для меня родной. А еще точнее, родным живым существом. Она мой сад, мой океан, мой друг и собеседник. Мы с ней проводим многие часы вдвоем, каждый день. Витя в школе, остальные на работе. Мы с ней разговариваем. Ранней весной я вижу, как в ее старых ветвях пробуждается жизнь. Летом, вот сейчас, она, когда поднимается ветерок, рассказывает мне всякие истории. — Старик посмотрел на балкон. — Вы прислушайтесь...

Под легким ветром липа тихо лопотала что-то своими листьями.

— Еще на этой липе скворечник есть, — сказал Жгут. — Чуть ниже, примерно на уровне третьего этажа. Я сам прибивал.

— Да-да! — обрадованно сказал Владислав Константинович. — Скворечник мне не виден, но я знаю, что он есть. А скворец в этом году, глава семейства, ну и певец, доложу вам! Мы с ним друзья, я про себя его Карузо зову. Уж больно хорошо поет, стервец!

Все засмеялись, но смех перебил Очкарик:

— Все-таки что будем делать?

— Я по телефону пытался выяснить... — сказал Владислав Константинович. — Вежливо объяснили: все документы оформлены, есть разрешение. Я спорить. Иронизируют: старческие, мол, причуды. И деликатно намекают: из ума выживаю.

— А Мамонт-то, — перебил дед Очкарик, — все по-тихому провернул. Если бы не тетя Зина... Она в магазине кассиршей. Шепнула мне...

— Время у нас действительно еще есть, — сказал Владислав Константинович. — Тебе, Витя, кто про неделю сказал?

— Да в ДЭЗе. — Очкарик немного заикался, наконец, от волнения. — Лысый такой и в глаза не смотрит. Пробурчал, что какой-то трест, что ли, который озеленением Москвы ведает, раньше, чем через неделю, специалиста прислать не может.

— Зачем же он это тебе сказал? — удивился Владислав Константинович.

— А пошутить изволил. «Любуйтесь, — говорит, — своей липой еще неделю».

— Удивительные люди появились за последние шестнадцать лет, — сказал Владислав Константинович.

— Только ты, дед, не волнуйся, пожалуйста! — Очкарик с тревогой смотрел на своего деда.

— Да не волнуясь я, не волнуясь! В одном беда. Ведь пока все наши протесты — разговоры и телефонные звонки. Сотрясение воздуха.

— Вот что! — Костя даже вскочил со стула. — Надо заявление написать в защиту старой липы...

— И пусть все жильцы подпишутся, — добавил Очкарик.

— Мальчики, какие вы умные! — серьезно сказала Лена.

...Через два дня в кабинете начальника ДЭЗа —

дирекции по эксплуатации зданий — товарища Метелкина В. А. (так значилось на табличке, прикрепленной к двери) вошли трое: Костя, Очкарик и Лена.

— Вот. — Костя положил перед товарищем Метелкиным В. А. двойной лист, вырванный из тетради. Почти всю его правую половину покрывали столбцы подписей жильцов дома.

Сверкая лысиной, Метелкин В. А. в один миг прочитал заявление, его чисто выбритое лицо омрачилось:

— Безобразием занимаетесь, граждане, — вздохнув, сказал он. — У нас вон капитальный ремонт в тридцати процентах жилого фонда, а вы со всякой ерундой. — Он еще больше омрачился. — Однако раз написали, мы вынуждены реагировать...

— Вот и реагируйте, как надо, — сказал Костя.

— Будем. Будем реагировать. — Начальник ДЭЗа зашелестел бумажками по столу. — Скопившиеся дела будем решать... — он заглянул в календарь, который лежал под стеклом, — ...через одиннадцать дней. Черт знает, на что время у занятых людей отрывают. И опять мне в трест озеленения звонить, откладывать.

— Откладывайте навсегда, — посоветовал Костя.

— Не учите меня, молодой человек.

И на этом аудиенция закончилась.

На крыльце их ждали Жгут и Дуля.

— Ну? Чего? — спросил Дуля.

— Никуда они не денутся, — сказала Лена. — Считайте, что дело сделано! А как Пчелка разговаривал с этим лысым! Полный отвал!

...Ребята шли к старой липе. Вдруг против своей воли Костя остановился, будто налетел на невидимую преграду: под деревом стоял Муха. Руки в карманах, улыбка на лице.

— Вот и все общество, — сказал он вроде бы ни на кого не глядя. — Мужественные борцы за справедливость. Нет, что творится на белом свете! — И вдруг он резко повернулся к Косте. — Значит, мое предупреждение по боку? От Ленки не отлипаешь? Ладно... Не дрожи. Сейчас бить не буду.

— Это ты не дрожи, — спокойно сказал Костя, прямо глядя на Муху. — Это я тебя бить не буду. — И он шагнул к противнику.

На лице Мухи мгновенно отразились самые разные чувства: недоумение, растерянность, тень испуга...

И он отступил в сторону.

Глава восьмая

«ЧАО, БАМБИНО, СОРРИ!»

Через несколько дней случилось событие весьма неожиданное.

Накануне в кафе-мороженом встретились Лена и Костя с Кириллом и Эдиком. Друзья Кости — «ненавязчиво», как на следующий день сказал Кирилл, — рассмотрели избранныцу «маэстро Пчелкина» и, быстро расправившись с мороженым и вишневым соком, удалились, «дабы не мешать интимному разговору».

И вот...

Лена Макарова поздно вечером пошла за газетами и обнаружила в почтовом ящике конверт, на котором было напечатано: «Лена. Лично». Вскрыла конверт. В руках ее была записка: «Моя фея! Жду

тебя сегодня ровно в полночь под липой. Если не придешь, я умру. К.»

«От Кости? — Лена вертела в руках записку. — Вот тебе и тихоня. Или что-нибудь случилось?»

...Был поздний вечер. Близкий фонарь смутно освещал старую липу. Под слабым ветром шумели листья. Из темноты появилась Лена, оглядываясь по сторонам. Рядом никого не было. Она подошла ближе к фонарю, взглянула на ручные часы — без трех минут двенадцать.

— Ку-ку! — послышалось из темноты.

Лена быстро оглянулась на голос, позвала:

— Пчелка!

Под липой появился Кирилл, в левой руке у него был транзисторный приемник. Кирилл галантно раскланялся.

— А вот и я! Пламенный полуночный привет!

— Ты? — отпрянула в сторону Лена.

— Я. А что?

— А... а Костя?

— Я вместо него. Получил полномочия.

— Врешь! — прошептала Лена.

— Вру. — Кирилл засмеялся.

— Я сейчас тебе глаза выцарапаю — будет фея.

— О! Синьорита! Такой вы мне еще больше нравитесь. — Кирилл опять рассмеялся и сделал вроде бы шуточный жест, пытаясь обнять Лену.

Девочка увернулась, сказала без злобы и страха:

— Учти, я не шучу: у меня ногти крепкие.

— Учел, — тоже серьезно сказал Кирилл.

Они стояли друг против друга. Лена с любопытством смотрела на Кирилла.

— Значит, ты написал эту фиговую записку за Пчелку?

— Скажите, Пчелка! — фыркнул Кирилл. — Пчелка, мушка, козявка... Почему же — за него? Это я написал от себя. Там же подписано: К. Это я, Кирилл Парков, очень симпатичный молодой человек, скромный, с отличными манерами...

— Кончай кино, ясно? — перебила Лена.

— Ясно, — сказал Кирилл. — Слушай, пошли ко мне! Мои продолжатели рода на даче, квартира в нашем распоряжении. Есть музыка что надо. Найдется выпить. Ты французский коньяк «Камю» пробовала?

— Ты... ты серьезно? — тихо спросила она.

— Серьезней не бывает. Ты меня подрубила с первого взгляда. Увидел — и упал. Лучше тебя...

— Заткнись! — перебила Лена. — Я дома отпросилась на десять минут, думала с Пчелкой что-то случилось!

— Понятно, — сказал Кирилл. — Давай перенесем на завтра? Что если часов в семь? Сходим в кафе. Знаю я одно недалече, там у меня приятель на ударных рубли щелкает...

— Слушай, — перебила Лена, — ведь ты Пчелке — друг?

— Э! Дружба дружбой, а любовь — врозь.

— А если я ему все расскажу?

— Что расскажешь? — насмешливо спросил Кирилл. — Как ты ко мне прибежала? Свистнул — и прибежала?

— Ты мне свистнул?

— Знаешь, с тобой трудно говорить по-человечески. Ты тупая, как автобус, все понимаешь прямолинейно. В записке свистнул. Смекаешь?

— Смекаю. Ты свистун.

— Вот это уже похоже на разговор, и ты опять начинаешь мне нравиться. Так что же насчет завтра? Значит, в семь? Я предлагаю возле аптеки. Знаешь, через квартал? — Кирилл усмехнулся. — Подальше от дружеских глаз,

— Ну, ты даешь! — сказала Лена. — Неотразимый, да? Михаил Боярский?

— «Мы все глядим в Наполеоны, двуногих тварей миллионы», — продекламировал Кирилл. — Чьи гениальные слова?

Лена молчала.

— Ты к тому же еще и темная...

— Скажи, — перебила Лена, — вы все такие?

— Во-первых, кто «все»? Во-вторых, какие «такие»?

— Все такие, как ты?

— А! — Кирилл улыбнулся. — Понятно. Я, конечно, не социолог, специальными исследованиями не занимался. Но... Если исходить из моего небольшого опыта и круга знакомств... А что ты думаешь, наш робкий агнец Пчелкин...

— Замолчи! Замолчи! — вдруг закричала Лена, и слезы покатались из ее глаз. — Ты... ты...

И она убежала в темноту.

Кирилл прислонился к стволу липы, включил транзистор, покрутил настройку.

«Чао, бамбино, сорри» — донеслось сквозь потрескивание и джазовое сопровождение.

— Как говорится, — хладнокровно сказал Кирилл, — первый блин комом. Ничего. Мы еще повоюем.

Глава девятая

СОЛО ДЛЯ СКРИПКИ С ОРКЕСТРОМ

Костя набрал номер телефона и, чувствуя, как чаще забилося сердце, стал ждать.

— Я слушаю, — сказал в трубке голос Лены.

Костя вдруг лишился дара речи.

— Мушка, ты? — спросила Лена, и в ее голосе Костя услышал нетерпение и радость.

Свет померк, стало темно.

— Это я, Лена.

— Пчелка? — Лена не скрыла разочарования.

— Понимаешь, Лена... — заспешил он, — я хочу пригласить тебя на один концерт...

— Правда? — заинтересовалась Лена.

— Вернее, это не совсем концерт. Отборочный конкурс для концерта выпускников музыкальных школ...

— Ты будешь играть на своей скрипке? — перебила Лена.

— Да.

— Как интересно! — обрадовалась Лена. — Когда?

— Завтра, в шесть вечера.

— В шесть? — Он услышал ее легкое дыхание в трубке. — У нас занятия до семи вечера... Ладно, я сорвусь с последнего часа.

— Так ты... придешь? — От волнения голос Кости прервался.

— Конечно приду! А кто там еще будет?

— Мои друзья... — Костя непонятно чего испугался. — А вообще народу, наверно, соберется совсем мало...

— Так это где?

— Приглашение тебе будет оставлено у вахтера. Пиши адрес...

— Подожди, я возьму бумагу и ручку.

«Она ждала звонка Мухи...» Костя почувствовал, что слезы, внезапные, сокрушительные, подступают к горлу.

— Пчелка, диктуй!
— Сейчас...
— Да ты что? Ты плачешь?
— С чего ты взяла? Пиши...

...Маленький концертный зал был слабо освещен, только горели контрольные табло над входными дверями. Всего человек двадцать собралось здесь: сидели в одиночку, парами, группами, тихо переговаривались.

В центре зала был широкий проход между рядами, и тут сидели Костя, Эдик и Кирилл. Костя все время оглядывался на дверь, которая была открыта; из вестибюля через нее падала полоса яркого света. Костя нервничал: уже без десяти шесть, а Лены все нет.

— Не придет,— сказал, усмехнувшись, Кирилл.

— Чуть-чуть опоздать для девчонки,— сказал Эдик,— просто необходимо.

К мальчикам подошла пожилая седая женщина с высокой прической, в черном платье, очень взволнованная.

— Костя, тебя поставили первым.

— Я знаю, Надежда Львовна,— ответил он, не спуская взгляда со входной двери.

— Ты кого-нибудь ждешь?— спросила Надежда Львовна.

— Да,— сказал Костя.— Должна прийти одна...

— Приятельница,— подсказал Эдик.

— Поклонница,— уточнил Кирилл.

— Господи!— всплеснула руками Надежда Львовна.— Мало того, что ты пропустил пять занятий! Еще приятельница! Костя! Я прошу тебя творчески сосредоточиться! Думать только об исполнении. Скрипка, одна-единственная скрипка, должна быть сейчас всем твоим существом.

— Не волнуйтесь, Надежда Львовна,— сказал Костя.— Все будет как надо. Я в хорошей форме.

— Я надеюсь, надеюсь!— Надежда Львовна быстро, шурша платьем, пошла к сцене.

— Совершенно непонятно, Константин Витальевич,— сказал Кирилл,— ваше легкомысленное поведение. В такой ответственный день думать лишь о ней, о ней, о ней!

— Теперь я вижу,— серьезно сказал Эдик,— он влюблен.

— Бред!— засмеялся Кирилл.— Любовь в наш взбесившийся век... Выдумки поэтов и сентиментальных безумцев прошлого, леди и джентльмены! Признаю: есть влечение полов, физиология. И, если с этой точки зрения взглянуть на предмет по имени Лена...

— Прекрати!— с такой яростью повернулся к нему Костя, что Кирилл невольно отшатнулся.

— Костя, ты что?— тихо спросил Эдик.

— Да, я люблю ее,— ответил Костя.— Люблю, понимаете?

— Я не понимаю,— насмешливо сказал Кирилл.

— Я не знаю, как объяснить.— Костя смотрел на дверь.— Просто... Просто я не могу без нее жить. Вот ее вдруг не станет, и я умру. Поймите!— Отчаяние было в его голосе.

— Ромео и Джульетта,— опять усмехнулся Кирилл.

— Хорошо,— заговорил Костя.— Меня ты понять не можешь. А Ромео и Джульетту? Они же не смогли жить друг без друга!

— «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте»,— продекламировал Кирилл.— А вообще...— Он стал вдруг серьезным.— Не верю. Выдумал все Шекспир! Скажите, что-нибудь подобное вы видели в жизни? Или хотя бы слышали от знакомых?

— Вот,— сказал Эдик, кивнув на Костю.— Смотри на него. И слушай.

В этот момент в дверях появилась Лена в простом тесном платье, с сумкой через плечо. Несколько мгновений она стояла в полосе яркого света, оглядывая зал, увидела ребят, быстро пошла к ним по проходу между рядами. Три друга молча смотрели на нее. Костя подался вперед, все в нем ликало: «Она пришла! Пришла! Пришла!..»

— Привет, Пчелка!— запыхавшись, сказала Лена.— Я опоздала, да? Прости!— Девочка взглянула на Эдика, потом на Кирилла. Тень скользнула по ее лицу. Она сказала несколько растерянно:— Привет...

— Салют!— ответил Эдик.

Кирилл встал и, не спуская с Лены насмешливого взгляда, раскланялся.

Лена отвернулась от него, осмотрела зал, сказала:

— Как здесь интересно!— И села на свободный стул.

— В этом не лучшем из миров,— сказал Кирилл,— много всего интересного. Например, негритянский джаз или ночное кафе с программой.— Он продолжал бесцеремонно, открыто рассматривать Лену.— Ты знаешь, что такое стриптиз?

— Перенасытился буржуазной прессой,— перебил Эдик.— Большой специалист по ночным заведениям Сохо...

Он не успел договорить—его перебила Лена; она повернулась к Косте, сказала резко:

— Пчелка, я советую тебе гнать его отсюда.

— Кого?— растерянно спросил Костя.

— Вот этого!— Лена ткнула пальцем в Кирилла.

— Но почему?— изумленно спросил Костя.

— Потому что он предатель!

Кирилл вскочил со стула:

— Ты, поосторожней на поворотах...— Растерянность и испуг прозвучали в его голосе.

— А что будет?— насмешливо спросила Лена и, быстро встав со стула, вплотную подошла к Кириллу.— Так сам расскажешь? Или я?

— Да ты!..— Кирилл отступил на шаг, думая, что предпринять.

— Ребята, ребята, перестаньте!— ничего не понимая, беспомощно сказал Костя и встал между Леной и Кириллом.

И в это время послышался голос Надежды Львовны:

— Костя! Костя! Пчелкин! Разве ты не слышал? Скорее! На сцену.

В первом ряду уже сидели члены комиссии за низким столиком, подсвеченным боковыми лампами. Перед ними лежали листы бумаги, стояли бутылки минеральной воды и стаканы. Члены комиссии тихо переговаривались.

Костя повернулся к сцене, увидел Надежду Львовну, которая махала ему рукой, нагнулся к уху Лены, прошептал порывисто:

— Я буду играть для тебя!— И быстро пошел к сцене, поднялся по боковой лестнице и скрылся за кулисами.

Теперь они сидели рядом: Лена, Эдик, Кирилл.— У тебя явные нарушения психики,— начал было насмешливо Кирилл, повернувшись к Лене.— Надо лечиться. И я предлагаю...

— Умолкни!— сказала Лена с такой ненавистью, что Кирилл мгновенно оборвал себя на полуслове.

Эдик покосился на Лену, нагнулся к ее уху, спросил серьезно, с оттенком грусти:

— Ты знаешь, как Костя относится к тебе?

Лена потупилась, смотрела вниз, долго не отвеча-

ла. Потом резко вскинула голову — лицо ее было растерянным и несчастным.

— Знаю...— еле слышно прошептала она.

Медленно раскрылся занавес. На сцене стоял рояль.

Вышла молодая женщина в простом коричневом платье, медлительная, будничная, сказала:

— Константин Пчелкин. Музыкальная школа номер восемьдесят три. Класс скрипки Надежды Львовны Райзер. Чайковский. Концерт для скрипки с оркестром, вторая часть.

На середине сцены появился Костя со скрипкой. Он сдержанно поклонился, поднял скрипку. За рояль села седая старушка, очень худая, с прямой спиной, она пошелестела нотными листами, поудобнее устроилась на стуле, замерла, посмотрела на Костю, он еле заметно кивнул ей головой.

Пальцы аккомпаниаторши опустились на клавиши.

Смычок в руке Кости коснулся струн...

«Лена, Лена, Лена!..— пела скрипка.— Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя!.. Посмотри, какой прекрасный мир подарен нам с тобой: небо, солнце, деревья, мокрая от дождя трава, добрые звери... Посмотри: мы идем по улице, и навстречу нам люди, лица, лица, лица... И сколько задумчивых лиц, горестных, жаждущих нашего участия. Почему мы не спешим им на помощь? Мы спешим, спешим!— все пела, пела скрипка.— Лена!.. Да, да, я люблю тебя! Но еще я люблю всех людей. Спасибо тебе, Лена! Ты научила меня этой любви...»

Широко раскрыв глаза, изумленно смотрела Лена на Костю. И слушала, слушала...

Костя и Лена медленно шли по вечерней московской улице. Он нес в футляре свою скрипку. Но мелодия продолжалась, голос скрипки рвался вверх, к небесам, и теперь его сопровождал оркестр.

— Ты, конечно, пройдешь по конкурсу, да? — спросила Лена.

Оркестр замер, улетел голос скрипки, и Костя сказал:

— Не знаю. Это будет известно завтра.

Теперь они шли мимо ярко освещенных витрин универмага: женские манекены с мертвыми лицами были облачены в роскошные вечерние туалеты, у их ног на атласных подушках сверкали в неоновом свете кольца, перстни, бусы, диадемы...

— Обалденно! — сказала Лена.— Мне бы это платьице. А к нему вон то кольцо.

— Это платье? Прошу! — Костя как бы снял с манекена платье и легко бросил его Лене.— Колье? Один момент!

Но она не приняла игры.

— Как же,— буднично сказала Лена.— За такое платье, знаешь, сколько башлей надо? Да и нет его в продаже. Для витрины, дуракам мозги морочить.

Они свернули в сквер с редкими фонарями. На скамейке, тесно прижавшись друг к другу, сидели двое. Парень целовал девушку. Лена и Костя быстро взглянули друг на друга. И смутились. Лена смутилась даже больше Кости.

Они оказались на просторной улице. После недавнего дождя кругом были лужи, и Лена, балансируя, шла по каменной кромке тротуара, довольно высокой. Костя поддерживал ее за руку, шагая прямо по лужам. Вдруг Лена, не удержавшись, сорвалась с кромки и попала в мгновенное, короткое, как молния, объятие Кости...

Он тут же выпустил ее, весь вспыхнув. Лена засмеялась. И в это мгновение хлынул ливень. Лена

показала рукой на ярко освещенную «стекляшку», над которой горели неоновые буквы: «Мороженое», схватила Костю за руку:

— Бежим!

В кафе-мороженом никого не было. Костя и Лена сели за пустой столик у прозрачной стены, и через потоки дождя им смутно были видны расплывающиеся разноцветные огни улицы.

Подождала пожилая усталая официантка, сказала:

— Ничего нет. Мороженое кончилось.

— Может быть, лимонад? — неуверенно спросил Костя.

— Нету лимонада.— Официантка внимательно посмотрела на них. Что-то смягчилось в ее лице.— Ладно, я вам соку принесу.

Она ушла. Костя и Лена услышали ее голос:

— Анют! Открой банку яблочного. Тут у меня влюбленные. Трепет сердца и — не дыши. Теперь таких редко увидишь.

— Да ты что? Открывать? — завелась у буфетной стойки Анюта.— Через полчаса замок вешать. Чтоб до завтра банка прокисла?

— Не ворчи, Анюта. Открывай. Надо.

Костя и Лена не смотрели друг на друга от смущения и неловкости.

— Какая весна в этом году дождливая,— нарушил молчание Костя.

— И лето,— добавила Лена.

— Верно! Ведь сегодня второе июня.

— Как у тебя в школе?

— В норме,— сказал Костя.— Две четверки, остальные пятерки. А у тебя как?

— Не знаю. Мы еще учимся.

И они опять неловко замолчали.

Перед ними появились два стакана с яблочным соком и на блюде две конфеты «Мишка на севере».

— Ровно рубль,— сказала официантка. И пропела: — «В жизни раз бывает...» — Оборвала себя, спросила: — По сколько вам? — Не получив ответа, сказала: — На мой глаз, не очень-то вы пара.

— Пожалуйста, спасибо.— Костя протянул официантке рубль.

Официантка взяла деньги, сунула в карман, ушла, напевая: «В жизни раз бывает восемнадцать лет...» Потом у буфетной стойки она сказала:

— Мой ясный сокол появился вчера в третьем часу. На бровях. Скажи мне: был таким же, как вон тот ангелочек со скрипочкой,— не поверю. А ведь был...

— Ненавижу взрослых! — прошептала Лена.

— Ты не обращай внимания,— сказал Костя, усмехнулся печально.— Как говорит Владимир Георгиевич, надо управлять своими эмоциями. У меня, по правде сказать, тоже не получается...

— Кто такой Владимир Георгиевич? — перебила Лена.

— Мой учитель каратэ.

— А! Я его знаю. Классный дядечка. Ты, Пчелка, необыкновенный человек. Каратэ занимаешься, по-английски шпаришь, как по-нашему, на скрипке...

— Это ты необыкновенная! — перебил Костя.

— Не надо, Пчелка... Я обыкновенная. Самая обыкновенная. Зачем я тебе?

— Даже не знаю, как сказать. До тебя я жил как во сне. Нет, не так. Жил и жил. Конечно, были всякие там задачи, цели — на ближайшее время. А сейчас... Я знаю, для чего живу.

— Для чего?

— Для тебя! Чтобы тебе было всегда хорошо!

— Ах, Пчелка! — Лена уткнулась в свой стакан с яблочным соком.— Чего ты мелешь? Муру какую-то...

— Голубки! — послышался голос официантки. — Еще не наворковались? Через десять минут закрываем!

— Лена! — заспешил Костя. — Послезавтра у меня день рождения. Придешь?

— Ты меня приглашаешь? — обрадованно спросила Лена.

— Конечно!

— А этот тоже придет? Твой друг? Кирилл...

— Конечно... Подожди, — вспомнил Костя, — ты ему сказала: «Предатель». Почему?

Лена молчала, смотрела перед собой. Потом прошептала:

— Он предатель. Он тебя предал.

— Меня? — изумился Костя. — Как? Как... предал?

— Обычно. — Ожесточение было в ее голосе. — У нас таким темную делают.

— Так расскажи! В чем дело?

— Потом... Пчелка, я тебе потом расскажу. Завтра. Такой вечер сегодня... обворожительный.

Костя хотел что-то сказать, но Лена опередила его:

— Сколько же тебе исполняется?

— Шестнадцать...

— Мои самые любимые праздники, — радостно, возбужденно сказала Лена, — Новый год и дни рождения друзей. Мы в нашей компании, как у кого день рождения, обязательно отмечали. У Эфирного Создания собирались.

— Понятно... — И опять свет померк перед Костей, стало темно, невыносимо, горько.

Но Лена не заметила смены его настроения.

— Ты знаешь, как мы день рождения называем? — спросила она.

— Как? — подавив вздох, спросил Костя.

— День варенья! — засмеялась Лена.

Глава десятая

«ДЕНЬ ВАРЕНЬЯ»

В квартире Пчелкиных, в большой комнате с телевизором — который на этот раз, слава богу, выключили, — был накрыт длинный стол: тарелки с закусками, ваза с яблоками, две бутылки шампанского, симметрично расставленные бутылки пепси-колы, минеральной воды и лимонада, в фарфоровой вазе розы, а в центре стола — огромный бисквитный торт с шестнадцатью свечами, еще, естественно, не зажженными.

Возле стола хлопотала Лариса Петровна, с модной прической, сделанной утром в парикмахерской на Новом Арбате, в нарядном платье собственного фасона.

— Костя! — крикнула Лариса Петровна. — Мы забыли студень! Он в холодильнике. Неси!

Появился из кухни Костя. Он нес в продолговатом блюде студень, украшенный петрушкой и веточками укропа.

— Костик! Вот сюда! — сказала Лариса Петровна. Они нашли место для блюда со студнем. — Значит, давай еще раз прикинем, все ли у нас рассядутся.

— Я пригласил шестерых, — сказал Костя, взглянув на старинные часы в деревянном футляре. Стрелки показывали без двух минут шесть. — Жгут... то есть Славу, с матерью, с Эфирным Созданием...

— И очень правильно! — перебил сына Виталий Захарович, входя в комнату. — Начал человек новую жизнь — всячески поддержим...

Виталий Захарович не успел договорить: стенные часы пробили шесть раз, и тут же в передней музыкально пропел звонок.

Костя поспешил открывать дверь.

В передней появился Эдик.

— Поздравляю, сэр! — Он передал Косте сверток, упакованный в плотную гляцевую бумагу с контурным изображением старинных замков. — Роман Агаты Кристи.

— Спасибо! — обрадованно сказал Костя. — Пройди, ты первый!

Они вошли в комнату.

— Здравствуйте, — сказал Эдик. — Поздравляю с новорожденным.

Лариса Петровна улыбнулась:

— Ты, Эдуард, как всегда, пунктуален. Вы не сговаривались с Кириллом прийти вместе?

— Кирилл не придет, — быстро вставил Костя. И, встретив вопросительный взгляд матери, добавил: — Он не приглашен. Эдик, пошли ко мне!

Костя обнял друга за плечи, и они покинули праздничную комнату.

Лариса Петровна и Виталий Захарович переглянулись.

— Триумвират распадается, — задумчиво сказал Виталий Захарович.

— Я не знаю, в чем тут дело, — взвинченно перебила Лариса Петровна. — Не знаю конкретно... Но уверена: все из-за этой девчонки! Сегодня у нас с тобой есть возможность познакомиться с ней поближе. И, возможно, поговорить.

— О чем? — спросил Виталий Захарович.

— О чем... Во всяком случае, рано все это для Константина. Впереди десятый класс. И вообще... Вот, похоже, рушится дружба с прекрасными ребятами. И, значит, мы отдаем его в другую компанию.

— Он, Лара, — мягко сказал Виталий Захарович, — в том возрасте, когда вправе сам выбирать себе друзей.

— Подожди! Если всерьез говорить об этой Лене... Я навела справки. Дочь заведующей меховым ателье. К тому же Лена из компании Мухина. Я считаю, надо энергично вмешаться.

— Каким образом? — спросил Виталий Захарович. — Не горячись, Лара. Ты никак не можешь понять, что наш сын уже не ребенок, а взрослый.

— Это ты мне говоришь! — возмутилась Лариса Петровна. — Да, взрослый! Слишком рано они становятся взрослыми! И это не значит...

В передней зазвенел звонок. Виталий Захарович пошел к двери.

...В комнате Кости Эдик флегматично рассматривал книги на полке.

— Как беллетрист, — говорил он, — Мюль, по-моему, скучноват. Вот мемуары — блеск! «Подводя итоги» читал трижды. Потрясающая самоирония...

— Значит, — перебил Костя, — ты осуждаешь? Надо было пригласить?

— Не знаю, — сказал Эдик. — Мне трудно тебе ответить. Я позвонил Кириллу. Там обида на всю жизнь. Говорит, из-за какой-то юбки...

— Это для него, — перебил Костя, — она какая-то юбка. А для меня...

— Он сказал: мужская дружба — превыше всего.

— Дружба! — воскликнул Костя. — Хорош друг! Скажи: ты тоже мог бы... как он?

— Я — нет, — поспешно сказал Эдик. — Никогда!

— Возможно, я не прав, — Костя пристально посмотрел на Эдика, — я во всех начинаю сомневаться. Вот мы с тобой — друзья. Так?

— Думаю, да, — сказал Эдик. — За многие годы проверено.

— Проверено...— повторил Костя.— Чем проверено? За эти годы наша дружба хоть раз подвергалась серьезному испытанию? Да и дружба ли это? Вот скажи: что мы друг о друге знаем? Кроме нашей школы, английских книг и журналов, всякого там показушного трепана на публику, что нас еще объединяет? Я, например, что у тебя на душе, не знаю. Или так: можешь ты мне все-все о себе рассказать? Сокровенное? Можешь?

— Дай подумать...— В голосе Эдика была растерянность.

— Не можешь!— даже с торжеством сказал Костя.— Теперь по-другому. Представь ситуацию: мне грозит смерть. И у тебя есть единственная возможность спасти меня, рискуя собственной жизнью. Ты станешь рисковать?

— Слушай!— развел руками Эдик.— Это же крайность, экстремальный вариант. Зачем?

— А вот, например, Жгут... Мы знакомы— и месяца нет. Говорили всерьез один раз. Со Жгутом не разговоришься. Но он, если бы такая ситуация... Я знаю, он за друга жизни не пожалеет!

— Красиво излагаешь,— попытался пошутить Эдик.

— Костя!— послышался голос Виталия Захаровича.— Встречай гостей!

— Извини.— Костя пошел к двери.

В комнате разговаривали родители и учитель школы каратэ. В стороне стоял Очкарик с картонной коробкой.

— Владимир Георгиевич!— обрадованно сказал Костя.— Здравствуйте! Как я рад, что вы пришли! Вы познакомились?

— Познакомились,— ответила Лариса Петровна, улыбувшись.

— Подарок мой состоит из двух частей,— сказал Владимир Георгиевич. Он прошел в переднюю и вернулся с деревянным веслом, на нем была эмблема «Олимпиада—80».— Я тебе говорил: в тренировки включены походы на байдарках. С десятого числа начнем готовиться. Получай!

— Спасибо!— сказал Костя, принимая весло.

— Теперь второе.— Владимир Георгиевич извлек из кармана маленькую коробочку, раскрыл ее.— Штука эта восточного происхождения.

На подставке из черного гранита сидела фарфоровая фигурка старого японца—олицетворение сосредоточенности, углубленности, одиночества.

— «Проникини в самого себя»—так это называется,—сказал Владимир Георгиевич, протягивая фигурку Косте.

— Какая прелесть!—воскликнула Лариса Петровна.

— А это от нас с Дулей.— Очкарик протянул Косте картонную коробку.— Вернее, делал он. Я только помогал.

Костя снял с коробки крышку и достал макет одномачтовой яхты, изящной, легкой, той самой, которая была на схеме в книге Владислава Константиновича.

— Здорово!—сказал Костя.— Неужели Дуля сам сделал?

— Сам.— Очкарик осторожно погладил корпус яхты пальцем.— Дед говорит, у него руки настоящего мастера.

— А где же сам Дуля?—спросил Костя.

— Он...— Очкарик явно смутился.— Он сейчас придет. Немного задерживается.

В передней прозвенел звонок. Костя поспешно побежал открывать дверь.

За ним в комнату вошел Жгут со стопкой книг, аккуратно связанной алой атласной лентой.

— Вот,—сказал Жгут.— От нас с мамой.

На корешках можно было прочитать: «Три мушкетера», «Воскресение», «Королева Марго».

— А где сама Ольга Пахомовна?—спросил Виталий Захарович, и в голосе его прозвучала тревога.

— У нее в клинике...— Жгут замаялся.— Как это? Активный курс лечения. Положили на две недели. Домой не пускают.

— Вот и прекрасно!—бодро воскликнул Виталий Захарович и, наверно, чтобы сгладить возникшую неловкость, повернулся к жене:— Лара, давай-ка проверим, все у нас на столе в порядке?

А Костя отвел Жгута в сторону, спросил шепотом:

— Значит, с матерью все устроилось?

— Все в норме!—В голосе Жгута прозвучала радость.— Друг твоего отца... Ну, этот психиатр... Он замечательный человек! И клиника замечательная. Прямо не знаю, как Виталия Захаровича благодарить...

— Да брось ты!—перебил Костя.

— Теперь, может, заживем по-настоящему.— Никогда Костя не видел Жгута таким возбужденным и веселым.— Мне бы ее женить. Только где хорошего мужика возьмешь? А этого Жоржика, козла клетчатого, я погнал.— И Жгут засмеялся.

В комнате часы проббили половину седьмого. Костя быстро взглянул на них. Лариса Петровна перехватывала его взгляд.

— Кого еще нет, Костик?—осторожно спросила она.

— Дули и... Лены,—сказал он.

— Может быть, будем садиться?—предложил Виталий Захарович.— А они тем временем подойдут.

— Правильно!—преувеличенно оживленно сказала Лариса Петровна.— Прошу всех к столу! Прошу! Костик, зови Эдика.

...Все сидели за столом. Пустовало два стула: рядом с Костей—для Лены и между Владимиром Георгиевичем и Очкариком—для Дули. Затягивалось неловкое молчание. Костя, побледневший, напряженный, ждал...

Лариса Петровна глядела на сына.

«Да, да!...—смятенно думала она.—Теперь вижу, понимаю: все серьезно у моего мальчика. Но почему такой выбор? Где справедливость? Неужели для этой девчонки мы вырастили сына? Бред, ерунда какая-то... Но что, что делать?..»

Тяжкую тишину нарушил Эдик.

— Очевидно,—бесстрастно сказал он,—у одной нашей общей знакомой таков стиль: опаздывать. Но ведь представительницам слабого пола все...

Эдик не договорил—в передней опять звонили.

Костя метнулся открывать дверь.

В переднюю вошел Дуля. Был он совершенно новый, начиная с костюма: расклешенные «по-морскому» черные брюки, тельняшка под легкой спортивной курткой, коротко, под «бокс», подстриженные волосы—Дуля превратился в моряка. Сказать он ничего не успел.

— Где Лена?—набросился на него Костя.

— Понимаешь...—Дуля покосился на открытую дверь в большую комнату.—Ее Муха не пускает. Уже, наверно, с полчаса.

— Где они?—задохнувшись, спросил Костя.

— Внизу, в подъезде.

— Проходи, садись за стол. Я сейчас...

Костя выскочил на лестничную площадку, взглянул на кнопку лифта—она горела красным огнем, лифт был занят.

Он стал быстро спускаться по лестнице, перепрыгивая через несколько ступенек.

На предпоследнем лестничном марше Костя за-

медлил бег, стал ступать осторожно: до него доносились голоса.

— Ты глупый, глупый! — говорила Лена. — Ты ничего не понимаешь! Пчелка замечательный! Я не могу...

— Тогда, — перебил Муха, — только со мной! По-нятно?

— Он же тебя не приглашал! — Отчаяние было в голосе Лены.

— Подумаешь! — сказал Муха. — Не приглашал... Ты меня пригласила! Я — твой сопровождающий.

— Нет, я пойду одна!

— Не пойдешь!

— Какой ты! Отстань! Отстань!..

Голоса смолкли. Костя осторожно спустился по лестнице, завернул за угол.

Возле окна на лестничной площадке стояли Лена и Муха. На подоконнике лежала гитара, и рядом был небрежно брошен букет гвоздик. Муха целовал Лену. Ее руки вспорхнули ему на плечи, кольцом обвили вокруг шеи.

Костя почувствовал, как бетонный пол качнулся у него под ногами, поплыли стены. Но не смотреть он не мог...

Первый его взгляд почувствовала Лена: она вырвалась из объятий Мухи, резко повернулась, увидела Костю, в смятении сделала шаг назад.

Теперь Лена и Муха смотрели на Костю.

Он медленно спустился по последнему маршу лестницы к лифту. Нажал кнопку. Сказал спокойно:

— Я вас приглашаю. Обоих.

Лена отчаянно замахала головой, молча говоря «нет». Муха неопределенно усмехнулся.

Заскрежетал лифт. Дверцы его разошлись.

— Прощу! — сказал Костя.

...В большой комнате все сидели за столом и молча ждали.

В передней хлопнула дверь, прозвучал бодрый голос Кости:

— Проходите, не стесняйтесь!

— Стесняться не в наших правилах! — ответил Муха.

И все трое появились в комнате: первым Костя — он отступил в сторону, пропуская Муху с гитарой, напряженно-спокойного, за ним растерянную, даже испуганную Лену с гвоздиками в руках.

— Разрешите представить новых гостей, — взвинченно-бодро сказал Костя, — Лена Макарова, лучшая девушка нашего двора, а может быть, и Москвы...

— Здравствуйте, — тихо сказала Лена и протянула Косте гвоздики. — На.

— Благодарю! Теперь Дмитрий Мухин! — продолжал именинник. — Он же небезызвестный Муха...

— Всему обществу, — перебил Муха, — пламенный беспартийный привет! — И он отвесил общий поклон. — Однако, — Муха вроде бы разочарованно оглядел стол, — тут, я вижу, кайф ловить особенно не на чем.

— Ничего! — даже радостно сказал Костя. — Мы будем пьяны от общества друг друга!

— Кости! — Лариса Петровна, с трудом сдерживая себя, поднялась. — Что это значит?..

— Это значит, — перебил Костя, — пора приступить к трапезе.

Муха тем временем поставил гитару в угол, независимо прошелся вдоль стола, повернулся к кухне, хищно подергал носом.

— Жареный гусь! Или утка? Я не ошибся? Обожаю дичь!

— Муха, — сказал Жгут, — кончай базарить.

— Это он от смущения, — улыбнулся Владимир Георгиевич.

— Совершенно верно! — тут же откликнулся Му-

ха. — Дико смущен. Простите, не знаю, как вас... Хотя наслышан.

— Леночка! — сказал Костя. — Прощу! Вот твое место.

Только сейчас он увидел, что у Лены голубоватые тени положены над глазами, тушью подкрашены ресницы.

Лена села, потупив голову.

— Один момент, — сказал Муха. — Очкарик! Ведь тебе все равно, на каком месте поглощать яства?

— Все равно... — растерянно сказал Очкарик.

— Вот и порядок! — засмеялся Муха. — А мне не все равно.

Он бесцеремонно передвинул Очкарика на свободное место, а сам сел рядом с Леной. Она оказалась между Костей и Мухой.

— Теперь все в сборе? — спросил Виталий Захарович.

— Более чем, — не сдержался Эдик.

— Что же, — сказал Виталий Захарович, вставая, — сейчас мы поднимем тост за шестнадцать лет нашего сына. — Он взглянул на торт. — Шестнадцать свечей. И каждая свечка — год жизни. Кажется, совсем недавно — вчера — я, Костя, привез из родильного дома твою маму и тебя. Никогда не забуду это чувство... Нянечка передала мне туго спеленатую куклу. Я взял ее и вдруг почувствовал, как там, под одеяльцем, шевельнулось нечто... Жизнь. Чудо... Новая жизнь. Это был ты... Помню, я подумал: каким же беспомощным приходит человек в наш, еще так плохо организованный мир. Сколько надо усилий, любви, понимания, чтобы из маленького комочка несмысленной жизни вырос настоящий человек. Я убежден, Костя, что порог своего шестнадцатилетия ты переступаешь именно таким человеком...

— Точно, в нем что-то просматривается, — перебил Муха. — Верно, Леночка?

— Вы, молодой человек, плохо воспитаны? — вежливо спросил Виталий Захарович.

— Отвратительно! — со вздохом сказал Муха. — Сам от этого страдаю.

— Бедняга! — сказал Костя.

— Пацаны! Хватит! — вдруг рявкнул Дуля.

— Хамство всегда агрессивно, — ни к кому не обращаясь, сказал Владимир Георгиевич.

Стало тихо.

— Ничего, — сказал Виталий Захарович. — Наш юный друг немного нервничает. Постепенно обвыкнет. Реакция, судя по всему, у него быстрая. Вернемся к имениннику. У нас с мамой, сын, для тебя подарок. Сейчас! — Виталий Захарович вышел из-за стола, быстро прошагал в свою комнату и вернулся с новеньким транзисторным приемником. — Прощу!

— Спасибо, папа...

— Вот это да! — вздохнул Дуля.

Все за столом зашумели.

Муха откинулся к спинке стула и, нагнувшись за Леной к Косте, сказал тихо:

— Ты извини, все тут с подарками. Один я пустой. Ничего. — Он подмигнул имениннику. — Что-нибудь придумаю. Мне только надо пожрать. Плохо соображаю на пустой желудок.

— Костя, вот спички! — Лариса Петровна протянула сыну спичечный коробок. — Зажигай свечи. А папа займется шампанским.

Костя в наступившей тишине стал зажигать свечи, воткнутые в торт, на котором коричневым кремом было написано: «С днем рождения! 16 лет».

Одна за другой зажглись шестнадцать свечей. Хлопнула пробка, вылетая из бутылки шампанского.



За столом поднялся праздничный шум. Все потянулись с бокалами к Виталию Захаровичу.

— С днем рождения, Костя,— сказал Виталий Захарович.— Будь счастлив, мой хороший!..

Лариса Петровна произнесла дрогнувшим от волнения голосом:

— Мы с папой очень тебя любим и желаем, желаем...— Она резко отвернулась, сдерживая слезы. Со всех сторон послышались голоса:

— С днем рождения!

— Сэр! Будьте счастливы!

— Живи сто лет!

— С днем варенья! — тихо сказал и Муха, украдкой взглянув на Владимира Георгиевича и потянувшись к Косте со своим бокалом мимо Лены.

Между ними было ее бледное лицо. Лена опустила ресницы, накрашенные темно-синей тушью, они вздрагивали. И вдруг порывисто повернулась к Косте:

— С днем рождения, Пчелка! Ты лучше всех! — И Лена быстро поцеловала Костю в щеку.

— Браво! — снисходительно сказал Муха.

Участниками этой короткой сцены были только они трое: остальные чокались, смеялись.

— Теперь закусывайте,— говорила Лариса Петровна,— чтобы все съест. Ребята, без стеснений. Вот витаминный салат, заливная рыбка...

Все стали есть, подкладывая друг другу, переговариваясь. Потом и голоса смолкли. Слышался стук ножей и вилок да чавканье Дули, который, как всегда, отнесся к еде весьма серьезно.

Взглянув на него, Муха нарушил молчание:

— Уста жуют.

...Уже был съеден гусь с яблоками. Хаос господствовал на столе.

— Будет еще чай,— сказала Лариса Петровна, взглянув на сына,— с тортом и всякими сладостями. Но, может быть, сначала немного потанцевать? Подвигаться? Только женского пола у нас маловато.— Она взглянула на Лену.— Особенно для мальчиков.

— Достаточно,— усмехнулся Муха.— Для современной жизни... Простите! Я хотел сказать: для современных танцев нам ее вполне достаточно. Верно, Пчелка? В современной жизни... Все сбивается. В современных танцах совсем не обязательно: один партнер только с одной партнершей...

Виталий Захарович хотел ответить Мухе, но учитель школы каратэ остановил его:

— Подождите,— сказал он тихо.— Постепенно все станет на место. Лучше, если сами ребята...

— Танцы! Танцы! — преувеличенно весело перебила Владимира Георгиевича Лариса Петровна.

Отодвинули к стене стол, растащили стулья, Костя, проверив кассету, нажал клавишу магнитофона.

— Знаменитый ансамбль «Чингизхан»! — крикнул он.

Комнату заполнила напряженная, зажигающая музыка, темп которой стремительно нарастал.

Лена стояла у окна, ее тело — непроизвольно — уже повторяло еле заметными движениями ритм мелодии, а на лице был страх.

К ней одновременно подошли Костя и Муха. И оба смешались.

Первым нашелся Муха:

— Просим, мадмуазель! — И он взял ее за руку.

Лена сначала хотела вырвать руку, потом передумала, протянула вторую руку Косте, сказала:

— Пошли, мальчики!

И они трое ринулись танцевать. Им хлопали в такт. Ритм стал захватывать их. Все больше, больше...

Дуля, забывшись, крикнул:

— Муха! Давай!

И танец вроде бы незаметно превратился в еди-

ноборство Кости и Мухи за Лену. Девочка перелетала от одного к другому. И все трое постепенно поняли смысл своего танца. И уже не могли остановиться.

Поняли это и все присутствующие в комнате. Лариса Петровна быстро подошла к магнитофону, выключила его, сказала шутливо:

— Хватит! Хватит! После плотной еды... Так и до заворота кишок недалеко. Может, что-нибудь другое?

Ей на помощь пришел Владимир Георгиевич:

— Константин,— сказал он,— а почему бы тебе не показать нам свое мастерство?

— Не понял, Владимир Георгиевич,— ответил Костя, еще не отдышавшись.— Вы хотите, чтобы я продемонстрировал несколько приемов?

— Где твоя скрипка? — спросил Владимир Георгиевич.— Почему бы...

— Простите,— перебил Костя,— для скрипки я не в форме. Скрипка... — он взглянул на гитару Мухи в углу,— не гитара. И вообще сегодня меня должны развлекать, а не наоборот. В конце концов я именинник. Муха! Ты, правда, по непроверенным агентурным данным,— виртуоз на гитаре. Может быть, для общества...

— Прежде всего для тебя,— серьезно сказал Муха. Он вытер платком вспотевшее лицо, взял стул, поставил его на середину комнаты, сел, обвел всех взглядом, сказал: — Жгут! Гитару!

Жгут было рванулся к гитаре, но тут же остановился.

— У самого ноги есть.

Муха взглянул на Жгута, усмехнулся.

— Верно, есть. Я и забыл. Ты теперь не мой.— Он взглянул на Костю.— Его.

Муха медленно поднялся, взял гитару, опять сел на стул, тронул струны.

— Мой кумир — Высоцкий. Посвящается, подчеркиваю, имениннику!

И он запел, блестяще подражая своему кумиру, с характерной хрипотцой и надрывом:

**В тот вечер я не пил, не пел,
Я на нее всю жизнь глядел,
Как смотрят дети,
Как смотрят дети...
Но тот, кто раньше с нею был,
Сказал мне, чтоб я уходил,
Сказал мне, чтоб я уходил,
Что мне не светит...**

Пронзительная, обнаженная жуть была в этой песне и в ее исполнении. Костя увидел, с каким восторгом смотрит Лена на Муху, и ослепляющая темная ревность опять переполнила его до краев.

**...А тот, кто раньше с нею был,
Он мне грубил, он мне грозил...**

пел Муха под надрывный аккомпанемент гитары.

А я все помню, я был не пьяный.

Когда ж я уходить решил,

Она сказала: «Не спеши».

Она сказала: «Не спеши, ведь слишком рано...»

Муха, резко оборвав пение, накрыл струны рукой.

— Виноват. Наверно, не то. Пьянь, поножовщина из-за бабы... Пардон, из-за женщины. Что? — Ухмылка блуждала по его лицу.— Общество шокировано?

И тут вскочила со стула Лена, закричала:

— Не верьте!.. Не верьте ему! Все он врёт! Он... Он не такой! Он даже стихи пишет! Муха — поэт!

— Вот это новость! — с восторгом воскликнул Костя.— Может быть, стихотворец нам что-нибудь из последних творений...

— Извольте! — перебил Муха, поднимаясь со стула и ставя гитару к стене. — Как раз сегодня ночью накатил на меня потный вал вдохновения. Встал... — он взглянул на торт, — зажег свечи... — он посмотрел на остов гуся в блюде, —...извлек из хвоста пролетавшего за окном гуся перо. И накайлил стишок. Сейчас изображу..

Муха переменялся: стал напряженным, строгим, исчезла его развязность. Он, явно волнуясь, вышел на середину комнаты.

— Опять же, — сказал он, чуть усмехнувшись, — посвящается имениннику.

Муха стал декламировать. С первой же строфы страсть зазвучала в его голосе:

**Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои —
Пускай в душевной глубине
Встают и заходят оне
Безмолвно, как звезды в ночи, —
Любуйся ими — и молчи.**

**Как сердцу высказать себя!
Другому как понять тебя!
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь...**

Муха, так же как песню, оборвал декламацию. — Дальше не написал: родитель поздно вернулся, хлопнул дверью и спугнул Музу. Затрепетала, сердешная, крылышками — парх-парх! — и вылетела в форточку. А у меня в голове как раз кончовочка забрезжила. Пока есть только две строки:

**Лишь жить в самом себе умей —
Есть целый мир в душе твоей...**

Поэзия, доложу вам, дело тяжкое. Однако схема финала у меня в мозгах начерталась. Надеюсь закончить оптимистически, в таком смысле: чего это ты все молчишь да таишься, какой-то мир в собственной душе обнаружил. Во-первых, имей в виду, никакой души нет, наукой доказано. Во-вторых, что это за индивидуализм в наше бодрое время? Жми в родной коллектив, раскайся на собрании, и все будет на уровне мировых стандартов. Думаю толкнуть в какой-нибудь популярный журнал для юношества. Как вы полагаете, — он обвел всех, кто был в комнате, насмешливым лихорадочным взглядом, — возьмут?

— Я думаю, возьмут, — принимая условия игры, серьезно сказал Костя. — Только, по-моему, довольно примитивные рифмы.

— Достаточно, молодые люди, — перебил Владимир Георгиевич. — Тютчев для подобных упражнений объект мало подходящий. — Он повернулся к Мухе. — А читаешь ты превосходно.

— Благодарю! — Муха сотворил рыцарский поклон.

— И ты, конечно, разделяешь философию этого стихотворения? — спросил учитель школы каратэ. — «Silentium» — так, кажется, оно называется? «Молчание»...

— Лучше не продолжайте! — вдруг закричал Муха. — Ведь будет назидание? Мораль? Не надо! Я сыт этим по горло... Все мы сыты! — Он обвел взглядом лица ребят, избегая взрослых. — Мы дохнем от ваших поучений! И проку от них — ноль! Потому что... — Он задохнулся от возбуждения. — Потому что в них нет и капли правды! Вы говорите нам одно, а думаете другое! Учите благородству, честности и прочее, а сами поступаете навыворот!

— Все? — спокойно спросил Владимир Георгиевич.

— Все! Все, как один! Только когда вырвешься из ваших лап, можно стать человеком! Вот, полубуй-

тесь: Жгут! Дуля! Да и Ленка... Были нормальными людьми. А теперь? Тьфу! Смотреть противно! Дуля, ты бы уж совсем наголо дал себя обкорнать, что ли... Чего на полпути остановился? А ножом и вилкой тебя пользоваться научили? Научись! Без этого в интеллигентном обществе...

— Муха! — перебил Дуля. — Ты что, взбесился?

— Нет, почему же взбесился? — сказал Костя. — Он так думает.

— А ты, конечно, думаешь иначе? — зло спросил Муха.

— Все мы думаем иначе! — вдруг выкрикнул Очкарик.

— Смотрите! — театрально изумился Муха. — Наш тихоня заговорил. И как! Нет, я ничего не понимаю, конец света.

— Муха, — сказал Жгут, — я там... Когда мы собирались, был нормальным человеком?

Стало очень тихо, и Муха не нашелся сразу с ответом.

— Разумеется, — нарушил молчание Костя, — ему только такое окружение и нужно: он повелевает, остальные подчиняются...

— Сдаюсь, сдаюсь! — Муха шутовски зажал уши. — Как говорится, один в поле не воин. — Его взгляд опять метнулся по лицам Жгута, Дули, Очкарика, Лены. — Быстро вас перетряхнули. Ладно... Понимаю: надо рвать когти. — Он опять взглянул на Лену. — Да! Как же это так? Удаляться без подарка негоже. Вот что! — Муха подбежал к Лене, схватив ее за руку, сорвал со стула и резко толкнул к Косте. — Забирай! Не жалко! Я человек щедрый, дарю! — Костя вскочил, и теперь он и Лена стояли друг против друга. — Ну, чего же ты? Забирай, говорю. Ведь ты... Как это? Все забываю слово... Любишь ее! — И внезапно голос Мухи сорвался.

Глаза Лены наполнились слезами. Вдруг она резко повернулась, подлетела к Мухе, со всего размаху ударила его по щеке и рванулась в коридор, ведущий на кухню и в ванную.

Муха потер щеку, сказал спокойно:

— На вид соплей перешибешь, а рука тяжелая. Я покидаю общество. Иду зализывать раны. — Он пошел из комнаты, в дверях обернулся: — Главным образом душевные. Если что не так... Примите мои соболезнования. Как говорят в Одессе, извините за компанию.

Муха вышел. Через мгновение в передней хлопнула дверь.

Было напряженно тихо. Откуда-то, казалось, издалека, глухо слышались рыдания Лены.

— Да, ничего не скажешь, — нарушил молчание Эдик, — день варенья так день варенья...

Глава одиннадцатая

НОЧЬЮ УПАДЕТ ЗВЕЗДА

Лена плакала в ванной.

В дверь осторожно постучали.

— Оставьте меня, — сквозь слезы сказала Лена. — Прошу, оставьте!

— Леночка! — вкрадчиво прозвучал голос Ларисы Петровны. — Открой, детка. Может быть, тебе дать каких-нибудь успокоительных капелек?

— Ничего мне не надо, — раздраженно ответила Лена. Поколебалась и открыла дверь.

В ванную вошла Лариса Петровна. Она старалась быть спокойной, но это ей плохо удавалось: розо-

вые пятна выступили на щеках, голос противно дрожал, и совсем близко подступили нервные слезы. Лариса Петровна села на край ванны. Помолчала. Осторожно погладила плечо всхлипывающей Лены. Та сквозь слезы сказала:

— Извините. Это все из-за меня...

— Что за глупости! Почему из-за тебя? — горячо запротестовала Лариса Петровна. — Если бы не этот хулиган...

— Хулиган, — с горечью повторила Лена. — Да, да! Из-за меня. Я запуталась. — Она смущенно опустила голову. — Я запуталась в любви. Все мы запутались.

— Господи! — всплеснула руками Лариса Петровна. — Что ты говоришь? Они запутались в любви! Да вы еще дети! О какой любви можно толковать? Надо думать о школе...

— Понятно, — насмешливо перебила Лена. — Надо думать о школе, об институте. Это для вашего сына. А мне — о профессии, о невыученных уроках. Да? — Девочка с иронией посмотрела на Ларису Петровну. Та прудомолчала. — Вы прямо как наши преподаватели. Для них слово «любовь» ругательное. Вообще ведь нет никакой любви. Так?

— Почему же нет? — растерянно сказала Лариса Петровна. — Но в вашем возрасте...

— В нашем! В нашем! — со страстью перебила Лена. — В каком же возрасте еще любить? В вашем, что ли?

Лариса Петровна сердито рассмеялась, поправила перед зеркалом прическу, спросила:

— Ты что, Леночка, в старухи меня записала?

— Не в старухи, конечно, — пожала плечами Лена. — Но... Ведь вы не думаете о любви каждый день? А мы... — Она, не замечая этого, схватила руку Ларисы Петровны. — Мы только о любви и говорим. А какие сны снятся! Рассказать?

— Нет! — Лариса Петровна даже шарахнулась в сторону. — Уволь!

— А песни? А стихи? Или кино? Сколько всего про любовь! — с жаром продолжала Лена. — Только... Все равно ничего не понятно. Что это такое — любовь? И за что любить? Вот Пчелка, ваш сын. Он замечательный! Необыкновенный!

— Спасибо, — сказала польщенная Лариса Петровна.

— Только я... — Лена резко отвернулась, прижала руки к лицу.

— Постой, постой! — Лариса Петровна была поражена своим открытием. — Ты хочешь сказать...

В дверь постучали.

— Затворницы! — послышался голос Виталия Захаровича. — Ваше уединение затянулось. Просим к столу. Самовар остывает.

Лена подошла к зеркалу.

— Ой! Ну и вывеска! Вся краска потекла. Лариса Петровна, можно я у вас немного возьму? — Девочка бесцеремонно стала копаться на туалетной полочке. — Потрясно! Французская пудра, да?

— Итальянская, — поправила Лариса Петровна и вышла из ванной.

...Был уже вечер. Гости разошлись. Лариса Петровна убирала со стола. Ей помогала Лена. Костя вошел с магнитофоном. В кресле сидел Виталий Захарович. Складывая в стопку чайные блюдца, Лариса Петровна сказала:

— Все-таки давайте поговорим.

Лена замерла над столом. Виталий Захарович, резко повернувшись, посмотрел на жену, и взгляд его говорил: «Молчи!» Костя включил магнитофон. Картаво запела женщина, это был меланхолический, расслабляющий блюз.

— Понятно, — не сумев преодолеть раздражения, сказала Лариса Петровна, — со мной не желают разговаривать.

— Потолкуем, Лара, в другой раз, — сказал Виталий Захарович.

— А о чем вы собираетесь говорить? — Лена резко повернулась к Ларисе Петровне. — О нас с Пчелкой?

И Лариса Петровна смешалась.

— Ну, вообще, — сказала она. — О жизни.

— О жизни неинтересно, — безапелляционно ответила Лена. — Все равно в ней никто ничего не понимает. А о нас... Что вы о нас знаете?

— Конечно, где уж нам знать! — не выдержала Лариса Петровна.

— Лара! — уже резко оборвал Виталий Захарович. — Совсем не подходящее время...

— Мне пора, — перебила Лена. — Простите, не переносу, когда учат: как жить, что делать. Пчелка, ты меня проводишь?

— Ты хочешь, чтобы я тебя проводил? — Глаза Кости просяли.

— Хочу! — повелительно, с торжеством сказала девочка и взглянула на Ларису Петровну.

Та отвела взгляд.

Лена сняла фартук, вытерла об него руки, сказала:

— Пошли, Пчелка. — Бросила фартук на спинку стула. — Спасибо за все. Было очень интересно. До свидания!

— Всего доброго, — ответил Виталий Захарович.

Лариса Петровна прудомолчала.

Костя и Лена ушли.

Лариса Петровна села в кресло рядом с мужем и заплакала.

— Бедный мальчик! — сквозь слезы прошептала она. — Эта девчонка... Мерзкая, отвратительная! Ведь она не любит нашего Костика!

— Это видно невооруженным глазом, — грустно сказал Виталий Захарович.

Костя и Лена медленно шли по двору, к старой липе.

— Смотри, — сказала девочка, — еще светло, а на небе звезда, одна-единственная.

Они стояли рядом и смотрели на небо. Там, в бледно-синей необъятности мерцала фиолетовая звезда, мерцала таинственно, призывно, томительно.

— Иногда звезды падают, — сказала Лена.

— Падают не звезды, — улыбнулся Костя, — метеориты.

— Звезды! — упрямо сказала девочка. — Я, правда, смутно помню. Мне, совсем маленькой, моя бабушка в деревне рассказывала. Ведь мы, Пчелка, деревенские. Я и родилась там, мама говорит, в избе. Наверно, с русской печкой, какие в кино показывают. Обалдеть можно! Так вот. Бабушка рассказывала, что у каждого человека на небе есть своя звезда. И когда звезда падает — значит, все...

— Что все? — недоуменно спросил Костя.

— Тот человек, которому эта звезда принадлежала, умирает. Ой! — Лена даже руку прижала ко рту. — А вдруг эта звезда моя? И сегодня ночью она упадет... А, Пчелка?

— Нет, Лена, она не упадет.

— Пусть! Пусть бы она упала! — с внезапным отчаянием сказала Лена.

— Почему? — изумился Костя.

— Потому! Надоело так жить! И вообще... Зачем я живу? Зачем? Кто мне объяснит? Вот ты знаешь, зачем ты живешь?

— Знаю, — тихо сказал Костя.

— Зачем? — Лена пристально смотрела на него.
 — Ты знаешь. Я тебе говорил. Я живу прежде всего для того, чтобы тебе было хорошо.
 — Ты все можешь для меня сделать?
 — Все, что в моих силах.
 — Пчелка, милый! Мой хороший Пчелка! Мне ничего не надо! Я не хочу так жить.
 — Как?
 — Как живу. Надоело! Все надоело... Ты можешь мне сказать: что я за человек? Кто я такая?
 — Я знаю одно... — Голос Кости прервался. — Для меня ты лучше всех.
 — Для тебя... А для других? Нет! Нет!.. — В голосе Лены послышались истерические нотки. — Ненавижу себя! Ненавижу...
 — Что с тобой, Лена? — испуганно спросил Костя.
 — Ничего. Отстань!.. — Лена вдруг порывисто обняла Костю и тут же резко отстранилась. — Пчелка, миленький, прости. И не провожай меня дальше. Я сама. А завтра мы увидимся.
 — Я провожу тебя до двери своей квартиры. — сказал Костя. — В конце концов... — Он помедлил. — Это мое законное право: ты моя, тебя подарили мне!
 — Заткнись! — закричала Лена. — И знай: с Мухой все кончено! А сейчас уходи!

Костя лежал на своей кровати и смотрел в потолок. В его ногах сидел Виталий Захарович. Створки окна были распахнуты, и в квадрате бледного неба стояла одинокая звезда.

«Это она, — подумал Костя, — звезда Лены».
 — Я тебя понимаю, сын, — тихо говорил Виталий Захарович. — Я это испытал, пережил. Давно, так давно, что кажется: все это было в другой жизни — та девочка, метель... Мы с ней однажды заблудились в Сокольниках. Я уже знал тогда... — Виталий Захарович помедлил, — как она относится ко мне. И, представь, у меня было единственное желание в тот вечер. Вспоглощающее: заблудиться с ней вместе и замерзнуть...

— Это была не мама? — с изумлением спросил Костя.

— Нет.
 — Но... — Костя резко сел, прислонился спиной к стенке. — Но, папа! Я уже никогда никого не полюблю. Мне больше никто не нужен!

— Я понимаю, — сказал Виталий Захарович. — И в одном ты прав наверняка: первая любовь по глубине и напряжению чувств единственная...

— Глупости! — В дверях стояла возбужденная Лариса Петровна. Оказывается, она подслушивала и вот не выдержала. — Единственная любовь — миф, выдумка! Хотите убедительный пример? Жорж Санд! Женщина ослепительная, как говорили современники, невероятная! В ее жизни было несколько мужчин, и каждая она любила последней любовью. Да, да! Появлялся новый мужчина, и ей казалось, что чувство к нему самое сильное в жизни. Так-то! Ларисе Петровне не успели ответить — она захлопнула дверь. В коридоре простучали ее энергичные удаляющиеся шаги.

— Ты не сердись на маму, — сказал Виталий Захарович. — Она очень переживает. Никак не может смириться, что детство твое кончилось, что ты уже взрослый.

— Папа! Но что же мне делать? — Отчаяние прозвучало в голосе Кости.

— Жить! Жить, сын! И разве теперь твоя жизнь не стала ярче? Разве тебя не обуревают жажда деятельности?

— Да, это, конечно, так! — Костя был полон удивления. — Как ни странно...

— Это не странно, Костя. Настоящая любовь, пусть неразделенная, — могучая жизненная энергия, двигатель человеческих деяний.

— Папа! Но за что люблю?

— На этот вопрос у меня нет ответа. — Виталий Захарович подошел к распахнутому окну, загляделся на небо с одинокой звездой. — Ведь ты мне не поверишь, если я тебе скажу, что Лена — самая обыкновенная, даже заурядная девушка...

— Это неправда, папа! — перебил Костя.

— Я понимаю. Для тебя это неправда. И опровергнуть твоё представление о ней не сможет никто. И нет смысла опровергать. Скажу тебе одно... Ты ее любишь?

— Да!

— Значит, надо бороться за нее!

— Но как, папа?

Прошло несколько дней.

Лена и Костя медленно шли по улице мимо мехового ателье.

— Вот хозяйство моей мамочки, — сказала Лена.

— Может, неудобно? — Костя остановился возле витрины. — Обойдемся? Так просто погуляем.

— Да брось ты! — Лена схватила его за руку. — У меня маман — человек. Идем!

По слабо освещенному узкому коридору они подошли к двери, на которой была табличка: «Заведующий». Лена без стука открыла дверь, сказала Косте:

— Проходи!

Они оказались в маленькой комнатке, где был единственный стол, заваленный бумагами, папками, накладными; треть стола занимали большие счеты.

За столом сидела полная молодая женщина с огромной копной крашенных светлых волос. Крупные крестьянские руки с короткими пальцами украшало несколько золотых колец с камнями.

— Привет, мам! — Лена села на один из стульев у стены. — Садись, Пчелка... Мама! Это Пчелка. Костя Пчелкин. Я тебе говорила.

— Здравствуйте, — сказал Костя и сел на стул. Женщина отодвинула счеты, внимательно, изучающе посмотрела на мальчика.

— Знаю, знаю, — сказала она. — Чего тебе, Леноч? Давай быстро. Дел не впрок.

— Мы в кино собрались, — сказала Лена, — а у Пчелки только рубль.

— Рубль не деньги, — сказала женщина, сняла со спинки стула сумку из желтой кожи, порылась в ней, протянула Лене пятерку. — Держи. — И опять внимательно посмотрела на Костю. — Что, родители на карманные расходы не очень-то?

Костя не успел ответить — зазвонил телефон.

Женщина подняла трубку.

— Слушаю! А, Капочка! Приветик! Да, через два дня прощу на примерку. Так... Нет, красная у меня еще есть. Если немного черной... Ага, спасибо! Что? Можно. Пару баночек. Ага... И колбаски бы сухой. Хорошо. Понятно. Ага... — Она слушала некоторое время, засмеялась. — Понятно! Красиво жить не запретишь.

— Мама! — быстро зашептала матери Лена. — Ключку в сахаре.

— Капочка, — продолжала говорить в трубку женщина. — Вот Ленка просит ключку в сахаре. Сладко-ежка она у меня. Так... Умничка. Сделай пару корбоек. В долгу не останусь. Что? Так... Надо подумать. Ага... Подумать, говорю, надо. Хорошо. — Она взглянула на календарь. — В пятницу жду. Пока, подру-

га.—Женщина положила трубку. Снова посмотрела на Костю, спросила:—Родители у тебя кто?

—Люди,—усмехнулся Костя.

Женщина перевела взгляд на Лёну, сказала с некоторым осуждением:

—Шутник он у тебя. Я спрашиваю: кем работают?

—Отец — химик-исследователь,— ответил Костя,— мама — художник-модельер.

—Модельер? — заинтересованно повторила женщина.—В Доме мод?

—Нет, на швейной фабрике.

—А-а...—разочарованно протянула женщина.—Слушай, раз с художниками яхшаешься... Нет у твоей матери хода в Театр на Таганке? Позарез надо два билета на мастера с Маргаритой.

—Могу сказать точно,—ответил Костя.—Нет такого хода. Для нас попасть в театр на хороший спектакль — проблема.

—В наше время многое — проблема,— нравучительно сказала женщина.—Проблема на проблеме сидит и проблемой погоняет. Ладно. Идите. Мне еще обсчитывать и обсчитывать. С ума можно сойти от этой документации.

Лена и Костя поднялись со стульев.

—Погоди-ка...—Женщина вышла из-за стола.—Фигура у тебя...—она подошла к Косте, профессионально осмотрела его, повернула за плечи,—...стандартная. Скоро будут две куртки-дубленки. Материал канадский, фасон из западногерманского журнала взяли. Как раз на тебя. Только ведь вещь-то...—Она вздохнула.—Химик да художница. Не очень-то разбежишься. Ведь так?

—Я вас не понимаю! — резко сказал Костя.

—Не понимает! — Женщина подмигнула Лёне.—Молодой, а уже артист. Далеко пойдет. Ты за него, Ленка, держись. Твой длинноволосый когда в армию уходит?

Лена нахмурилась, взяла Костю за руку:

—Идем, Пчелка!

Они вышли из комнаты.

Женщина посмотрела на закрытую дверь, сказала со вздохом:

—Во детки растут. Никакой управы.

Она вернулась за стол, бойко принялась стучать костяшками счетов.

...Костя и Лёна стояли в подъезде—на улице шел дождь.

—Скоро кончится,—сказал Костя, посмотрев на светящееся небо.—И мы успеем.

—Тебе моя мать не понравилась, да? — неожиданно спросила Лёна.

—При чем тут мать? — сказал Костя.—Главное — есть ты.

—Не надо все время обо мне. Надоело! И зачем только мы с тобой познакомились?

—Ты об этом жалеешь?

—Не знаю... Пока я тебя не встретила, все было понятно, ясно: наша компания, ребята. У Эфирного Создания собирались. А теперь?

—Что же теперь?

—Компания то-то! Испарилась. Эфирное Создание стала... Сам знаешь. Нет, это, конечно, здорово, что она лечится. Только мои родители говорят: ничего из этого лечения не выйдет. А я... Не могу понять. Все перепуталось. Нет, ты не думай.—Лёна тронула Костю за плечо.—Мне с тобой хорошо, интересно. Я узнала, что есть совсем другая жизнь. Только раньше все казалось просто, а сейчас...—Лёна резко тряхнула головой, и ее волосы волной упали на лицо.—Что-то расхотелось идти в кино. Какая, ты говоришь, картина?

—«Безумный, безумный, безумный мир». Американский фильм в «Повторном».

—Ну ego! — махнула рукой Лёна.—Что мир безумный, я и так знаю.

—Тогда, может быть, поедем в парк культуры? Там сейчас японские аттракционы...

—Не хочу! — перебила Лёна.

—Тогда пошли в кафе-мороженое.

—Не люблю я мороженое!

—Лёна... Только скажи: что ты хочешь?

—Отстань! — вдруг крикнула Лёна.—Чего ты ко мне привязался? — В ее голосе были слезы.—Я сама не знаю, чего хочу...

—Зато я знаю, чего ты хочешь,— тихо сказал Костя.

Лёна с испугом смотрела на него.

—Ты хочешь помириться с Мухой.

Лёна опустила голову.

—Ведь хочешь?

Лёна молчала.

Глава двенадцатая

ЗДЕСЬ ИЛИ НИГДЕ

Утром Костя стоял перед дверью с номером «83».

Поднять руку, нажать кнопку звонка...

Все существо сопротивлялось этому простому движению: поднять руку... Нажать кнопку звонка.

«Для тебя, Лёна...»

Он поднял руку, позвонил. Нечто огромное, обжигающее словно упало в нем, разбилось вдребезги.

«Убежать! Немедленно убежать... Еще не поздно». Но он продолжал стоять перед дверью.

Послышались шаги. Дверь открыл мужчина лет сорока, с большими залысинами, в светло-сером летнем костюме, безукоризненно отглаженном, в коричневых начищенных ботинках.

—Здравствуйте,—сказал Костя.—Скажите...

—Дмитрий! К тебе,—крикнул мужчина и ушел. В передней появился Муха. Удивление на его лице быстро сменилось иронией.

—Какой визит! — воскликнул Муха.—Сам великий маэстро! Чем обязан? Или выяснять отношения?

—Кончай ты,—просто сказал Костя.—Я...—он замешкался,—...совсем по другому поводу.

—Прекрасно! Проходи.—Голос Мухи прозвучал дружелюбно.—Ты как раз к завтраку.—Он повел Костю по коридору.

Дверь на кухню была приоткрыта, за ней мелькнула женская фигура, послышался звон посуды.

—Людмила Васильевна,—сказал на ходу Муха.—У меня гость. Еще один прибор, пожалуйста.

—Хорошо,—напевно, мелодично ответил молодой женский голос.

—Будь как дома,—насмешливо сказал Муха.

Они вошли в просторную кухню. Мужчина, встретивший Костю, отец Мухи, уже сидел у окна, просматривая газету, а у стола хлопотала молодая женщина, очень милая, с открытым, чистым лицом, гладкая прическа открывала высокий лоб. Вся она светила доброжелательностью, и только в карих глазах Костя увидел затаенную грусть, тревогу, которые, наверное, она хотела спрятать ото всех.

—Здравствуйте! — сказал Костя.

— Здравствуй, здравствуй! — радостно улыбнулась ему женщина. — Вот тут садись, удобное местечко. — Она усадила Костю тоже у окна, напротив отца Мухи, который продолжал шелестеть газетой.

Муха громко отодвинул стул, плюхнулся на него, взглянул на Костю.

— Не удивляйся, в этом доме завтракают поздно. У главы, так сказать, семьи, производителя материальных благ, скользящий график. Да! Виноват, виноват... — Муха вскочил. — Я же не представил стороны! Мой новый друг Константин Пчелкин, в будущем знаменитый музыкант. — Муха усмехнулся. — А это мой родитель, Михаил Никитич, большой специалист в области воспитания юного поколения. — Он повернулся к Косте. — Знаешь, есть такая неопределенная наука — педагогика. «Сейте разумное, доброе, вечное...»

— Дмитрий! — прервал Муху Михаил Никитич, и Костя увидел, каких усилий стоит ему говорить спокойно.

— Я заканчиваю, — в свою очередь, перебил Муха. — И, наконец, несравненная Людмила Васильевна, молодая супруга моего несравненного родителя. Также, да будет тебе известно, причастна к педагогике: в приемной ректора... — Он взглянул на отца. — Умолкаю, умолкаю! Впрочем, сейчас Людмила Васильевна — образцовая домашняя хозяйка. Итак, что тут у нас? — Муха сел на свой стул.

— Вот яйца, сыр, — сказала Людмила Васильевна, и Костя увидел в ее милых широко раскрытых глазах затравленность. — Еще я сделала свеколку под майонезом. Очень полезно. — Она улыбнулась Косте. — Тебе положить?

— Да я уже завтракал.

— Тогда кофе, — предложила Людмила Васильевна. — И бутерброд.

— Конечно, кофе! — сказал Муха. — Бодрит.

Завтрак проходил в молчании. Муха и его отец ели ножом и вилкой, Людмила Васильевна обходилась одной вилкой и постепенно раскраснелась, глаза ее стали прежними, приветливыми и добрыми, еда явно доставляла ей удовольствие.

Молчание нарушил Муха.

— Тихо, как в склепе, — сказал он. — И, уткнувшись в тарелку, изрек: — «Семья как ячейка общества».

Михаил Никитич резко отодвинул чашку.

— Развлекаешься?

Муха не ответил, он повернулся к Косте, спросил:

— Ты как думаешь, семья — ячейка общества?

— Не знаю... — совсем растерялся тот.

— А у вас, Людмила Васильевна, какие соображения? — Муха прямо, тяжело смотрел на молодую женщину. — В смысле ячейки?

Костя увидел: глаза Людмилы Васильевны мгновенно наполнились слезами, она вскочила и выбежала из кухни.

— Что-то не клеится беседа, — развел руками Муха.

И тут Михаил Никитич грохнул кулаком по столу. Зазвенела посуда. Выплеснулся кофе из чашек.

— Хотя бы постеснялся постороннего человека! — закричал он, но тут же тяжелым усилием подавил гнев, сказал: — Неужели тебе доставляет удовольствие...

— Ладно, ладно! — перебил Муха. — Не заводись. Береги нервы. Впрочем, они у тебя железные. — Муха встал. — Пошли, Пчелка.

Костя поднялся из-за стола, сказал:

— Извините...

Михаил Никитич не ответил.

— Проходи!

Комната была небольшая, светлая, на полках много книг. На письменном столе возвышалась старинная настольная лампа с инкрустацией, лежали журналы. Гитара брошена на тахту, весь угол над изголовьем заклеен полубожаженными красавицами, вырезанными из зарубежных журналов. На гвозде поблескивал металлическими пружинами эспандер.

На стене, противоположной тахте, висела большая фотография женщины средних лет с глазами Мухи; женщина была задумчивая, тихая какая-то.

А над тахтой висел плакат: «Я в мир пришел, чтобы не соглашаться».

Костя был в полной растерянности, он ничего не мог понять: что происходит в этом доме? Он был полон неловкости и смущения, став невольным свидетелем чего-то такого, что не должен знать. Чтобы преодолеть это состояние, он громко прочитал плакат:

— «Я в мир пришел, чтобы не соглашаться». — Он посмотрел на Муху. — Это ты пришел не соглашаться?

— А то как же? — усмехнулся Муха. — Садись.

В комнате было два кресла, в одно сел хозяин, в другое — Костя. Затянулось молчание. Муха взглянул на плакат.

— Все это пижонство. Я примерно раз в неделю меняю лозунги. И таким образом раздражаю родителя. Перед этим было: «Хочешь жить — умей вертеться». Глава семейства иногда по вечерам приходит меня воспитывать, видит очередной тезис на стене и тут же заводится с полуоборота. Помню, месяца три назад был у меня лозунг: «Человек человеку друг, товарищ и волк». Явился папаша, увидел, прочитал и... Прямо извержение Везувия. Так разошелся! Наверно, сам себе верил...

— Муха, — перебил Костя. — Я не понимаю... Почему ты так с отцом? И с Людмилой Васильевной?

— Как?

— Грубо.

— А! — Муха махнул рукой. — Как же! Доцент, лекции будущим учителям читает. «В ваши руки общество передает юное поколение». — Муха, очевидно, пародировал интонации своего отца. — «Оно олицетворяет будущее государства». «Крепость семейных уз...», «Семья как ячейка...». Тьфу! Тошнит. Вот наша семья — тоже эта самая ячейка, как ты думаешь?

— Не знаю, — сказал Костя. — Наверно.

— Конечно, ячейка, — желчно подтвердил Муха. И вдруг замолчал, стал хмурым. — Полгода назад умерла от рака печени мама. — Муха взглянул на фотографию задумчивой женщины. — Через две недели родитель привел новую жену, Людочку... «Ах, Людочка, какие у тебя волосы!» — передразнил он отца. — Она секретаршей у их ректора работала. Уже три года. А значит... Да я просто не сомневаюсь. Ты можешь это понять?

— Нет, не могу, — сказал Костя.

— Я тоже не могу. — Муха замолчал, резко отвернувшись к окну.

— Ты успокойся, Муха, — тихо сказал Костя.

— С чего ты? Я спокоен, как сфинкс. Или египетская пирамида. — Но тем не менее он продолжал: — Ячейка... Ты бы посмотрел, какую они «ячейку» разыгрывают, когда гости собираются. Вернее, отец разыгрывает. Людмила только ему вторит. Вот ведь свойство женщин! Прямо раствориться в мужике. И чего она в нем нашла?

— Ты извини, Муха, но, по-моему, Людмила Васильевна очень хороша.

— Может быть. Мне от этого не легче, — непримиро сказал Муха. — Так вот. Спектакли для пуб-

лики разыгрываются. Это надо видеть! Образцово-показательная семья... Цирк! Трагикомедия! И меня в свой гнусный спектакль втягивают. В этих комнатах... Где еще совсем недавно ходила мама... По ночам я ее шаги слышу.

— Муха! Но если твой отец любит Людмилу Васильевну...

— Любит? — перебил Муха. — Он прожил с мамой девятнадцать лет и, выходит, все эти годы не любил ее? Притворялся? Или как? Объясни! Я не понимаю!

— Я тоже не понимаю...

— Мой отец — лицемер! — Муха вскочил и замесался по комнате. — Все они лицемеры! Наши дорогие папочки и мамочки, наши уважаемые воспитатели всех мастей! У каждого — двойное дно!

— Неправда! — перебил Костя. — Мои родители...

Но Муха не слушал его, он остановился у окна, жестко произнес:

— Одному меня научил родитель со своей новой половиной: в жизнь надо вцепиться зубами и рвать ее на куски.

Костя подавленно молчал. Взглянув на него, Муха мгновенно изменился — сел в кресло, закинул ногу за ногу, сказал, улыбнувшись:

— Чего это я? Воздух сотрясаю. Иногда, знаешь, тоже пружина ослабевает. Да, Пчелка! У тебя ко мне какое-то дело?

Преодолев себя, Костя спросил:

— Муха, ты ее любишь? Скажи честно.

— Честно? — Муха пристально взгляделся в окаменевшее лицо Кости. — Честно... не знаю. Привык. Не пойму... А вообще я не верю женщинам. Любить их? Увольте!

— Не их, — тихо поправил Костя. — Одну. — Он прямо смотрел в глаза Мухи. — Я не понимаю, зачем ты ее мучаешь?

— Мучаю? — удивился Муха. — Да она сама...

— Лена сейчас дома, — перебил Костя. — Ей очень плохо. Позвони...

Муха смотрел на Костю.

— Пчелка! — сказал он. — Ты совсем потерял голову. Чего ты в ней нашел? Да таких навалом на каждом перекрестке! Хочешь, познакомлю тебя с фирмовой герлой? Сразу позабудешь...

— Не надо, Муха! Так ты ей позвонишь?

— Не знаю. Особо не тянет. Да и футбол скоро по телеку.

— А я... — Костя вздохнул. — Если бы она сказала: «Прыгни с крыши нашего дома», — я бы прыгнул.

— Чокнутый ты, Пчелка, — даже с некоторым испугом произнес Муха. — По правде говоря, я никак не предполагал, что еще бывают такие чокнутые. На этой, прости, основе. Ты что, специально пришел сказать, чтобы я позвонил ей?

— Нет! — поспешно возразил Костя. — Не только из-за этого. С тобой хочет встретиться один человек. Ты ему понравился. Он сказал: «Ваш Муха мне понравился, как это ни парадоксально».

— Каратист? — догадался Муха.

— Да. Владимир Георгиевич. Знаешь, он поразительный человек!

— Если каратист, — усмехнулся Муха, — значит, уже поразительный?

— Дело не только в каратэ, — сказал Костя. — Мы с ним о многом говорим, спорим. Я у него книги беру. А недавно... Как раз о тебе речь шла. Владимир Георгиевич нашел на полке одну старинную книгу, сказал: «Вот здесь — для нашего бунтаря Мухи. Как теперь говорят, информация для раз-

мышления». И прочитал... Я потом для себя выпи-сал. Хочешь послушать?

— Интересно, — без особого энтузиазма откликнулся Муха.

Костя достал из кармана пиджака записную книжку, полистал ее.

— Вот! Это английский философ сказал, Томас Карлейль. — И он прочитал, волнуясь: — «Нет и не было никогда такого положения, которое не имело бы своей обязанности и своего идеала. Да, здесь, в этой жалкой, бедной, презираемой действительности, в которой ты сейчас находишься, здесь и только здесь твой идеал. Осуществляй его и осуществляй верь, живи и будь свободен. Идеал в тебе, препятствия к его осуществлению в тебе же. Твое положение есть тот материал, из которого ты должен выработать осуществление идеала, все равно, какой бы ни был материал и какую бы ты ни придал ему форму. Ты страдаешь, связанный действительностью, и жалобно молишь богов о таком царстве, в котором ты бы мог распоряжаться и творить. Познай же ту истину, что ты владеешь уже тем, чего ты так желаешь. Здесь или нигде». Помоему, здорово!

— Здесь или нигде... — повторил Муха. Он стоял спиной к Косте, смотрел в окно. — Наверно, это так. Только мне от этого не легче.

Глава тринадцатая

ПАРУСА ГАРИКА ТАРКОВА

В комнате с лоцманской картой, макетом многомачтового парусника, фотографиями на стенах находилось четыре человека: Владислав Константинович Спивак сидел в своей коляске, которую подкатили к открытой двери балкона, рядом с ним, вокруг журнального столика, расположились Очкарик, Дуля и Костя. Дуля был в тельняшке, которая выглядывала из-под ковбойки. Вид у Дули был напряженный и печальный.

Владислав Константинович посмотрел на макет парусника «Меркурий», вздохнул. И нарушил молчание:

— Знаете, что я однажды прочитал у Бальзака? Примерно так: ничего на свете нет прекраснее, чем скачущая лошадь, танцующая женщина и фрегат, плывущий под парусами.

— Накрылись мои паруса, — понуро сказал Дуля.

— Нет, я не понимаю! — воскликнул Костя. — Как он может все за тебя решать?

— Может, — сказал Дуля.

— Ты заранее не расстраивайся, — посоветовал Владислав Константинович. — Поговорим.

И в это время в передней требовательно зазвенел звонок.

— Он... — произнес Дуля.

Очкарик быстро пошел открывать дверь и вернувшись в комнату с мужниной могучего сложения.

— Проходите, пожалуйста! — пригласил Очкарик.

Мужчина стоял в дверях, пристально осматривал комнату.

— Здравствуйте, — сказал он наконец довольно хмуро. — У вас прямо, как в музее.

— Здравствуйте, — дружелюбно откликнулся Владислав Константинович. — Что же вы стоите? Вот. — Он показал на кресло рядом со своей коляской. — Садитесь.

Мужчина прошел к креслу, грузно сел, побарабанил сильными пальцами по подлокотникам. Взглянул на старика в коляске.

— Я вас представлял...— начал он и остановил себя.— Это, значит, вы нашего Георгия к морским делам пристрастили?

— Давайте для начала познакомимся,— предложил старик.— Меня зовут Владислав Константиновичем. Я бывший моряк.

— Никита Иванович Гусаков,— представился мужчина.— Отчим этого оболтуса.— Он кивнул на Дулю.— По профессии слесарь-инструментальщик.

— Отличная профессия,— сказал Владислав Константинович.

— Я тоже так считаю,— твердо и угрюмо согласился Гусаков.— Позвольте, Владислав Константинович, сказать вам прямо, по-рабочему. Задурили вы нашему Гарьке голову. У нас с матерью на его счет план вот какой: с осени пойдет в ПТУ при нашем заводе, мою профессию освоит.— Гусаков усмехнулся.— Может, я династию начну. И для жизни... Ничего, как-нибудь две с половиной имею. Плюс премиальные раз в квартал. И его натаскаю. У нас семья—еще двое, Гарьки помладше, и сейчас супруга тяжелая ходит, к осени ждем пополнение. Так что второй работник очень даже к месту придется.

— Я хочу корабли строить!—отчаянно крикнул Дуля.

— А я хочу быть китайским императором,— зло отрезал Гусаков.— Мало ли кто чего хочет.

— Подождите, Никита Иванович.— На щеках Владислава Константиновича выступил румянец. Говорил он с одышкой.— Давайте все обсудим спокойно.— Что обсуждать?— начал горячиться Гусаков.— Вы тут все за нас с матерью решили: заканчивать ему десятилетку, институт выбрали. А с нами вы посоветовались? С родителями?

— Для этого я и попросил Гарика пригласить вас,— устало сказал старик.— Ничего мы за вас не решали. Вы решать будете. И уже вижу, как. Вы, Никита Иванович, собираетесь совершать нравственное преступление!

— Не понял.

— Вы хотите убить в вашем сыне самое главное, основу будущей жизни—мечту! Крылья подрубить перед полетом.

— Вы на меня высокими словами не давите...

— И знаете, что за сим последует?— продолжал Владислав Константинович.— Вы толкаете Гарика на старую дорожку...

— Опять не понял!— перебил Гусаков.

— Вы считаете...— Старик начинал задыхаться.

— Дед!

— Ладно, ладно. Вы считаете, будет лучше, если ваш сын опять вернется в подъезды, в какую-нибудь новую компанию, подобную той...

— Ничего!— перебил Гусаков.— Все мы через подъезды и компании прошли. Как видите, живем не хуже других. Дурь с годами слетит, и я из Гарьки рабочего человека сделаю. Или вы против?

— Да разве об этом разговор?— Очкарик подал Владиславу Константиновичу стаканчик с лекарством, и он быстро, казалось, не заметив, выпил содержимое.— Демагогией занимаетесь, Никита Иванович! Поймите, у Гарика блестящие способности! Он, может быть, родился для... А!— Старик безнадежно уронил руки.

— Владислав Константинович!— Костя вскочил.— Покажем? Витя, давай!

Костя и Очкарик ринулись в другую комнату и вернулись с макетами яхты, многомачтового парусника, военного корабля,

Мальчики выстроили на журнальном столике перед Гусаковым целую игрушечную флотилию.

— Вот!— сказал Костя.— Это все Дуля.

— Сам?— удивленно спросил Гусаков.

— Конечно, сам!— подтвердил Костя.

— Я у него в подручных был,—добавил Очкарик.— То подать, это подержать.

Гусаков осторожно взял макет трехмачтовой шхуны, стал ее рассматривать со всех сторон.

— Гарик прекрасно читает чертежи,— сказал Владислав Константинович.— У него природная смекалка, он рожден кораблестроителем.

— Для поступления в кораблестроительный институт,— сказал Костя,— надо уже сейчас готовиться. У меня в девятом по всем математикам— годовые пятерки. Я Дуле помогу. А по физике... Есть у меня приятель, он по физике прямо профессор.

— Когда у вас в семье родится еще один ребенок,—вставил Очкарик,— мы все будем помогать: что надо по хозяйству, по дому. Лишь бы Дуля учился, в институт готовился.

Гусаков теперь внимательно рассматривал макет эсминца. Однако лицо его оставалось хмурым. Наконец, он сказал:

— И все одно: блажь. Раз, два— и судьбу переменяли парню.

— Да эту судьбу-то,—опять заволновался Владислав Константинович,— вы ему придумали. И не спросили у парня, нравится ли она ему.

— Зато верное дело. Ошибки не будет. А тут... Одно дело—игрушки городить, а настоящие корабли...

В дверь снова позвонили.

— Наконец-то!—вырвалось у Кости.

Очкарик убежал в переднюю и вернулся с Владимиром Георгиевичем.

— Всем общий привет!—сказал учитель школы каратэ.— Немного опоздал? Извините! Как всегда, транспорт.— Он подошел к Гусакову.— Никита Иванович, не так ли?— Он протянул руку.— Будем знакомы: Владимир Георгиевич Говорухин.

— Гусаков,—ответил отчим Дули.

— Так вы отпускаете нашего капитана?—бодро спросил Владимир Георгиевич.

— Куда это еще отпускаю?—изумился Гусаков.

— Как?—в свою очередь, удивленно воскликнул учитель школы каратэ.—Я подумал, вы уже обо всем договорились. Ведь в июле мы идем под парусами по Клязьме, сейчас разгар подготовки и тренировок.

— Кто это мы?—мрачно спросил Гусаков.

— Мы—это вот я и они.—Владимир Георгиевич показал на Костю и Дулю.—Восемнадцать человек их у меня.

— Ничего не понимаю,—сказал Гусаков.

— В общем, история такая. Я веду занятия в школе каратэ. Летом с начальной группой я обычно отправляюсь в десятидневный поход. Там и тренировки, там и разговоры о жизни, что, уверяю вас, Никита Иванович, очень важно. Потом походный быт, костер... Что сильнее может объединить мужчин?—Владимир Георгиевич подмигнул Косте.—А в этом году... Нашего участкового Николая Павловича Воробьева знаете?

— Дон Кихота,—улыбнулся Костя.

— Знаком,—коротко ответил Гусаков.

— Так вот,—продолжал Владимир Георгиевич.—Николай Павлович подал мне идею под парусами с ребятами пойти. Есть у него дружба с речниками. Правда, поставил условие: взять с собой шестерых гавриков из разных дворов. Ну, ребяташки, сами понимаете. Среди этой шестерки ваш сын. О нем

ничего плохого сказать не могу. Скорее, наоборот. Короче говоря... Кладу на сей поход половину своего отпуска. Имеем мы три посудины. А флагман «Сатурн» из старья ваш сын переоборудовал. Вернее, работы шли под его руководством.

— Папа! — перебил Дуля. — Поедем на водохранилище, и мы тебе покажем!

— Зрелище того стоит, — сказал Владимир Георгиевич. — Особенно когда ветер наполняет паруса «Сатурна».

— Вы по мне, — сказал Гусаков, — прямо тяжелой артиллерией.

— Полно, Никита Иванович, — успокоил Владислав Константинович. — Правда, для вас все это несколько неожиданно.

— Потому и держали от родителей в тайне, — сказал учитель школы каратэ. — До поры. Готовили сюрприз: все три парусника — на плаву.

— Думали, — опустил голову Дуля, — увидят корабли — не откажут.

— Понимаете, Никита Иванович, — сказал Владимир Георгиевич. — Для ребят эти паруса — экзамен на достойное будущее.

— Доконали, — усмехнулся Гусаков. — Покажите свой «Сатурн»...

— Да хоть сейчас! — перебил Дуля.

Из открытой на балкон двери прилетел легкий ветер, паруса макетов туго наполнялись им, и показалось, что флотилия Гарика Таркова двинулась в плавание.

Глава четырнадцатая

СТАРАЯ ЛИПА

Прошло две недели с тех пор, как Костя Пчелкин и его друзья нанесли визит товарищу Метелкину В. А. Было похоже, что письмо в защиту старой липы возымело положительное действие: каждое утро, выйдя из своего подъезда, Костя видел могучее зеленое облако, в котором неистовствовали воробьи.

И вдруг!..

Было субботнее утро. Телефонный звонок ворвался в сон Кости, в котором были Лена, он, музыка, берег реки.

Еще не открыв глаза, он схватил трубку:

— Да? Слушаю?

— Костя! Костя!.. — Голос Очкарика прерывался от волнения. — Мамонт вместе с этим лысым добился своего...

— Что?

— Они будут пилить липу!..

— Когда?

— После обеда... Костя, надо что-то немедленно придумать.

— Погоди, сейчас. — Он рывком вскочил с кровати. — Погоди, Очкарик, дай подумать... Так... Слушай. Нет, сначала я позвоню одному человеку. А ты сиди у телефона, жди...

...Наступил полдень. Ярко светило солнце, и это особенно было видно по контрастной тени от старой липы на асфальте.

Вокруг древнего ствола дерева сидели, подстелив газеты, Костя, Лена, Очкарик, Жгут, Дуля. Костя читал английский журнал.

Подождал медленно, вроде бы неохотно Муха, за ним шествовали еще двое.

— Видали чокнутых? — спросил Муха у своих сопровождающих.

Те послушно захохотали, но без особого энтузиазма.

— Муха, — сказала Лена. — А вы присоединяйтесь.

— Да что вы говорите? — иронически сказал Муха. — Присоединяться? Сидячая забастовка! Мужественная защита зеленого друга! Кретины! Да они вызывают милицмейскую машину, и вас растащат, как щенят.

— Не растащат, — сказал Костя, оторвавшись от журнала.

Взгляды Мухи и Пчелки встретились.

— Цирк! — завопил Муха. — Алле-гоп в двух отделениях! Граждане, собирайтесь! Бесплатное представление!

И действительно, подошла любопытствующая пенсионная пара. Молодая мама подкатила коляску с младенцем.

— Муха, — сказал Жгут, — закрой поддувало!

— Ты смотри! — не унимался Муха. — И Жгут у нас теперь убежденный борец за справедливость! Сейчас повеселимся. Надо скорее занимать свободные места. Джон, стуло! Одна нога здесь, другая там!

Джон убежал и скоро вернулся с двумя пустыми ящиками из-под фруктов. Муха и его сопровождающие устроились на ящиках невдалеке от липы, приняв позы зрителей, закурили.

В это время у липы появился Эдик.

— Салют! — поздоровался Эдик.

— Салют! — ответил Костя.

— Ну, вы даете! — азартно сказал Эдик.

Лена протянула ему лист газеты:

— Бери!

Эдик устроился рядом с Леной.

— Ты гляди! — промолвил Муха. — Интеллектуальное пополнение. Интересно, как с ними блюстители порядка обходиться будут? Точно вам говорю: намечается интересное зрелище!

И тут примчался пацанчик лет десяти, зашептал, округлив глаза:

— Идут! Мамонт, его рабочие и один с этой...

Он не успел договорить — возле дерева появилось четверо мужчин: директор продовольственного магазина Василий Васильевич Мамонтов, двое рабочих в синих халатах и здоровенный детина с бензопилой.

— Значит, так, — говорил на ходу Василий Васильевич рабочим, — вы прикиньте, куда она упадет, и натяните шнур. Будете наблюдать, чтобы никто не подлез. — И тут он увидел ребят, которые тесным кольцом сидели вокруг ствола липы. — Это что такое?

— Внимание! — гаркнул Муха. — Занавес поднят! Оркестр! Почему молчит оркестр?

Но было напряженно-тихо возле старой липы.

— Я вас спрашиваю, — уже гневно закричал Василий Васильевич, — что это такое?

— Мы вам не позволим спилить липу, — спокойно сказал Костя и опять опустил глаза в журнал.

— То есть как это?.. — Мамонтов шагнул к Косте. — А ну пошли отсюда, хулиганье! Вон!..

— Вы на нас не орите, — сказал Эдик.

— Мы нервные, — добавил Костя.

— Что? Да я тебя... — Василий Васильевич сделал еще один шаг к Косте.

— Между прочим, — заметил Дуля, — у него второй разряд по каратэ.

Мамонтов поспешно отступил назад, сказал своим рабочим:

— А ну, гоните их отсюда!

Один рабочий направился было к ребятам, невоз-



мутимо сидевшим на своих местах, но тут вступил Жгут:

— Дядя, будешь широко шагать, штаны порвешь.

Рабочий остановился на полпути, сказал:

— Что я, Василий Васильевич, милиционер?

— Правильно! — закричал Мамонтов. — В милицию! Вы мне ответите, шпана! За решетку утку! Оставайтесь здесь! — сказал он рабочим. — Я мигом!

И Василий Васильевич Мамонтов тяжелой трусцой покинул поле сражения.

— Браво! — В напряженной тишине Муха захлопал в ладоши. — Вступление закончилось, начинается непосредственно драма!

Мухе никто не ответил, никто не смотрел в его сторону.

...Через полчаса вокруг ствола старой липы сидели не только Костя и его товарищи, но и пяток ребят помоложе. В стороне стояли двое рабочих и детина с пилой. Прибавилось и сторонних наблюдателей, все больше пенсионного возраста. По-прежнему в позах зрителей сидели на ящиках Муха и двое его сторонников.

Ребята под липой молчали. В толпе наблюдателей тихо переговаривались.

И вдруг все смолкло — к липе шли Василий Васильевич Мамонтов и участковый милиционер Николай Павлович Воробьев.

— А я-то думал, — на ходу завелся Василий Васильевич, — совесть у них проснется! Нет, сидят...

— Одну минуту, товарищ Мамонтов, — сказал Николай Павлович. — Сейчас разберемся. Ну? — Он спокойно посмотрел на ребят. — Кто говорить будет?

— Он... — вскочил Очкарик, — хочет спилить нашу липу! Без нее мой дед умрет... — И мальчик не смог от волнения говорить дальше.

— Погоди, Очкарик, — сказал, поднимаясь, Костя. — Мы, Николай Павлович, не позволим спилить липу. Для Владислава Константиновича, вот для его деда, она... — Костя не сразу нашел нужное слово, — ...источник жизни. А для всех нас? Вы посмотрите на нее! — И все посмотрели на красавицу липу, которая доверчиво шумела над людьми своей листвою. — Чтобы выросло такое дерево... Этой липе, может быть, сто лет! Мы никого не подпустим к ней! — И Костя опять сел на газету.

— Мы здесь будем сидеть день и ночь! — сказала Лена. — Но к липе никто не подойдет.

— Так... — задумчиво произнес Николай Павлович. — Теперь ваше слово, товарищ Мамонтов.

— Я не понимаю, — раздраженно заговорил Василий Васильевич. — Уже разъяснил вам...

— Вы и им разъясните. — Участковый милиционер кивнул на подростков.

— Не понимаю! Просто отказываюсь вас понимать, товарищ Воробьев! Все документы я вам показал. — Он потряс бумажками, зажатыми в кулак. — Это чертово дерево мешает машинам с продуктами подъезжать к магазину. Теперь новая техника — фургоны, им совершенно невозможно развернуться. У меня постоянные конфликты с водителями. Дерево... С него какой прок? Хочешь на природу любоваться, езжай в парк культуры и отдыха... Небось вся эта шпана...

— Вы поосторожней в выражениях, — перебил участковый.

— Небось все они каждый день есть хотят! Ко мне в магазин за колбаской и маслицем бегают. И я как директор...

— Одну минуту, Василий Васильевич, — опять перебил Николай Павлович. — Ваша позиция ясна,

— У товарища Мамонтова, — сказал Эдик, — ничего отсутствует экологическое мышление.

— Вот, пожалуйста, — сказал Василий Васильевич. — Еще и оскорбления.

А участковый Воробьев подошел к детине с пилой:

— И у вас не дрогнет рука спилить эту красавицу?

— Я на работе, — сказал детина, — мне за это деньги платят. — Он усмехнулся: — «Рука не дрогнет...» И не такие деревья валили.

В толпе наблюдателей послышались негодующие возгласы.

Участковый Воробьев потер рукой лоб, опять вернулся к директору магазина:

— Значит, вам эта липа мешает подвозить продукты?.. А вы что-нибудь знаете о ней?

— О ком? — спросил Мамонтов.

— Об этой липе.

— А почему я о ней должен что-то знать?

— Наша липа, — Николай Павлович говорил уже всем, — стояла здесь, когда и этих недавних домов не было и довоенных. Вон, — Воробьев махнул в сторону рукой, — первый корпус в тридцатых годах при ней строился. Липа до революции тут росла, да будет вам известно, Василий Васильевич! И когда во время октябрьских боев здесь сгорели два деревянных дома, она тоже горела. Спросите у стариков. Несколько лет стояла обугленная, залечивала раны и выстояла, однажды весной зазеленела. А в Отечественную?

— Верно! — взволнованно сказал старик пенсионер из толпы. — Под этой липой мы новобранцев из нашего двора на фронт провожали, а когда немец к Москве подошел — ополченцев в народное ополчение.

Тихо было под старой липой, только ветер легко шелестел листвою.

— Не знал я, — смущенно сказал директор магазина. — Да и план у меня. Опять же конфликты с шоферами.

— Да успокойтесь вы, Василий Васильевич, — сказал участковый Воробьев. — Продуктовым фургонам трудно подъезжать к магазину? Но ведь не из-за одной липы. Смотрите, вон телефонные автоматы. — Четыре кабины стояли под углом к рабочему входу в магазин. — Ведь они тоже мешают. Перенести их на пять метров...

— Кто разрешит? Тут материальные затраты. С АТС дело иметь...

— Я это устрою, — пообещал Николай Павлович. — Дайте неделю срока.

— Точно? — с недоверием спросил директор магазина.

— Слово даю.

— Ура-а! — закричали ребята, вскакивая со своих мест под старой липой. — Ура-а-а!

И некоторые из них пустились в дикий пляс вокруг дерева.

Костя победно посмотрел в сторону Мухи. Но ни Мухи, ни его сопровождающих не было.

Очкарик подбежал к окнам дома и закричал звонко:

— Дед! Все в порядке! Мы победили! Липа будет расти!

А по щекам Лены ползли слезы.

— Лена, ты что? — прошелтал Костя.

— Он бы тоже мог с нами! — Она не скрывала отчаяние и тоску.

— Кто?

— Кто, кто... — И в глазах Лены Костя увидел вспышку внезапной ненависти к себе. — Мушкетер! Вот кто...

Глава пятнадцатая

НЕТ, ПОВЕСТИ ПЕЧАЛЬНЕЕ НА СВЕТЕ...

Да, он сказал ей: «Все. Все кончено. Мы не будем встречаться. Прощай». Именно так, несколько театрально, он сказал ей по телефону: «Прощай! Прощай навсегда!» И в ответ Лена засмеялась: «Какой ты глупый». И положила трубку.

Все? Неужели все? Костя твердил себе: «Все, все кончено».

Разговор по телефону состоялся в тот самый вечер, когда ребята отстояли липу. Костя тогда пригласил длинный монолог, монолог молодого влюбленного человека, хладнокровного, мудрого, если хотите. Да, он скажет ей, что любит ее, что будет любить ее всегда, всю жизнь. Пусть она выйдет замуж за другого человека. Он все равно будет любить ее, свою жизнь он посвятит ей. И по первому зову... О! По первому зову, если только она скажет: «Приди», — он придет.

Так должен был начинаться этот гордый и трагический монолог, но Лена сказала: «Какой ты глупый», — и положила трубку.

Что же делать? Все кончено? Однако он не сказал ей самое главное: «Свою жизнь я посвящаю тебе». Надо сказать, и это будет последняя точка. Ведь до похода под парусами остается всего два дня.

Если позвонить по телефону, она опять положит трубку.

Значит... Написать письмо. Но удивительно! Костя никак не мог заставить себя написать это письмо — первое и последнее, единственное. Несколько раз он садился за стол, но ручка застыла над чистым листом бумаги.

Вот и сейчас Костя сидел у себя в комнате, и перед ним лежал белый чистый лист бумаги. Ведь так просто! Написать первое слово: «Лена!» или «Здравствуй, Лена!».

В дверь позвонили. Костя взглянул на часы — было без двадцати семь. Он прошел в переднюю, открыл дверь — перед ним стояла Лена.

— Ты? Зачем?..

— Ты один? — перебила Лена и вошла.

Костя закрыл дверь, и теперь они стояли друг против друга.

— Костя, я всего на минутку. Проститься...

— Проститься?

— Да. Такси уже у подъезда.

— Куда ты едешь?

— А! В деревню свою. Маман везет. На свежий воздух и парное молоко. Терпеть не могу парное молоко.

— Лена! Я тебе буду писать письма. Можно?

— Конечно, можно! Люблю получать письма. И пусть в них будут стихи.

— Стихи?..

— Да! Про любовь. Записывай адрес.

За летние каникулы — из похода под парусами, с дачи — Константин Пчелкин написал Лене Макаровой восемнадцать писем. В них постоянно было одно: «Я люблю тебя! Я люблю тебя... Я люблю тебя... Моя жизнь принадлежит тебе». На эти письма он не получил ни одного ответа.

...Такси проехало под сумрачной аркой, и первое, что увидел Костя в своем дворе, была старая липа: она встречала, приветствовала его — двигалась под ветром зеленая густая крона, в которую были вкраплены первые желтые листья; открыв дверцу машины, Костя услышал шелест листьев, азартное воробьиное чириканье, и все эти звуки слились в одно: «Лена! Лена! Лена...»

Они поднимались в лифте, ему что-то говорили родители, он, кажется, отвечал, но думал о другом: «А вдруг ее нет дома? Что если она еще не вернулась из деревни, и я ее не увижу...»

Как только открылась дверь, Костя бросил в передней баул, ринулся в большую комнату к телефону.

Лариса Петровна и Виталий Захарович молча смотрели на сына. Потом Виталий Захарович осторожно закрыл дверь, и Костя остался один.

Телефонный аппарат был покрыт тонким слоем пыли. Костя сразу не смог набрать номер, будто неведомая сила удерживала его, он написал пальцем на желтом корпусе: «Лена», — наконец, чувствуя, как учащенно начинает биться сердце, стал набирать номер ее телефона и, странно, эти семь цифр, пока вращался диск, светились в его сознании раскаленными красными знаками.

Длинные долгие гудки. Там, в ее квартире, к телефону никто не подходил.

«Неужели ее нет?..»

Щелкнуло, кто-то взял трубку, совсем рядом Костя услышал легкое дыхание.

— Да? — спросила она.

— Лена? — Костя задохнулся и больше не мог произнести ни слова.

— Кто это?

— Лена, это я...

— Пчелка! — Радость, радость прозвучала в ее голосе. Неподдельная радость! — Как хорошо, что ты позвонил! А то я уже собиралась уходить.

— Куда?

— К Соньке. Есть у меня подружка по училищу. Хотели вместе идти. Ты свободен?

— Да, Лена.

— Слушай! Сегодня в «Красном пролетарии» открытие сезона в дискотеке. Я звонила. Там у меня механик знакомый. Новых кассет полно. Вот натанцуемся! Пошли?

— Конечно! Когда?

— Через четверть часа я тебя жду под липой. Начало в восемь, пока доберемся...

— Хорошо, Лена, — перебил он. — Я только переоденусь.

...Он пришел под старую липу раньше Лены. У самого ствола — древнего, темного, в порезах и трещинах — стояли два пустых ящика из-под венгерских яблок. Один из них был застелен газетой, Костя прочитал название статьи: «Нет дыма без огня», — и сел на эту статью.

— «Нет дыма без огня», — повторил он почему-то, и тяжкое ожидание неминуемого, страшного, всесокрушающего, которое случится сейчас, через несколько минут, через несколько мгновений, обрушилось на него. — «Нет дыма без огня...»

— Привет! — сказала Лена.

Костя вскочил, и теперь они стояли друг против друга. Лена была в белой короткой куртке, на открытой шее поблескивала золотая тонкая цепочка, и Костя невольно задержал на ней взгляд. Лена заметила это, улыбнулась:

— Нравится? Подарок маман. Ведь мне девятнадцатого августа исполнилось семнадцать лет. Что с тобой, Пчелка?

— Со мной все в порядке.

— Почему ты на меня так смотришь?
 — Я смотрю на тебя обыкновенно.
 — Ты загорел. И вообще...
 — Что вообще?
 — Я не знаю. Изменился. И худой какой-то. Ты здоров?

— Здоров. Лена, я...
 — Пчелка! — Она легко тронула его за руку. — Ведь мы можем опоздать. Пошли?

Кончался август, но осень совсем не ощущалась в Москве: было тепло, даже душно. Наступал уже вечер, уставшее за лето солнце ушло за крыши, зажигались первые огни. Улица была полна движения, пахла фруктами и бензином. На углах продавали цветы, полосатые астраханские арбузы. Люди шли еще в летних одеждах. Но ведь все это обманчиво, правда? Где-то рядом притаилась осень, и через несколько дней, — начало учебного года, здравствуй, десятый класс!..

— Ты почему молчишь, Пчелка?

«Я люблю тебя! Я люблю тебя...»

— Это ты молчишь.

— Мы оба молчим.

«Скажи, что мне сделать для тебя? Скажи: «Умри». И я умру. Хочешь, брошусь под этот автобус?»

— Почему ты не отвечаешь на мои письма?

Они остановились у перекрестка. Перед ними лежал широкий проспект, и сейчас по нему с ревом катил поток машин, а на той стороне проспекта предвещающе горел красный глаз светофора.

— Ты так много их написал, Пчелка... Потом... Чудные какие-то письма. Если честно, я половину не поняла, чего ты в них написал. И не знала, как отвечать. — Лена посмотрела на Костю. — Пчелка! В общем, мне все это до фени. А не отвечала... Не люблю я писать письма. Получать их — другое дело. А писать — про что? Как в нашей скучной деревне идет дождь?

— Неужели тебе совсем нечего...

— Подожди, Пчелка. — Лена вдруг взяла Костю за руку, став серьезной и замкнутой, в ее взгляде он прочитал все — и улица, машины, люди, огни поплыли перед ним в пестром крутящемся хороводе. — Послушай... Я тебе скажу, и все станет понятным. Там, в деревне, я получила письмо от Мушки. Одно-единственное... Ведь он в армии, служит. Господи! Да не смотри же на меня так! Я буду его ждать, Пчелка. Потому что я... Ну, ты понимаешь... Ой, смотри, давно зеленый свет! — Лена выпустила Костину руку и ринулась к переходу.

Костя стоял на месте, и пестрый, яркий, праздничный хоровод кружился перед ним: машины, люди, огни, небо, окна. Все быстрее, быстрее, быстрее!..

Лена успела пробежать только половину проспекта — впереди светофор, коротко полыхнув желтым, зажег красный глаз, и тотчас два потока встречных машин, взревев моторами, окутавшись серыми облаками, ринулись по гладкому асфальту, шурша шинами.

Лена оглянулась — Костя стоял на краю тротуара и смотрел на нее.

Лена помахала ему рукой: «Чего же ты? Иди!» Костя, не двигаясь, смотрел на нее.

Лавина стремительных, могучих, бездушных машин разделяла их.

И разлучала их — навсегда, навсегда, навсегда...



Поэзия



ЕВГЕНИЙ
ЮШИН

☆☆☆

Люди на трассе особого склада.
 Черный, вон тот, коренной сибиряк,
 Вкалывать любит не за оплату,
 Но уж, конечно, и не за так.
 Деньги... Да что ему сотни в кармане!
 Бате снова, мамаше платок.
 А остальные он в ресторане
 Спустит под сигаретный дымок.
 Деньги — и пусть.
 Не дрожать же над ними,
 Не экономить же, как в городах:
 «Зайцы», а будто бы с проездными,
 Едут с улыбочками на губах.
 Купишь машину, а счастье не купишь.
 Так вот однажды сочтешь свою медь:
 Жизнь тебе сунет увесистый кукиш
 И позовет желтозубую смерть.
 Сдвинутся стены больничной палаты,
 Стихнет последняя в жизни заря.
 И не купить за любую зарплату
 Чувство, что прожита жизнь не зря.

Педагогическая практика

Передо мной чистовики
 Ребячьих сочинений.
 Передо мной ученики —
 Глаза полны волнений.
 У них слаба еще строка,
 В словах не много веса.
 Мальчишки — летчики пока.
 Девчонки — стюардессы.
 Вот Колька — парень-кипятик,
 Главарь других мальчишек.
 Ошибок столько, сколько строк!
 Но как прекрасно пишет!
 Рубаха-парень, ротозей,
 Отчаянный заноза.
 Есть сто врагов и сто друзей
 И тысяча вопросов!
 А вот Наташина тетрадь.
 Строка покоем дышит.
 Ошибок нету — благодать!
 И хочет трактористом стать.
 Да ведь неправду пишет!



ТАНЗИЛЯ ЗУМАКУЛОВА

В трудный час

В единый миг разрушился мой дом,—
Тот дом, где я всю жизнь прожить хотела...
Надежда рухнула, и улетела
Мечта, меня дарившая теплом.
В холодном мире я одна стою,
Совсем одна, со всей своей любовью.
А дождик льет... Исходит сердце кровью...
Что это! Дождь!.. Не я ли слезы лью!..
О, если б каплей стать в туманной мгле,
Исчезнуть, слиться, проникая в землю!
Но нет! Земля мольбе моей не внимлет,
Я не нужна сегодня и земле!
Израненное сердце так болит,
Ведь у меня оно не из металла!..
Но, может, я чрезмерного желала,
Пытаясь ускользнуть от всех обид!
Чрезмерна в чувствах я всегда была,
Жалела тех, кого не надо, вдвое.
Мне в мире было близко все живое,
Всех мне хотелось оградить от зла.
Весной оплакивала хрупкий лед,
Он становился с каждым днем бесплотней...
Под осень листья облетят вот-вот...
Но, может, статься, все они сегодня,
Ну да — они! Кому же, кроме них!..
Меня удерживают в мире этом:
Мол, поживи меж листьев золотых,
Со всеми вместе подыши рассветом,
Чтоб снова плакать... А поплавав, петь...
...Вот только бы мне боль перетерпеть!

Хмельная любовь

О, хмельная любовь!
Ты, что застишь глаза ясновидцу,
Трезвый разум премудрых
туманишь магическим сном!
Ты откуда взялась!..
Как смогла ты у нас появиться!
Что за свет возжигаешь!..
Каким опьяняешь вином!
Ты, что сильных и слабых
нежданно равняешь в безволье,
Из каких ты миров
принесла мне блаженную весть!
В чем же чары твои,
что способна ты радовать болью!
Разве это не чудо,
что ты у нас все-таки есть!..
Не забудет тебя, кто хоть раз
твою чашу пригубил,

Ощутил твою силу и крови почувал игру...
Я пила этот яд.
Заглянула в бездонные глубины,
Я пьянела от счастья
на чудо-пиру.
И на этом пиру
я забыла про все неудачи,
Точно влаги хлебнула
из горных прозрачных ключей...
Я людей одаряла добром.
Я была всех богаче,
Смельчаков всех смелее.
Смелее любых силачей.
О, хмельная любовь!
Не такая ты легкая ноша!
Ты жестокой рукою
мне сердце теснила в груди.
В пропасть, в бездну толкала...
Грозилась: «Сейчас тебя сброшу!»
В уши властно шептала:
— Шагни!.. Поскользнись!.. Упав!
Ты меня погружала в соленое море
страданий...
Сколько пролито слез!..
Сколько тяжких обид!.. И не счесть!..
Но могли бы мы жить,
если б ты нас не мучила, ранила!..
О, как счастлива я,
что ты есть, что ты все-таки есть!..



С небес покатится звезда,
Сверкнув голубиной.
Скажи: «Она была всегда
Моей звездой земной —
Та женщина в чужом краю,
Та, что, сгорев дотла,
Вложила душу в песнь свою
И навсегда ушла...»
...Когда и вправду я смогу
Оставить мир тревог,
Там, на дунайском берегу,
Ты отыщи цветок.
Немало роз не遠далеке
Раскрыли в ночь глаза.
Найди такую, в чьем зрачке
Росой блестит слеза,
Что всех грустней, что всех нежней
Глядит в глаза твои...
Найди ее! Склонись над ней!
Губами к ней прильни!
— Да, это я! Да, это я...
Сквозь муки, сквозь запрет
Пробилась из небытия
К тебе, на белый свет.
Нелегкий совершила путь,
Прорвалась из оков,
Чтоб ты губами смог прильнуть
К прохладе лепестков.
Ты возразишь: — Не ты! Не ты!
Тебя из темноты
Я вызвал силою любви
И умолил: — Живи!
Чтоб, одолев запрет и страх,
Мы счастье все ж нашли,
Чтоб стала песней на устах
Влюбленных всей земли!

Перевела с балкарского
Ю. НЕЙМАН



**ВЛАДИМИР
СОКОЛОВ**

В коллце поэмы

То холодно, то жарко было мне,
Когда исчез герой моей поэмы.
Пошел за спичками — и был таков,
Когда наутро он не возвратился,
Я стал искать его по переулкам,
По улицам, где вместе мы шатались,
Где он рассказывал мне о себе,
Я шел сквозь грохот и сквозь тишину,
А иногда я проходил сквозь стены.
Не взламывая, двери открывал,
Что были на замке.

Но в тех квартирах,
Где я недавно вместе с ним бывал,
Его не находил.

Да и меня
Никто не замечал, когда входил я.
В Москве стояло лето. Я исчез
Из своего тогда пустого дома
Не на день, больше...

Вглядывался в лица.
И вдруг свернул с обычного пути,
Как будто знал, что надо заблудиться,
Чтобы его нечаянно найти.
Встал на углу.

Как будто угол зренья
Переменился.

И увидел то,
Чего не видел прежде.

Все дома
Иными выглядели,
а когда-то
Я здесь бывал.

Но эти флюгера...
Но эта необычная лепнина,
Но эти формы окон и карнизов...
Я их не видел прежде никогда.
Летели листья около воды
И оставляли в воздухе следы.
Проехал грузовик, груженный шоколадом,
Наверно, строят дом. Ведь протекает рядом
Молочная река в кисельных берегах...
Я рассказать хотел тому, кто был в бегах,
О том, что вижу. А я видел больше:
Со мною поздоровался внезапно
Совсем мне незнакомый человек.
Прошел знакомый, вовсе не ответив
На мой кивок. Он даже удивился.
Пожал плечами... Это повторялось
Не раз, не два... О, надо рассказать!

Я оглянулся. Может, он за мной!
Меня же ищет где-то за спиной,
Или вперед ушел. А я отстал.
Куда же он девался!

И неожиданно
Пришла догадка: я ведь очень мало
Рассказывал, делился с ним.

Все слушал.
А сам все скрытничал. И он ушел.
День вызывал меня на откровенность...
А было мне невыносимо грустно,
Что ускользала от меня поэма.
А может быть, еще и потому,
Что было мне то холодно, то жарко,
Пока бродил я в поисках героя
По переменным улицам Москвы,
Как в той игре, в которой что-то спрячут,
И если выпало тебе искать,
И если удаляешься от вещи,
То «холодно», «прохладно» — говорят,
А приближаешься — «тепло» и «жарко»!
Но я открыл секрет!

И в подтверждение
Вдруг промелькнуло в воздухе виденье:
Там, дома, наяву, средь бела дня,
Герой поэмы, плод воображенья,
Сидит.

Поэму пишет.
За меня.



Я записную книжку потерял.
А в книжке был серьезный материал.
Она весьма непрочною была,
Но в ней любовь за строчками жила.
...Что листопад в страничках насорил,
Что невпопад я сам наговорил.
Что ночь нашла. Что вьюга намела.
И телефонов чьих-то номера.
Там расплывались строчки от дождя,
За перегиб странички уходя.
Была и еретическая блажь,
Какая! — трудно вспомнить, но была ж.
И лист сухой, зеленый там шумел
Мне одному. Беззвучно. Как умел.
Забыл стихи. Забыл наметки тем.
И телефоны канули совсем.
Один я помню. Но не позволю.
Что я звоночком этим изменю!
Ведь жаль не книжки, а минувших жаль
Минут, суток. В том-то и печаль.
Сухого тополиного листа,
А не любви, что так была проста.
Жаль, что грущу, как признанный поэт,
Не о свиданьях, а о смене лет.
Жаль, что назвал все это — материал.
Что не нашел стихи, а потерял.



Но и с тобой я чувствую себя
Порою одиноко. Столько лет
Я прожил, облик тающий любя,
Которого и не было и нет.
Но чтобы таял образ, точно лед,
Он, видимо, сначала должен быть.
Он должен дни и ночи напролет
Тебе сопутствовать, тебя томить.

Но если этот образ — только лед,
 Но если этот образ — только снег,
 Ты для него, возможно, и не тот.
 Ведь ты живой, горячий человек.
 Мне хорошо. Ведь я тебя нашел.
 Мне было плохо, я тебя искал.
 Мне путь был легок, но он был тяжел,
 А я о том по младости не знал.
 И если я с полслова не пойму
 И промолчу, уйдя вперед иль вспять,
 К тому уединенью моему
 Прошу привыкнуть и не горевать,
 Что я порою чувствую себя
 Не на земле. Подумай, сколько лет
 Я прожил, облик тающий любя,
 Которого и не было и нет.
 Любимая, красивая, своя,
 В твоих надеждах кто-то ускользал.
 Скажи: и я извела, и я
 Все то, что ты мне только что сказал.

Март-апрель

Приближаются чудные вести
 О еще незнакомых путях.
 Ты колеблешься, точно созвездья
 В расцветающих южных ночах.
 А кругом уходящего снега
 Чуть запавшие в душу следы
 Уступают места для побега,
 Для расцвета и чистой воды.
 Я стою пред тобой в озареньи...
 И лицо твоё в отблесках дня
 Из куста нерасцветшей сирени
 Так цветуще глядит на меня.

☆☆☆

Ей снится крылатый стреноженный конь
 И нежная чья-то ладонь.
 И от этого сна пробудиться она
 Все не может, от этого сна.
 Ей снится лежащий у ног богатырь.
 И замок. И снег. И снегирь.
 И от этого сна пробудиться она
 Все не может, от этого сна.
 Ей снится турнир и бряцание лат.
 Перчатка. И брошенный взгляд.
 Но от этого сна пробудиться она
 Все не может, от этого сна.
 Но — и рыцарь и мальчик — один человек
 Улетел словно в будущий век,
 Потому что она пробудиться от сна,
 Все не может, от этого сна.

☆☆☆

Как будто нет других поэтов,
 Пишу, пишу, пишу. Зачем
 Быть прожигателем рассветов
 И сочинителем поэм!
 Сломав перо, бумагу скомкав —
 В ближайший лес за три версты
 Бегом от предков и потомков,
 От злобы дня и доброты!
 Но лишь заввижу лист зеленый
 Иль прошлогодним прошуршу,
 Опять пишу, как заведенный.
 Куда! Зачем! Кому! — Пишу!



**АЛЕКСАНДР
КУШНЕР**

Прогулки

А в Мойке, рядом с замком Инженерным,
 Мы донную увидели траву...

Итак, река, как все земные реки,
 Как Суйда или Оредеж, хотя
 С прекраснейшим из городов навеки
 Обручена, завися от дождя
 Не больше, чем от поручней чугунных,
 Опор гранитных, рослых фонарей.
 И все-таки в ее подводных струнах
 Натянутых — есть что-то от полей,
 Кустарника, лужаек, сенокоса.
 Парадная, она вам не канал!
 И склонна невзначай простоволосой,
 Неприбранной вбежать в дворцовый зал,
 Отдернуть штору, тенью бледнолицей
 Мелькнуть в окне, пропеть, прошелестеть...
 Так женщину, наверное, в царце
 Кому-нибудь случалось разглядеть.
 Любимая, что мы еще подметим!
 В какой заглянем двор, в каком саду
 Скамью найдем под липой, на две трети
 Облитой солнцем, прячась в темноту,
 Отбрасываемую нижним споем
 Густой листвы! Как сырость веселит,
 Попахивающая перегноем
 Культурной почвы, славы и обид —
 Трехвекового честного служенья
 Морскому ветру, музам и мечте
 Среди невзгод, обратного теченья
 И судорог, бегущих по воде!

И голову кладя мне на колени,
 Как вещь, едва ли что-нибудь с душой
 Имеющую общее, — мгновенье
 Лежишь, быть может, донною травой
 Себя в безвольно вытянутой позе
 Смирненно ощущая — ни тоски,
 Ни горечи, — и горести относит,
 И волосы, и холодит виски.

Ель

За то, что ель зимой зеленой быть умеет,
 За то, что все мертвы, — она одна жива
 И в зимнем холоде, когда душа немеет,
 Свои боярские вздымает рукава, —
 Так дышат падуги¹ на сцене и кулисы,
 В театре, помните, свой бродит ветерок, —

¹ В театре — часть убранства сцены.

Вечнозеленая, как лавр и кипарисы,
 Но тех, изнеженных, сиять поставил рок
 У моря синего на белом солнцепеке,
 За то, что ель зимой так чудно зелена,
 Люблю понурую, — опережая сроки,
 Твердит, что вечная нам предстоит весна.
 Твердит, что вечная... Рукою ветвь заденешь,
 Как будто частую погладишь бахромой.
 Люблю колючую, ей как-то больше веришь:
 Ведь если колетса, то лгать ей ни к чему.

☆☆☆

Погадай мне, скажу, по ладони.
 Это тополь на ней или клен!
 Ветвь судьбы, как ты бьешься и стынешь
 на фоне

Темных вихрей и грозных времен!
 Мы в сады забредаем большие,
 Где клубятся вверх, обнявшись,
 Влажнолистые шумные кроны густые,
 Лист на лист, ветвь на ветвь, жизнь на жизнь.
 Что-то чудится в смутном узоре,
 Что-то в линиях можно прочесть...
 Это жизнь, это путь, это тайное горе,
 Это, может быть, ветхая честь.
 Разве сад за себя отвечает,
 Разве смотрится в завтрашний день!
 Без садовника все это глохнет, дичает, —
 Шум, и шорох, и солнце, и тень.
 Сколько я проживу еще — разве я знаю!
 На земле после бури лежат
 Ветви тополя, как обложку я их с краю,
 Как прикован к их гибели взгляд!
 Или веточка эта с помятой листвою
 Приобщится к нетленной листве,
 Что шумит за полуночной мглой
 В незакатной, родной синеве!

☆☆☆

По рощам блаженных,
 По влажным зеленым холмам.
 За милою тенью, тебя поджидающей там.
 Прекрасную руку сжимая в своей что есть сил.
 Ах, с самого детства никто тебя так не водил!
 По рощам блаженных, по волнообразным,
 пустым,

Расчесанным травам —
 Лишь в детстве ступал по таким!
 Никто не стрижет, не сажает их — сами растут.
 За милою тенью. «Куда мы!» —
 — «Не бойся. Нас ждут».

Монре́й или Кембридж!
 Кому что припомнить дано.
 Я охну, я всхлипну, я вспомню деревню
 Межно,
 Куда с детским садом в три года меня
 привезли, —
 С тех пор я не видел нежней и блаженней
 земли.

По рощам блаженных,
 Предчувствуя жизнь впереди
 Таковую родную, как эти грибные дожди,
 Таковую большую — не меньше, чем та,
 что была.
 И мята, и мед, и, наверное, горе, и мгла.

☆☆☆

Как можно на лилию долго смотреть,
 любоваться
 Ее белизной, если так непосильна борьба.
 И тянет поток, и беспамятству влажного
 глянца

Так сладко предаться и прядку откинуть
 со лба!
 И лечь на диван... пусть шныряют жуки
 водяные
 И рябь наплывает, и тело, в сплошных
 пузырях,
 Лежит, погружаясь в слепые слои слюдяные,
 Купается в солнце, в плывущих гурьбой
 облаках.

И все это несколько раз нам поведано было
 В любимых стихах; на корягу наткнулась и
 в сеть

Попала рыбацью; так сильно при жизни
 знобило —
 Теперь отпустило; как можно так долго
 смотреть!

Как можно на лилию долго смотреть!
 Ты лежала
 Так тихо, как если бы что-то хотела забыть,
 Вот-вот уплывешь, уплыла бы, когда б не
 держала
 Последняя, тайная, тонкая, темная нить.

☆☆☆

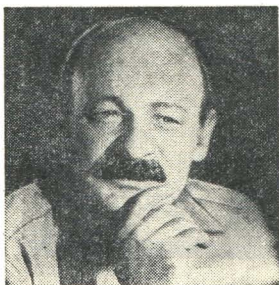
Обещаю тебе,
 Что твой след на прибрежном песке,
 Утрамбованном, крупнозернистом,
 Смытый хищной волной,
 Что боролась в звериной тоске
 С отпечатком ребристым,
 Обещаю тебе, что, мгновенный, останется он
 С черной ракушкой вдавленным
 В эту хрустящую массу.
 Оглянись: даже сон,
 Если помним его, нерушим и подобен алмазу,
 Обещаю тебе, что для вечности большего нет
 Удовольствия, чем сохранить
 мотылька-однодневку,

Или залитый волнами след,
 Иль истлевший клочок,
 В прежней жизни приколотый к деревку,
 Обещаю тебе, что не канет ничто, не пройдет,
 А еще есть бумага, чернила,
 Обещаю тебе этот берег, громоздкий полет
 Низких туч, и песок...
 Слепок сделан, и форма застыла.

Флейтист

Откуда родом бронзовый флейтист!
 Мне флейты родниковой снится голос.
 Не с Крита ли, который так дуплист
 И вытянут! Эвбея, Скирос, Родос...
 Он голову чуть набок наклонил.
 Он видит, что и звезды звуку рады.
 Он думает: кто в море накрошил,
 Как в миску с супом, черствые Споряды!¹
 Других вопросов он не задает.
 Кто флейту изобрел, ему известно.
 Упала к нам с озвученных высот —
 Теперь на ней играют повсеместно.
 Кинь что-нибудь — мы подберем с земли
 И к надобностям смертным приспособим.
 Он ерзает, и руки затекли,
 И холодно, и смотрит исподлобья.
 Но, выщербленный, он не видит нас.
 За скважистыми, как скала, веками.
 А палец в круглой дырочке увяз,
 И жизнь согрета теплыми губами.

¹ Острова в Эгейском море.



ЛЕОНИД ЗАВАЛЬНЮК

☆☆☆

Я в детстве аиста поймал.
Убил его и съел.
И двести лет после того
На небо не смотрел.
— Так прямо, двести!
— Двести, брат.
Ведь вспомни, сделай милость:
Тысячелетняя война
Четыре года длилась.

☆☆☆

На пустом берегу
Одинокий дымится костер...
Я в душе берегу
Столько разных забытых земель,
Что когда б я до звезд
Свои жалкие руки простер,
И тогда бы их всех
В этой жизни обнять не сумел.

На пустом берегу
Одинокий костер догорел.
Через годы летит
Его тихий негаснущий свет.
Есть в Сицилии, скажем,
То ли дуб, то ли вяз на горе...
Подзапуталась нить,
Но она не оборвана, нет.

Кто мне силы дает!
Мне даятелей добрых не счесть.
Хорошо б сквозь меня
И друг в друга входили они,
Чтоб однажды душа моя
Получила нездешнюю весть:
— Вот мы вместе. Мы рядом стоим.
Подойди. Подойди, обними!

Старушки

Душа души моей, больные старики!
В полиартритах ваши кулаки.
Последней ниткой связаны со светом,
Как вы нужны мне здесь, на свете этом,
На берегу таинственной реки.
Деревья ностальгических пород,
В бровях клокастых,
В пакле выцветших бород,
Вы так близки мне, так я вами занят,
Когда тоска моя из тела выползает
И бренность жизни переходит в брод.

Душа души моей, больные старики!
Щедры пустые ваши кошельки.
Они б еще наполнились, но поздно...
В преддверье постиженья вечных тайн
Кончается игра. Звучит гудок финала.
Как жалко мы живем, как мизерно, как малс!
Повремени, судьба. Продлись!..
И слышится устало:
— Конец. Конец! Прощайся, отвыкай.

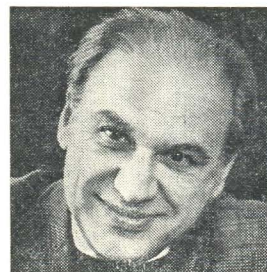
Поезд в детство

И поезд хороший, и мы неплохие.
За окнами Орша, а может быть, Киев.
За окнами детство старинного друга.
За окнами девушки — майская вьюга.
Одна его знала, когда он был фатом,
Другая считала троюродным братом,
А третьей дарил он большие букеты.
Вокзалы, вокзалы... В вокзалах буфеты.
У девушек дети, у девушек внуки...
А мы на диете, а мы по науке,
А мы молодые и стройные оба.
...Навес над перроном, как крышка у гроба.
Дорога возврата печалью чревата:
В троюродном старце узнаешь ли брата!
Какая обида, какое старенье!
Скорее обратно, за память скорее,
За шторы, за жалюзи от горькой разрухи,
От жалящей жалости, от жабы-старухи...
Она мне рукою все делает знаки.
Неужто с тобою мы бегали в маки —
В то красное поле, что кровью кропило!..
Уносится поезд, — крапива, крапива...
Уносится поезд, икают колеса,
И голос несется: — Алеша! Алеша!..
Уносится поезд, — крапива, крапива...
О если б судьба мои дни сократила,
Чтоб дать их кому-то в букете весеннем!
Куда же мы едем! В обратный мы сели!
А может быть, просто все рельсы по кругу!
И снова я вижу перрон и подругу.
Перо в ее шляпке березою стало...
— Какой же ты старый...
— Какая ты старая...
А поезд со свистом по солнцу, по темени.
Над буфером виснут две тающих тени.
А поезд каленый, лиловые колеса...
Алена, Алена!..
Алеша, Алеша!..

☆☆☆

Перенесу бывшее в эти дни.
Избушку на болоте и огни,
Что тихо в ней мерцали по ночам,
И цапель, и шутиху, и топчан,
И черный чайник с крышкой на цепи,
И след случайный путника в степи...
Метет метель. Ковыль прибит к земле.
Огонь из искры выдую в золе,
Перенесу бывшее в ваши дни.
Вот здесь я жил... И здесь я жил — взгляни.
У этой цапли я украд перо.
И этот свет, как уголь в цанге, черн.
А медный чайник пал на тот перрон,
Где всяк на муку детства обречен.
...Была бомбежка, и дитя-старик
Лежал убит, а думал, что стоит,
Грозя в то небо синим кулаком,

Что день ревуший выбил каблуком...
 Перенесу бывшее в ваши дни.
 Вот здесь убит я... И вот здесь — взгляни.
 Когда сквозь вас я в прошлое гляжу,
 Я на свои могилы прихожу.
 Живущий в третий,
 В пятый,
 В сотый раз,
 Всего лишь на войну я старше вас —
 На ту войну, что длилась столько лет,
 Что им ни счета, ни забвенья нет.



**ДМИТРИЙ
СУХАРЕВ**

☆☆☆

Когда моею песней станет синева,
 Она прикажет мне:
 — Ступай, старик, в природу.
 Ты где-то воду потерял!
 — Да, да... Кусты и воду,
 Осоку, поезд, видимый едва,
 К волне пристывший самодельный поплавок,
 Смешное ожиданье парохода
 И странный страх...
 — Страх!
 — Да.
 — Ну, страх ты не найдешь —
 Его там больше нет.
 Он боль, а не природа.
 Он предвкушение тех каторжных дорог.
 Что, слава богу, позади,
 Так что ступай спокойно...

Спокойно. Да...
 Качается вода
 Такая же. И вовсе не такая.
 Как в те невозвратимые года,
 Где ждал я чуда-парохода от пруда
 И с озаренным страхом плакал,
 Привыкая
 К тому, что я живу...

☆☆☆

А что там, а что там, а что там —
 За первым, вторым поворотом,
 За третьим, за пятым, за страшным!..
 Ой, травы-муравы, держите,—
 Уводит бессонница-жажда
 Из дома, из доли, из жизни.
 Уводит бессонница духа
 На голос блуждающей воли.
 — Куда ты, надежда-старуха!
 — Туда, где не меряно поле,
 Туда, где не резаны межи,
 Туда, где не сеяны злаки,
 Туда, где прищурилась нежность
 На новое солнце во мраке.
 Не греет вчерашняя песня,
 Не тешит привычная близость,
 Негоже в пустом поднебесье
 Погасшие звезды облизывать.
 К живому, к живому, к живому!
 Пускай оно жизни не дарит,—
 Где новая правда возможна,
 Там старая правда задавит.
 — О, жажда, какого ты звания!
 И чьим ты восходом алеешь!
 — Я новый инстинкт выживания,
 Я вечный инстинкт выживания.
 Прислушайся — не пожалеешь!

Голос птицы

Пир удался, но ближе к утру
 Стало ясно, что я не умру,
 И умолкла воронья капелла;
 И душа задремала без сил,
 А потом ее звук воскресил —
 То балканская горлинка пела.

Я очнулся; был чудно знаком
 Голос птицы с его говорком,
 С бормотаньем нелепых вопросов;
 И печаль не была тяжела,
 И заря желторота была,
 И постели был краешек розов.

Там, в постели, поближе к окну,
 Дочь спала и была на жену
 Так похожа, что если б у двери
 Не спала, раскрасневшись, жена,
 Я б подумал, что это она,
 А подумал: не дочери две ли!

Пировалось всю ночь воронью,
 Воронье истязало мою
 Небессмертную, рваную душу,
 И душа походила на пса,
 Что попал под удар колеса
 И лежит потрохами наружу.

Но возникли к утру на земле
 Голос птицы, тетрадь на столе
 И строка на своем полуслове,
 И на девочке розовый свет,
 И болезни младенческой след —
 Шрамик, оспинка около брови.

Этот мир был моим — и знаком
 Не деталью, а весь целиком
 И лепился любовью и болью,
 И балканская птица была
 Туркестанской — и оба крыла
 Все пыталась поднять над собою.



В Брянской области пески —
Это просто дар природы,
Так сыпучи, так легки!
Там стекольные заводы
С незапамятных времен
Понатыканы по дебрям.
На песочке мы вздремнем,
А комарика потерпим.

Вспомним, коли станет сил,
Про житее свое в Бытоши,
Там июль баклуши бил
Да и мы с тобою тоже.
Это после началось —
Самолеты, свистопляска,
В Брянской области жилось
Без амбиций и без лязга.

Оттого-то и беда,
Что того песочку нету.
Может, сызнава туда
Завернем поближе к лету!
Вдруг да снова впереди
Глянет в стеклышко везуха!
В Брянской области дожди
Убегут в песок — и сухо.

Подражание Есенину

Гульзира, твое имя — цветок,
И, Востока традицию чтущий,
Я твой черный тугой завиток
Зарифмую с зирою цветущей.

Но узнать бы сначала пора,
Как цветет на Востоке зира.

Я исчислю цветок по плоду,
В семена ароматные вникну
И к такому ответу приду,
От которого горько поникну.

Гульзира, разве ведаешь ты,
Как печалят порою цветы!

Убежав от гудения пчел,
Я забыл про былую удачу,
И пустыню цветам предпочел,
И пустые глаза свои прячу,

Ибо горечью жжет, Гульзира,
То, что сладостью было вчера.

Гульзира, твои речи просты,
И от плеч твоих пахнет зирою.
Как горчат, как печалят порою
Эти запахи, эти цветы!

Дай лицо свое снова зарюю
В эти запахи, эти цветы.

Оттого, что я с севера, что ли!..

Коля

В простодушном царстве Коли Старшинова
Проживают цапля, щука и корова.

За боркун, что Коля подарил под пасху,
Нацеди, буренка, молочка подпаску!

Колю звать к обеду, цапля, носом стукай!
А вести беседу станет он со щукой.

Щука все-то знает, там и сям служила,
У нее на зависть станова я жила.

И у Коли тоже ни усов, ни жира,
Потроха да кожа да струною — жила.

А лихие гости к совершеннолетию
Перебили кости пулеметной плетью!

Не его ли, Колю, все равно что плетью,
Садануло болью к тридцатитрехлетию!

Он живет неслабо, точно нету смерти,
Не страшны ни бабы, ни враги, ни черти.

Над рекой избенка — деревца живые.
На дворе буренка — боркунок на вые.

Во саду ли щука надрыкает глотку.
На ходулях цапля лихо бьет чечетку —

Под щукины частушки пляшет.



Не то, что мнится мне,
Природа, ну и ладно!
Моя в моем окне
Пригожа и нарядна.

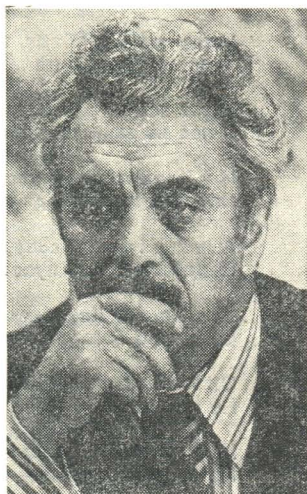
Ее рассудок здрав
(Хоть он, конечно, мним),
И крут порою нрав,
Но я ужился с ним.

С волной совмещена
Корпускула-частица —
И пусть! А мне волна
Совсем иною мнится.

И то, что о волне
У моря слышу я,
Куда важнее мне
Ученого вранья.

Так чем же хороша
Она, моя природа?
А тем, что в ней душа,
И тем, что в ней свобода.

Что все это вранье,
Я чую за версту,
Но — мнимую — ее
Немнимой предпочту.



ФАРМАН САЛМАНОВ,

Герой Социалистического Труда,
лауреат Ленинской премии,
начальник Главтюменьгеологии

ИСКАТЕЛИ И ИСПЫТАТЕЛИ

*Возвести ли гигантскую плотину ГЭС в устье Оби
и обречь на затопление огромные пространства,
изменив тем самым и географию, и климат,
и сложившуюся хозяйственную структуру
всего Среднего и Верхнего Приобья?*

*Судьба целого региона решалась, в сущности,
успехом или неудачей геологов в их поиске
и оценке нефтяных его месторождений.*

*И они сказали свое последнее, определяющее слово,
решившее многолетний спор.*

*Об этом и рассказывается
в очередной нашей публикации
документальной повести
известного геолога*

*Героя Социалистического Труда,
лауреата Ленинской премии Фармана Салманова.*

Легкий гусеничный тягач пробирался к «нефтяному острову» по льду. Первый секретарь Тюменского обкома партии Борис Евдокимович Щербина глядел на скованные морозцем деревья, заиндевелые бодяки низинных трав, морщился от изматывающей тряски.

Борис Евдокимович впервые прибыл в Сургут и сразу после совещания в райкоме решил добраться до скважины — первооткрывательницы Усть-Балыкского нефтяного месторождения. Мы с первым секретарем Сургутского райкома Василием Васильевичем Бахилловым чувствовали неловкость оттого, что наши транспортные возможности ограничены. Но Бориса Евдокимовича это не смущало:

— Тягач, говорите? Годится.

...Осыпанная огнями буровая вышка замаячила впереди. Издалека конструкция казалась невесомой, лишь низ ее был отяжелен спитым внахлест горбылем — для защиты от ветров.

Мы расположились возле «парадного» входа вышки на дощатом помосте. Отсюда, как с обзорной площадки, хорошо была видна излучка Юганской Оби, отливающая расплавленным оловом. Когда рабочие открыли задвижку, сразу «запел» газ, вырвавшийся из горловины трубы. Сила звучания все нарастала. Мерзлые доски стеллажей ходили ходуном — это передалась дрожь земли. Когда нагрузка показалась предельной, один из рабочих поджег пропитанную соляром ветошь, укрепленную на проволоке, и, раскрутив факел, выпустил огненную «пращу». Прорезав густую синеву, уже на излете, она соприкоснулась с напорной струей. И тут, словно в финале циркового вомера, последовала мгновенная побежка огня, прозвучал взрыв, и окрестность озарило медовой сочности пламя с фиолетовым свечением у корней. Обданные жаркой волной, мы одновременно почувствовали озноб восторга. Свивы грязно-серого дыма, сквозь который особенно ярко высвечивались золотые полосы чистейшего пламени, походили на грязную кошму. Так продолжалось около получаса. Борис Евдокимович видел нефтяной выброс такой силы впервые. Его впечатление было куда острее нашего. Он долго смотрел в расцветенный заревом полукруг, на бегучие, причудливо переплетающиеся и расходящиеся тени. Потом перевел взгляд на Бахилова, в стеклах очков которого трепетали отблески, и, напрягая голос, чтобы перекрыть гул, произнес:

— Перед такой силищей не стыдно и шапку снять.

И действительно сдернул шапку.

...Несколько энергичных поворотов штурвала — и на наших глазах огненное облако стало менее полнокровным, ужалось совсем и вдруг нырнуло в горло трубы. Темень сразу навалилась на берег, особенно глухая после пиршества звуков и красок. Борис Евдокимович спросил:

— Не снижается ли суточный дебит скважины после каждого запуска?

Это опасение часто высказывали противники тюменской нефти, чтобы хоть как-то укрепить свои распатанные позиции.

— Существенного уменьшения не наблюдалось, — заметил я торопливо. — Впрочем, для полной гарантии требуется три месяца непрерывной отработки. Но жалко сжигать такое количество нефти. Вот и «будим» скважину только на полчаса.

Щербина что-то прикинул.

— Значит, разговоры о том, что нефть быстро иссякает, — досужая выдумка? — спросил он. — Хорошо бы получить фонтан тонн, скажем, на тысячу. Он вразумил бы противников тюменской нефти.

— Нас не так уж беспокоят тысячи, — постарался просветить Щербину один из присутствующих. — Геологам важнее площадь залежей, мощность пласта... Это определяет запасы.

— А что, коэффициент нефтеотдачи — дело десятое?

Геолог смутился. Борис Евдокимович был прав. Он вовсе не был новичком в нефтяной геологии. Еще в Иркутске, где Борис Евдокимович работал секретарем обкома партии, ему часто приходилось общаться с нефтеразведчиками. И он без труда вникал в доступные, казалось бы, только специалистам проблемы, поражая нас эрудицией, глубиной познаний, масштабностью мышления. В дальнейшем повествовании я еще не раз расскажу об этой яркой личности, о делах, которые мы делали под его руководством.

Вскоре после визита Бориса Евдокимовича в Сургут прибыла специальная комиссия Совета производственных сил при Госплане СССР. Кают-компания нашего катера «Баку» оказалась тесной для гостей. Но отличная погода вовсе не вынуждала спускаться вниз с палубы. Комиссию по поручению областного комитета партии сопровождал директор Тюменского филиала Института геологии и минерального сырья Геннадий Павлович Богомяков. Пока члены комиссии любовались рекой, представшей во всем блеске полноводья, Геннадий Павлович излагал причины столь представительного сбора. Речь шла о проекте гидростанции в дельте Оби на Полярном круге. Богомяков рассказал, что Тюменский обком КПСС был против реализации проекта. Причем позиция обкома опиралась не только на доводы руководителей традиционных тюменских отраслей — самым веским аргументом оказались выкладки геологов. Геннадий Павлович и сам был ученым-геологом, недавно возглавившим только что организованный филиал Новосибирского института, этот первый пост сибирской нефтяной науки на тюменской земле. Не случайно именно ему поручили столь ответственную миссию.

Наш «Баку» поравнялся со встречным рейсовым пароходом; пассажиры со второй его палубы поглядывали на нас свысока. Знали бы сибиряки, что группа людей на борту катера решает: быть или не быть на великой реке привычному пейзажу? Что от нас зависит, останется ли вскоре этот удивительный безлесый островок посреди реки и небольшая деревенька на пологом ее берегу или назначено им скрыться под слоями воды, как и сотням других.

Самый молодой из членов комиссии пристально посмотрел на меня, словно пытаясь проникнуть

в мои мысли. Наконец произнес без особого подъема:

— Сибирская Амазонка, не правда ли?

Я утвердительно кивнул. Сравнение достаточно верно: бассейн Оби с многочисленными притоками имеет самую большую площадь в стране.

— Три миллиона квадратных километров, — напомнил новый знакомый. — По полноводности Обь уступает лишь Енисею и Лене. И такую прорву воды уносит в океан без особой пользы.

— Отчего же? Река кормит. Для многих она единственная дорога. — Я показал на удаляющийся пароход. — И потом...

— Только не говорите красивых банальностей! — предупредил меня молодой ученый. — Эмоции идут в ход, когда исчерпаны стоящие аргументы. Разве вы сейчас думаете о рыбе, которая лишится нерестилищ, о лесе, затопленном на корню? Нет ведь?

Он пытливо заглянул мне в глаза.

— Единственное, что нас реально тревожит, — это затопление площадей, где надо вести разведку. Так?

— Нас это коснется вплотную, — согласился я. — Но...

— И никаких но... — опередил меня собеседник. — А лесорубам, смею уверить, это безразлично. Им бы свой план выполнять. Думаете, речникам наши проблемы дороги? Или рыбакам? Эти прямо заинтересованы, чтобы нефтью не пахло. Так что круговой обороны не получается...

Он вцепился обеими руками в перила и произнес с неожиданным пафосом:

— Поймите, использовать напор столь колоссального стока необходимо. Плотины — глобальный переворот в экономике края. Это стерильная энергия, это наш заслон природной расточительности. И какой заслон! По этой станции будут судить о возможностях страны. Оторвитесь наконец от конкретности, измените масштаб мышления...

Он явно был раздосадован активным сопротивлением тюменцев.

— Геологи шумят больше всех. А зачем? На зальных землях можно вести разведку с насыпных островов или земляных эстакад. Вспомните ваш родной Азербайджан! Представьте себе новые Нефтяные Камни!

Мне еще в студенческие годы доводилось бывать на морских промыслах на сваях. Но ведь у поисковиков своя специфика: надо все время кочевать, перемещаться. Строить под каждую буровую свой остров?

На этот раз мне пришлось оставить без ответа выпад оппонента. Наш разговор прервал профессор А. Е. Прост, заведующий отделом топливных ресурсов Госплана СССР.

— Позвольте поинтересоваться ближайшими возможностями вашей экспедиции, — с несколько старомодной вежливостью обратился он ко мне. Я стал подробно излагать состояние дел. И снова пригодился всегда висевший на боку офицерский планшет, в котором хранилась карта.

Для Проста не являлись секретом расхождения в оценках топливных ресурсов Западной Сибири. В секторах Госплана уже был рассмотрен доку-

мент, составленный группой научных работников под руководством Николая Никитича Ростовцева. В нем назывались возможные цифры добычи на основе расчетов ученых. Если бы эти цифры стали ориентирами для планирующих организаций, нецелесообразность затопления земель Тюменской области обнаружилась бы уже тогда. Но некоторые производственники-геологи послали вдогонку свою прогнозную оценку, которая в тридцать раз снижала перспективы и уровень возможной добычи. Такое расхождение, конечно, насторожило тех, кому было поручено «верстать» задания отраслям.

Создание филиала геологического института в Тюмени позволяло ученым утверждать свою стратегическую линию. Геннадий Павлович Богомяков оказался в самой гуще конфликтов. Помню, как в кабинете директора филиала однажды вспыхнул спор о перспективах нефтедобычи области. Производственники обвиняли ученых. Снова зазвучали упреки науке, пытающейся «объять необъятное» вместо выдачи конкретных рекомендаций. Поисковики, как обычно, утверждали, что за цифрами прогнозов ничего не стоит, кроме вольных предположений.

Погасил конфликт Геннадий Павлович достаточно просто. Он достал из стола чистые листы бумаги и предложил ученым и практикам расписаться под «своим прогнозом», невозмутимо пояснив, что положит конверт в сейф и вскроет его только через десять лет. Как ни странно, от проверки временем отказались именно те, кто называл минимальные величины и всячески «играл на понижении». Зато с готовностью согласились на испытание «максималисты». Для меня открылась еще одна особенность молодого организатора и ученого — там, где нет пока точных данных, пользоваться прогнозом, за которым твердая позиция и убежденность.

Комиссия побывала на трех буровых нашей экспедиции и особенно тщательно исследовала «нефтяной остров». На берегу Юганской Оби все всматривались в густые сплетения тальника, определяя по ним уровень полной воды, их интересовали абсолютные отметки высот. Они узнавали дебиты скважин и характеристики глубинных пород. Иногда мне казалось, что москвичи потеряли всякий интерес к путешествию, разморенные липкой жарой. Но я ошибался. Члены комиссии сумели зацепить много острых проблем. Мы старались избегать споров с учеными. И все же я и более выдержанный Богомяков то и дело вязывались в полемику. Разговор перескакивал с темы на тему, но неизменно возвращался к главному. Перевес сил был не на нашей стороне, но и среди самих членов комиссии возникли разногласия. Богомяков приводил все новые аргументы, всесторонне подкреплявшие нашу позицию. При возведении плотины под воду уйдут месторождения газа и нефти с энергией, превышающей в десятки раз электрический поток гидроэлектростанции. Геннадий Павлович называл и ресурсы лесных массивов, уходящих под воду. Потеря лишь ежегодного прироста хвойных пород сведет на нет кажущиеся выгоды проекта. И, наконец, Богомяков особенно выделял скрытую угрозу всему бассейну Оби — от изменения устойчивой системы дренирования и уничтожения давних взаимосвязей в природном равновесии.

Прощались за полночь. Мне уже более не довелось встретить новых знакомых, а Геннадия Павловичу через полгода выпало участвовать в специальном заседании экспертно-экономического совета Госплана СССР, посвященном той же проблеме. Интересы Тюмени вместе с ученым отстаивали партийные работники Александр Константинович Протозанов и Евгений Андреевич Огороднов, геологи-

практики Юрий Георгиевич Эрвье и Николай Михайлович Морозов, рыбак Петр Николаевич Загваздин, лесник Михаил Иванович Адров.

«Круговая оборона», о невозможности которой говорил мне молодой гидростроитель, все же была налажена. Тюменцы защищали интересы не только своей области, но прежде всего интересы страны, остро нуждающейся и в новых источниках нефти и газа, и в заделах добротного леса, и в приумножении рыбных богатств.

2

Ранней весной сейсмические отряды возвращались на базу. Тракторы с деревянными кабинами тянули за собой рубленые домики. Оцинкованные корыта, прибитые над входом, — неперемнная деталь быта геофизиков. Выбиралась по болотам и гривкам партия Геннадия Шаталова, изучавшая окрестности речонки Южный Балык. На северо-востоке, вблизи крупного притока Оби, «отстреляла» план Аганская партия. Взрывы геофизиков слышались всю зиму и на обоих берегах таежной речки Ваты. Руководители отрядов торопились быстрее обработать полученные материалы, предчувствуя удачу. Заместитель начальника экспедиции по геофизическим работам Виктор Петрович Федоров один за другим выслушивал оптимистические рапорты. По предварительным раскладкам, сейсмике запеленговали добрую дюжину подземных куполов, в которых могла скапливаться нефть. Дорого досталась нам эта дюжина. Семнадцать специализированных подразделений просвечивали вынче земные недра. Виктору Петровичу пришлось успевать всюду. Мы все любили это горячее времячко.

Федоров делится со мной своими соображениями. Мне, как начальнику экспедиции, предстоит утверждать «ковер бурения». Этим цветистым термином мы обозначаем схему размещения станков, разноцветные нити которой и впрямь напоминают коловую вязь. Как лучше разместить свои силы? Лишь незначительная часть структур становится природным резервуаром, где наверху, как сливки в бидоне, скапливается нефть. В большинстве же случаев купол структуры — обычный водяной пузырь. Все мы помним, сколько заманчивых куполов выделяли в свое время на картах Кемеровской и Омской областей в зоне Транссибирской магистрали. Структуру не выбирают только за внешние данные. Красота ее может быть обманчивой и скрывать пустоту избранными.

В нашем распоряжении к тому времени были данные многих скважин. Бурение их не завершилось нефтяным фонтаном, зато в нужных глубинах мы провели комплекс исследований, изучили характеристики пород, выявили мощность песчаников и глин. Теперь эта косвенная информация влияла на наш выбор, и мы с большей долей вероятности могли угадать, какая из новых структур станет еще одним месторождением. Так всегда в нефтяной геологии: для вычисления залежи лучше пользоваться не одним, а несколькими способами, чтобы избежать грубой ошибки. Мы составили новый график, отобрав для немедленного изучения самые надежные структуры. Но для того, чтобы реализовать план, необходимо было срочно перебросить наши буровые станки. Прежде всего мне показалось разумным переместить на новое место бригаду моего давнего друга Виктора Павловича Лагутина. Лагутин в последнее время разбуривал Сургут-

скую структуру. Единственным достоинством ее была относительная близость к поселку, но четыре поисковые скважины не подтверждали здесь наличие нефти. Теперь мы должны были пожертвовать «удобной» структурой ради более благоприятных площадей. Но не так думал сам мастер. Старший геолог Евграф Тепляков предварительно обговорил с ним намеченный маневр. Лагутин, ранее безропотно сносивший тяготы кочевой жизни, вдруг резко воспротивился переброске. Из его темпераментных объяснений с геологом выходило, что оставлять «обжитую» площадь бригаде не с руки.

Я хорошо понимал состояние мастера. Лагутин еще в начале пятидесяти годов бурил в этих краях опорную скважину. Неудача надолго отбила у него охоту к Среднему Приобью. Лишь после моей настойчивой агитации вдоволь повидавший пустых скважин Кузбасса Виктор Павлович возвратился в Сургут. Желание открыть северную нефть стало еще сильнее, когда одно за другим последовали открытия приобских месторождений. Лагутин почувствовал себя обойденным. Долгожданная нефть была извлечена другими бригадами! Но теперь он не собирался оставлять поле боя. Четыре безрезультатные попытки? Ну и что? Он должен пробурить еще и пятую скважину! Возмнив, что только одним упорством можно пробиться к «своей» нефти, мастер пошел на конфликт с Тепляковым. И мне в этом споре надо было выбирать между обоими друзьями.

— Выходит, зря я вернулся в Сургут, Фарман Курбанович, — сказал Лагутин с горечью. — Не даешь нам шанса найти нефть. Хлопцы в обиде.

— Не хитри, Виктор Павлович! Ты, говорят, больше всех недоволен. — Я чувствовал, что серьезного объяснения не избежать.

— Уже доложили, как я с Евграфом повздорил? — усмехнулся мастер. — Что ж, тайны особой нет. Если не дашь мне пятую скважину закончить, бригады Лагутина больше не будет!

— Ультиматум, стало быть? — взорвался я. — Только давай прежде поговорим с твоими хлопцами, зачем это им еще одну пустую дыру сверлить?

Сбор сыграли быстро: все буровики на месте, бригада была в «окне» — так называли мы вынужденный простой в ожидании новой скважины. Я шел на встречу с рулоном ватмана под мышкой.

«Хлопцы» действительно чувствовали себя обиженными. Бурильщики Федор Сухущин и Александр Власов, так же как и мастер, вдоволь изведавшие горечь неудач, тоже уверовали в то, что пятая скважина принесет им долгожданную нефть. Но геологический отдел теперь знал, что Сургутская площадь по совокупности признаков уступает хотя и более отдаленным, но более перспективным структурам. Зачем же обманывать себя бесплодным бурением?

Всего этого я пока не высказывал, вслушиваясь в доводы буровиков. И только когда слесарь Юрий Поляков осторожно заметил, что пора бригаде «свое» месторождение открывать, я не утерпел:

— А разве Усть-Балык — это чужое открытие? Разве вы не помогали найти «нефтяной остров»? Разве не ваши данные использовал геологический отдел при наводке на цель?

— Так можно за уши притянуть всех на свете, — тут же возразил Александр Власов. — Нам к чужой удаче примазаться совесть не позволяет.

Остальные загудели, выражая согласие. Нет, правильные рассуждения о коллективном авторстве геологических открытий не действовали. Так уж повелось: только непосредственное участие в разработке удачной скважины идет в расчет. Переломить на-

строение бригады не удавалось. Но у меня давно возникла мысль, как воспользоваться ситуацией.

— Мы, пожалуй, примем ваш ультиматум. Делайте пятую ставку, — сказал я, делая вид, что уступаю. — Только знайте, вы напоминаете неразумных игроков, которых захлестнул азарт!

— Азарт беды не знает, — настороженно проронил Лагутин.

— Нерасчетливый азарт не знает и победы, — парировал я. — Готов заключить пари с каждым в отдельности. Гарантирую, что все вы окажетесь в проигрыше!

Иногда внезапное озарение и напор могут поколебать хорошо продуманную и согласованную оборону. Вот и Лагутин медлил, потом покосился на свернутый рулон.

— Сначала откройте карты! — смущенный патиском, заметил мастер.

Этого момента я и ждал. Прикрепив принесенную с собой структурную карту к стене, ткнул в нее карандашом.

— Вот, полюбуйте. Здесь обозначены перспективные подъятия. Это. Это. Это! И каждое из них куда интереснее вашей площади. Смотрите, вот где настоящая нефть! Она пока пичья, но может стать лагутинской! — Я остановил острей карандаша на самой внушительной структуре.

— До нее семь лаптей по карте, — разочарованно протянул Федор Сухущин. Замечание вроде бы не в мою пользу, но, по существу, уже не отметало возможности соглашения. Ультиматум незаметно потерял свою категоричность.

— Семьи в глухую тайгу не поедут, — вздохнул слесарь Юрий Поляков.

— Семьи останутся в Сургуте, — осторожно вставил я, стараясь не спугнуть буровиков. — Вы туда не навсегда. Пробурите скважину и возвращайтесь. К тому времени смонтируют ставок на Западно-Сургутской площади...

— А чем она лучше?

— Меньше надо с геологами вздорить и больше слушать их, — ядовито напомнил я Виктору Павловичу. — В отличие от Сургутской эта структура хорошо выражена. Да и «пустые» скважины на вашей площади дали дополнительную наводку. Вы, считайте, сами помогли вычислить Западный Сургут!

— Как это? — встретился кудрявый дизелист Николай Перепелюк. — Пустые и есть пустые!

Видно было, что паренька, участвовавшего еще в бурении первой «опорной» на окраине Сургута, всерьез занимает геологический парадокс.

— Наши скважины не замочные, через них знающий человек далеко видит вокруг, — начал я объяснять.

Лагутин молчал. Обычное для практиков недоверие к теоретическим построениям геологов могло укрепиться в нем за годы неудач и разочарований. И теперь преследовали его сухие скважины и теперь одолевали сомнения, вынудив предъявить ультиматум геологической службе. И вот раздался его негромкий басок:

— Бригада снимает свои требования. Просим одного — оставить нам Западно-Сургутскую площадь. Коли обещаете здесь фонтан, он обязан быть нашим!

И он взглядом стрельнул в похожее на искривленную мишень изображение этой структуры на карте.

— Все же выговорил себе условие! — продолжал задирать я, когда мы с мастером возвращались домой.

— А ты не кори, — гудел Лагутин. — Ты пойми и мою неученую душу. Слишком много наших долот

здесь зубья стерли. Вот и сдали нервы! А про замочную скважину это ты лихо меня поддел!..

Так был отвергнут ультиматум, который собиралась предъявить бригада. Через несколько месяцев Лагутин стал первооткрывателем залежи на Пимской площади, но и это не успокоило мастера. Он устремился на Западно-Сургутскую структуру, где уже приготовили станок для проходки скважины под круглым номером «пятьдесят». «Полтинник» оказался счастливым для буровиков, бросивших по заведенному обычаю горсть монет под долото. К западу от Сургута ударил фонтан лагутинской нефти.

Надо было видеть Виктора Павловича в тот день слышать его рокошующий басок, чтобы понять состояние нефтеразведчика, возвратившегося в край, где он однажды уже потерпел поражение. Когда же азарт толкнул Лагутина к спору с «теоретиками», непросто было унять уязвленное самолюбие, поверить ученым и хладнокровно, расчетливо пробиться к той заветной отметке в глубинах, которая и сделала моего друга невероятно счастливым!

3

Возле калитки своего дома я неожиданно столкнулся с Нестеровым. В руке Ивана был дорожный баульчик, видать, только что с самолета.

— Хотел мимо прошмыгнуть? — шутливо усовестил я давнего друга. — Давай ко мне! Тамара дома, накормит.

Попытался отобрать у Нестерова саквояж.

— Извини, Фарман, — отстраняясь, сказал ученый непривычно сдержанным тоном. — К тебе сейчас не могу. Я... не один здесь.

— Так всех зови — велика беда! — по-своему истолковал я.

— Фарман, пойми, никак нельзя. В общем, мы приехали... ты знаешь...

Он решительно зашагал по деревянному тротуарчику к конторе экспедиции. Всего триста метров отделяет здание конторы от моего дома, и эти триста метров мы не могли теперь пройти рядом... Я растерянно глядел вслед.

Сейчас Иван откроет входную дверь и по пахнущему свежей краской и крепким табаком коридорчику двинется к отгородочке, за которой сидит секретарь. И Тоня удивится, что он, не спрашивая меня, сразу проходит в кабинет напротив. До недавнего времени это был кабинет главного инженера, но вот уже несколько недель Александр Горский вынужден «снимать углы» в отделах, потому что на его столе сейчас лежат папки, документы и сводки вовсе не инженерного толка.

В кабинете занята разборкой новой жалобы очередной комиссии. Жалоба, как и предыдущие, на меня. Я уже давал и устные и письменные разъяснения в три различные инстанции. Окружная, районная и даже столичная группы обстоятельно проверили факты, излагавшиеся в односторонних письмах. Все обвинения оказались вздорными, но автор не успокаивался. И вот Иван в новой комиссии, нагрянувшей на этот раз из Тюмени. Еще один круг тягостных объяснений, нудных уточнений, безрадостных обязанности. Но обиднее всего, что случай избрал именно Нестерова для этой роли.

Так вышло, что в переломные моменты моей судьбы рядом всегда оказывался этот высоченный молодой ученый-геолог. Еще до нашего знакомства, перед самым переездом в Среднее Приобье, я познакомился с прогнозной картой этого района, опубликованной в журнале «Нефтяное хозяйство». Прогноз в основ-

ном совпадал с уже известной мне оценкой профессора Николая Никитича Ростовцева. Автором карты и был И. Нестеров, кандидат геолого-минералогических наук. Вскоре мне представили самого кандидата: двадцатисемилетнего парня с густой копной пепельных волос. К тому времени Нестеров уже переехал из родного Свердловска в Новосибирск.

Мы долго присматривались друг к другу: слишком уж разными по складу характера и привычкам казались вначале. Нестеров был года на четыре моложе, вырос в многодетной семье рабочего «Уралмаша», выходца из деревни. Соединение крестьянского упорства, рабочей старательности и природной, развитой в юности пылкости сделало его первым учеником в школе, а потом — в Свердловском горном институте. В день знакомства поспорили мы отчаянно, как и водится между геологами. Через год долговязая фигура Нестерова маячила в сургутской тайге. Иван собирал данные на опорной скважине, которую мы в то время бурили, руководил комплексом исследований. На залитой водой визине, в полевом вагончике продолжались наши споры и крепла привязанность. Целеустремленный, умеющий отказывать себе во всем ради добычи нового знания, Нестеров был подвержен постоянной смене увлечений. Он с удовольствием проникал в смежные отделы нефтяной геологии, и с каждым разом его оценки становились все объемнее и разноплановее. Окончательно сдружила нас... записка Ивана, переданная мне на совещании, где ставились под сомнение перспективы всего Приобья. После выступления самого авторитетного «ниспровергателя» и попали мне в руки такие строки: «Не унывай, Фарман! Теперь у нас нет времени хандрить!»

Это окончательно объединило практика и ученого. Я познакомился с женой Ивана, бывшей его однокурсницей, маленькими дочерьми Надеждой и Галиной, постепенно узнал привычки и склонности друга. Лучшим местом отдыха Нестеров считал столлярный верстак. Часто наши споры протекали без отрыва от очередной поделки, и густой запах струганой сосны веял над геологическими эпохами и эрами. Моя запальчивость разбивалась о невозмутимость мастерового науки, не чуждавшегося утомительной черновой работы, но никогда не превозносившего и бесцельное накопление фактов. В конце концов отыскался у нас и общие привязанности, и схожие «линии судьбы». Оба мы со школьных лет почувствовали тягу к минералогии. Оба примерно в одно и то же время оставили камни, рудные жилы и друзья кристаллов ради нефти. Для меня она была прежде «самым труднодоступным минералом», Нестерову нефть казалась средоточием сокровенных тайн планеты. Происхождение «земляного масла», как именовали нефть в старину, волновало его не меньше, чем меня практические вопросы. Иван любил неожиданные, порою фантастические теории, но умел и приземлять мысль, сдерживать ее в узде очевидностей. Оказалось, оба мы в юности увлекались Джеком Лондоном, но даже этим писателем переболели неодинаково. Ивану прочно врезалась в память алмазная пыль снегов, ложные солнца и золотая лихорадка Клондайка, а меня всегда притягивал квадрат ринга, где вел поединок с судьбой мексиканец Ривера...

...Идти в коптору после встречи с Нестеровым я уже не мог и, чтобы оттянуть время, побрел в механические мастерские экспедиции, куда уже давненько не заглядывал. Оказавшись на территории, еще недавно бывшей пустырем, свернул к стоящему наособицу зданию, где располагалась кузница. Тяжкие удары молота доносились из-за раскрытой пасти дверей. Огромный, но проворный кузнец Ма-

лых, напрягая латые мускулы, ворочал поковку. Слетала с раскаленного докрасна железного вала окалина, жар металла опалил лицо.

— Редко видим тебя, Фарман Курбанович, — сказал Малых, покочивая со своим занятием. — Раньше хоть Казбека водил перековывать, а теперь совсем позабыл кузню! — Он утер лоб тыльной стороной впитавшей ржавь ладони. Упоминание о Казбеке, который был моим «персональным» конем в период становления экспедиции, еще больше расстроило.

— Мне самому перековываться в пору, Александр Иванович, — отозвался я.

В каптановых усах кузнеца заиграла усмешка.

— Неважно, выходит, закал?! — обронил он и огромными щипцами вытащил новую заготовку из пламени. Снова забухал молот, и я отошел в сторону. Но уйти совсем не давало самолюбие. Слишком обидный смысл чудился в последних словах Александра Ивановича. Он словно специально хотел задеть меня. Минут пятнадцать возился Малых с деталью, потом вышел поостыть немного...

— Слышал о твоих неприятностях, Курбаныч! У нас в кузне, что в церкви, — на звон много народу сходится.

Он хитровато поглядел на меня.

— На тебя, доложу, обид много. Гневлив уж больно.

Я нахохлился. Неприятно было слышать такое именно сейчас. Досадливо махнул рукой, собираясь встать.

— Сразу не убею — теперь погоди, — осек меня кузнец. — Мы тебя изучили славно: отшумишься и гнев свой первый забудешь. Разве не так?

Попал он в точку. Сколько раз я сам страдал от взрывного своего характера, неумения обуздать его. Под горячую руку порой доставалось не только ленивым, но и старательным работникам. Потом мне же приходилось отступаться, заглаживать свою промашку. Но случай, вызвавший неудержимый поток жалоб, в корне отличался от производственных стычек и временных размолвок.

...При каждом удобном случае человек, которого я уволил из экспедиции, бичевал своих менее опытных коллег, раздувая их упущения. С рвением исследователя изучал он толстые бухгалтерские книги, накапывал фактики в беседах, чтобы потом обрушиться... Мы и не подозревали, что обличительные тирады и показная пылкость не мешали ему регулярно запускать руку в кассу экспедиции. С помощью изобретенного им хитрого приема он получал суммы, гораздо большие, чем ему причитались. Уличили его совершенно случайно. Когда все обнаружилось, я тут же вызвал этого работника для разъяснений. Дикой казалась мысль, что человек, бравировавший своей честностью, так двоедушен. Хотелось выяснить причины, побудившие его идти на сделку с совестью, найти извилистые обстоятельства, сбившие с пути.

Но я ошибался, ожидая оправданий и горьких ссотований. Этот человек хотел извлечь выгоду даже из своего разоблачения. Он вовсе не чувствовал себя провинившим и недвусмысленно дал мне понять, что мы все у него «на крючке». Выведенный из себя его попыткой сторговаться, я в тот же день подписал приказ об увольнении. Вот тут и хлынул поток жалоб, в которых мне приписывались все смертные грехи, а искушенный в казуистике жалобщик представлял себя, естественно, невинно пострадавшим за критику.

Поскольку наша экспедиция пользовалась особым вниманием, районные руководители, да и окружные инстанции советовали кончить дело миром. Мне предлагали восстановить автора жалоб на прежней должности. Я же ни за что не соглашался идти на

уступку: восстановить склочника — значило признать его неуязвимость и продолжать и далее оплачивать кипучую деятельность, от которой лихорадило весь коллектив.

...Впервые, пожалуй, время у меня тянулось, а не летело, как всегда. Такого состояния безразличия и болезненной слабости мне давно не приходилось испытывать. С трудом заставил себя тут же пойти в контору. Две тысячи работников экспедиции, разбросанные по территории, превышающей родной Азербайджан, буравили земную твердь, монтировали вышки, строили дома, ладили дороги и проезды. Им дела нет до моих переживаний. Им надобны моя воля и собранность, потому что им позарез необходимы цемент и солярка, трубы и долота, вездеходы и перфораторы... Вошел в контору, и сразу же прораб устремился ко мне, размахивая бумажками, торопясь втолковать суть дела. Мы быстро прошли в мой кабинет. Дверь напротив плотно прикрыта, но за ней улавливались возбужденные голоса. В невнятице явственно выделялся густой баритон Нестерова.

Ему тоже было нелегко выслушивать дутые аргументы, вздорные разоблачения и сохранять невозмутимость и бесстрастный вид малоинтересованного наблюдателя. Сейчас только я понял истинную причину его сдержанности при встрече. Иван вовсе не отрекся от нашей дружбы, а лишь отводил от меня новый удар. Уже коли попадет под сомнение объективность сторонних контролеров, то какой шум поднимет кляузник, если обнаружить перед ним наши давние отношения!..

И все же мне было обидно даже за эту невинную маскировку. Мне всегда хотелось быть честным и перед этим прорабом, вымалывающим тес, и дюжикой его коллег, которым этот тес нужен ничуть не меньше, и перед двумя десятками своих непосредственных подчиненных, и двумя тысячами сургутских геологов, и перед старым кузнецом, ободрившим меня сегодня. Но прежде всего я всегда старался быть честным до конца перед самим собой...

4

Начальник торпедно-перфораторного отряда Владимир Юрьев показал мне присыпанную снегом глубокую яму недалеко от буровой: «Произведение искусства. Жалко, если зря порохов тратили».

Отряд Юрьева и вырыл этот котлован с помощью направленного взрыва. Сам Юрьев — бывший подручный кузнеца Александра Ивановича Малых. Недавно он окончил курсы перфораторщиков в Москве и вернулся с новой специальностью на Север.

В последнее время в Приобье хлынул молодой народ, и новые экспедиции, организованные здесь, приняли выпускников институтов и техникумов. Новички вовсе не претендовали на кабинетные должности. Мастерами буровой и испытательной бригад стали Валентин Тулейкин и Борис Блинов. Не чурались черновой работы механик Эдуард Казак, геолог Анатолий Брехунцов и Виктор Чернов. Один из инженеров, Степан Каталици, согласился даже занять место помощника бурильщика — не видный, но весьма важный пост на буровой. Внедрение «теоретиков» в самую гущу рабочих бригад пошло на пользу и практикам, и будущим организаторам...

— Ветер усиливается, метет вью, — сказал Юрьев. — Может, отложим операцию?..

— Сам-то что думаешь?

Владимир отвел глаза. Будь ответственным он — непременно бы рискнул, а сейчас вот мнется, не

желая вводить в искушение главного геолога. Именно так называется теперь моя новая должность: главный геолог Усть-Балыкской нефтеразведочной экспедиции.

Экспедиция возникла после отделения от Сургута части поисковых земель. Обосновалась она у самой кромки «нефтяного острова». Условия здесь не легкие: первопроходцам практически не на кого опереться. Переход сюда не был для меня добровольным. Я был освобожден от руководства Сургутской экспедицией за «геологический авантюризм». Этот ярлычок прилепился после серии совещаний, где я, не щадя голоса, доказывал перспективность Усть-Балыкского месторождения и в пылу полемики нажил немало противников. Конечно, в приказе о переводе не было такой формулировки. Но тут весьма кстати для оппонентов пришелся конфликт со склочником, продолжающим разыгрывать из себя пострадавшего. Правда, к осени моя правота была доказана: на собрании сургутских геологов геофизик Николай Бехтин, Владимир Юрьев и бухгалтер Мария Терехова одобрили мою позицию и осудили клеветника.

Но в Тюмени посчитали, что кляузника надо обязательно перевоспитать. «Как же руководить двумя тысячами людей, если одного на путь истинный не мог наставить?» — скептически заметил один весьма ответственный товарищ. Я продолжал упорствовать. Так все склонилось к мнению, что меня следует направить в ту самую экспедицию, которой отдали Усть-Балык, предоставив право на месте защищать свои «авантюрные» прогнозы.

«Сам напишешь заявление», — сказал начальник управления Эрвье. Щадя мое самолюбие в присутствии посторонних, он произнес эти слова по-азербайджански.

Всего два года назад родной язык послужил нам своеобразным кодом для передачи радостной вести об открытии тюменской нефти. Сейчас Юрий Георгиевич снова воспользовался им, но уже при других, совсем нерадостных для меня обстоятельствах...

Отголоски этих событий доносились до новичков, и все молодые геологи прекрасно понимали, как важно для меня быстрее подтвердить заявки на большую нефть, чтобы избавиться от обидного ярлыка. Скважина, которую мы собираемся испытать, должна заговорить! Молодой геолог Виктор Чернов чувствовал, как изменится соотношение сил после успеха. Второй фонтан на Усть-Балыкском месторождении будет серьезным контрдоводом на завтрашнем геологическом совещании. Но ведь и неудача тоже возможна! В таком случае у оппонентов появится лишний повод упрекнуть геологическую службу новой экспедиции в скоропалительных выводах. Очередной авантюрный ход? Нет, мы просто отказывались подчиниться обстоятельствам, мы хотели их подчинить себе. Чернов лишь постигал азы этого непростого умения.

— Кто не рискует, тот проигрывает, — сказал я как можно беззаботней. Виктор согласно кивнул.

Мы вместе вышли из вагончика. Первый заряд опускали в скважину. То и дело лебедка переставала работать, и сразу ослабевало натяжение кабеля на блоке. Очевидно, погружению заряда препятствовали комья раствора. Наконец по остатку витков на барабане подъемника стало видно, что заряд приблизился к нужной глубине. Желтая отметка на кабеле подплыла к устью скважины, и машинист, повинуясь сигналу начальника отряда, отпустил рычаг.

— Все по местам! — скомандовал Юрьев. Теперь полнота власти сосредоточивалась в его руках. Солнце уже скрылось за кедровой гривкой, но долго еще янтарно светился пласт неба, и ветер, особенно силь-

ный в это время суток, осложнял наши действия. Юрьев и не помышлял о прекращении исследований. Заметив, что я нервничаю, Владимир успокоительно сказал:

— Такие заряды стальной рельс прошьют, не то что трубу. Управимся в аккурат до темноты.

Он удалил на безопасное расстояние рабочих, заставив и нас укрыться за бортом каротажной машины, проверил задвижки и только тогда полез в кабину. Высунувшись из окна, Юрьев повернул рукоять машинки. На глубине более двух тысяч метров раздался неслышимый взрыв. Мы угадали его по взметнувшемуся султанчику. Расплескалась по деревянному полу буровой рыжеватая от взвешенных в ней частиц глины жидкость. Мы тщетно ждали, когда глубинный пласт просветлеет. Надежда с каждой минутой таяла. Чернов подвел неутешительный итог: «Скважина молчит».

— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день, — привычно сострил Юрьев.

Стало ясно, что до наступления темноты мы не управимся и придется организовать ночную вахту. Включили прожектор и фары — в мутных конусах света косо трассировал снег. Площадку, впрочем, осветили довольно скудно. Я услышал, как бурлащик Павел Чумаков, недовольный спешкой, выговаривал Чернову:

— Этих геологов не поймешь. Миллион лет сюда, миллион туда — им без разницы, а тут один день все решит!

Довольно старая шутка не лишена здравого смысла. Но зачастую так слетаются обстоятельства, так колеблются в пылу полемики чаши весов, что довольно малой крупинки нового знания, чтобы перетянуть на нашу сторону сомневающихся и залучить в союзники недавних противников. Как тут не попытаться вымолить у судьбы этот день, чтобы завтра выдать уже не предположения и домыслы, а конкретные сведения.

Еще десять зарядов разместились в предназначенных для них гнездах, и Владимир Юрьев перед погружением сваряда подошел ко мне.

— Фарман Курбанович, раствор тяжеловат. Может, подразбавим его?

Идея была здравая. Видимо, ток глубинной жидкости, устремившейся в пробитые первым взрывом отверстия, оказался не в состоянии перебороть тяжесть находящегося в самой скважине раствора. Облегчить противодействие на пласт и хотел Юрьев, заменив часть раствора в стволе водой. Тогда вторая попытка наверняка заставит глубинный пласт сразу проявить себя.

— Опасно, — ответил я, помедлив. — Мы не сможем удержать напор пласта.

Начальник отряда понимающе кивнул. Никому из тюменских геологов не надо объяснять, что такое неуправляемый нефтяной выброс. Юрьев не без сожаления отменил свой вариант и тут же дал команду Михаилу Булашову начинать спуск зарядов на прежних условиях. Вновь заскрипел блок-балайс, по которому струился испачканный раствором кабель. Чернов, присутствовавший при нашем разговоре, молча глядел на барабан, с которого стремительно сматывались витки. Скорее всего он втайне осуждал меня за излишнюю осторожность. Я не стал выяснять этого. Лишь с годами крепнет в нас убеждение, что не всякий риск оправдан. Бесшабашный, необдуманный маневр противопоказан геологу, так как последствия могут быть слишком печальными.

Между тем подгоняемые желанием быстрее раздаться со своими сомнениями, люди уже не нуждались в уговорах. Даже Павел Чумаков загорелся об-

щим ветерпешем. Я любил эти пакалешные добела часы нарастающего подъема, когда очень разные по возрасту и устремлениям люди вдруг обретают слитность и взаимопонимание, когда враз отбрасывается все несущее, неважное и устанавливается тот единственно верный темп, который невозможно ни сломать, ни усилить. Непроглядную темень на острове размывало лишь овальное пятно возле буровой, верховой ветер шевелил отставшие доски обшивки, и возгласы подававших сигналы рабочих напоминали переключку часовых. Но вот начальник отряда, хорошо видный всем в освещенной кабине, утвердил руку на корпусе взрывателя. Один электрический импульс — и глубинные заряды отворят путь нефти. Так много зависит от простого поворота рычажка! Юрьев вдруг приоткрыл дверцу, глядя в белеющий полусумрак. Лицо у него было растерянное. Неужели все? Нам пельзя было услышать глубинный взрыв, но почему не всколыхнулось устье скважины?

— Ложная тревога! — понял мое состояние Владимир. — Совсем уж темно! — Он подвинулся на сиденье, пропуская меня в кабину.

— Ну-ка, Фарман Курбанович, проверим, счастливая ли у вас рука! — И показал глазами на коробочку взрывного устройства. Никогда не думал, что так буду волноваться: я даже вздрогнул, услышав безобидный щелчок рычажка, похожего на кухонный выключатель.

И опять взметнулся из горловины раствор и тут же обрушился на дощатый пол буровой. И вновь предстояло гадать, станет ли всплеск началом подвижки двухкилометрового столба или снова останется угнетен прочно закупоренный пласт. Я уже жалел, что не разрешил уменьшить удельный вес раствора. Сколько раз сходила с рук такая подмога глубинным силам, сколько раз перфорация на чистой воде заканчивалась благополучно. Вот ведь и сейчас пласт явно не в состоянии вытолкнуть противовес, и мы напрасно ждем у открытой задвижки!

Чернов машинально крутил штурвал, словно обыкновенный кран неисправного водопровода.

— Хочешь оторвать на память? — ухмыльнулся Юрьев.

Он снова посмотрел на дно сухого котлована, вспоминая свои зрительные труды, но проехать на сей счет ему уже не пришлось. Как раз в этот момент, сдвигая наконец подавшуюся его силе толщу раствора, заработал пласт и в земляную емкость по специальному отводу ринулся поток жидкости. Пока еще освобождая выход растворная пробка, но уже через четверть часа залокотала, запуздырилась непрерывно меняющаяся окраска струя. Это подавал голос пробивающийся из глубин газ. Газ — обязательный спутник нефтяной залежи, и, значит, надо готовиться к встрече самой нефти.

Чернов что-то прикидывал, шевеля от напряжения губами: нетрудно было угадать, что он рассчитывает мощь ожидаемого фонтана. По-разному ведут себя исследуемые объекты, но быстрота натиска пласта — всегда прямое свидетельство его силы. И когда все же хлынула чистая нефть, нам окончательно стало ясно, что более легкую пробку она пробивала бы моментально, обрушив весь напор на опрометчивых исследователей. В этот раз предельно уставшим людям некогда было соблюдать ритуал испытателей — помазание нефтью. Перфораторщики уезжали в поселок, собрался было с ними и Чумаков, напоследок решив набрать бутылку первой своей нефти. Застав Павла за этим занятием, я решил отквитаться за его шутку:

— У напитка возраст — сто двадцать миллионов лет. Конечно, плюс-минус десяток миллионов.

— Подходящая выдержка! — хохотнул бурильщик. — Небось много ее пацедится?

Он тоже старался не обнаружить разжигавшее всех любопытство: каков приток нефти, или, говоря профессионально, дебит скважины.

— А чего откладывать на завтра? — вопросом на вопрос ответил я. — Сейчас все и узнаем!

Появив меня, бурильщик махнул рукой в сторону ожидавшей его машины и вместе с нами остался определять дебит. Мы узнавали его с помощью специальной мерной емкости и обычных часов...

— Чистый кочегар! — всплеснула руками Тамара, с ужасом оглядывая мою куртку на «молнии». — Вся нефть на себя собрал!

— Не всю, не всю, учти, фонтанчик был в семьсот кубов!

— Ну уж и в семьсот! — улыбнулась жена.

— Даже больше, — словно бы оправдывал я причиненный семье ущерб. Куртку и самому было жалко.

Пришлось отправляться в Тюмень в нелюбимом пальто-реглан.

5

Пока раскручивался винт, пассажиры в сильно приподнятом кверху салоне еле удерживались на своих местах, широко расставив ноги и сцепив руки замком, словно десантники. Лишь в воздухе выровнялся фюзеляж. Напротив меня, хмурым и невыспавшимся, повис на привязном ремне мой давний оппонент, кандидат геолого-минералогических наук, тоже вызванный на совещание. Весь трехчасовой путь до Тюмени мы старались не встретиться взглядом, и оба не могли забыть, и каждый чувствовал, что продолжается полемика. Встретив коллегу в аэропорту, я остерегся говорить о только что полученном фонтане, прибегая к этому козырю про запас. Еще совсем недавно у меня не было на руках неотразимого аргумента в противовес хорошо оснащенной и убедительно поданной концепции кандидата наук. И теперь я готовился, стоя на твердой почве, нарушить временный нейтралитет.

Нас, как и остальных геологов, разместили в двухэтажной гостинице «Заря», которая явно ее справлялась с наплывом северян, прибывающих на совещание. Все мы с утра разбрелись по неотложным делам, но вечером неизменно оказывались в одном из холлов, уставленном диванчиками и креслами той основательной конструкции, что, вероятно, радовала глаз командированных начала пятидесятых годов, когда Тюмень только обрела статус областного города. Гостиничный персонал, еще помнящий чинное поведение прежних жильцов в габардиновых пальто и с бесформенными объемистыми портфелями в руках, был не в силах пресечь громкие споры молодых бородачей и седых юнцов. По лысоватым ковровым дорожкам сновали собачьи унты, расшитые оленьи кисы и сапоги на меху, пока постояльцы разом не стягивались к шахматной доске в холле, как железные пылинки к магниту. Кипели страсти, извергались клубы дыма и сообщалось находились не столько верные ходы, сколько неотразимые доводы. На глазах создавались геологические группировки, образовывались поля тяготения, возникали взаимные привязанности и отталкивания.

Мне с попутчиком выпали номера в разных концах коридора, и, как все, мы подчинились распорядочному ритму командировки: с утра мчались в управление, стремясь заручиться у снабженцев платяными



Встреча
на таежном
перекрестке.

гарантиями, а потом сидели в конференц-зале. И в зале мы неизменно оказывались поодаль друг от друга. С нетерпением ожидал, когда участники совещания получат радиogramму об испытании скважины на Усть-Балыке. Евграф Тепляков уже должен был передать уточненный дебит. Но когда после перерыва огласили только что полученное сообщение от Усть-Балыкской экспедиции, я даже не успел проследить реакцию моего оппонента, так как сам поразился переданной цифре — не семьсот, а более тысячи кубометров нефти исторг фонтан за минувшие сутки. Сидевший слева Иван Нестеров сразу потянул у меня планшет, в котором находилась карта.

— Не говори только, что ты ничего не знал! — обижено выговаривал он. — Поверю я, как же!

Иван зашелестел картой, выискивая на ней виновницу сенсации.

— Сбоку припека, а такой впечатляющий дебит, — искренне поразился он подтверждению и своим прогнозам. Но тут же погасил довольную улыбку.

— Полагаю, Фарман, теперь противники зайдут с другого фланга.

Я был настроен куда оптимистичней, новость припала восторженно, оппоненты как в рот воды набрали. Но напрасно вскружил голову полученный козырь. Не далее как тем же вечером в «шахматном клубе» последовал выпад, который предугадал мой более дальновидный друг.

Ничто вроде не предвещало обострения. Геологи, перебрав многие проблемы, коснулись особенностей уже открытых сибирских нефтей. Спорили о возрасте залежей, и у каждого были веские обоснования в пользу своей точки зрения. Перепадка так и носила бы отвлеченный характер, если бы не начали вдруг сравнивать химический состав нефтей разных залежей. Кто-то сопоставил нефть Шаимской группы месторождений с содержимым прикаспийских педр. Розоватая нефть Баку издавна слу-

жит эталоном качества. Я был единственным из молодых геологов, кто знал о ней не понаслышке, и потому решил высказаться. Месторождения Шаимской группы были весьма привлекательны. Нефть в них отличало высокое содержание бензина и керосина, а примеси серы, самого нежелательного для добытчиков элемента, были минимальны. Качество приуральской нефти тоже позволяет делать такие сравнения, а вот запасы... Я хотел напомнить, что эти залежи значительно уступают приобским, но тут втиснулся в паузу наблюдавший за ходом шахматной партии кандидат наук.

— Зато шаимскую нефть в руках держать приятно. Как подсолнечное масло — такое обилие легких фракций. А усть-балыкская — смола смолой, в ней керосина-то кот наплакал!

Он снова сгустил внимание на шахматах, но я уже знал, с какой стороны последует новая атака на Усть-Балык. Это появлял все, кто находился в холле. За противопоставлением угадывалась программа, и я приготовился к новому раунду.

Впрочем, у моего постоянного оппонента появились союзники, которые браковали Усть-Балык уже по другим мотивам. После тщательного исследования пород, слагающих продуктивные пласты месторождения, командированный к нам специалист вынес строгий приговор. Эксплуатировать залежи на «нефтяном острове» не имеет смысла, так как проницаемость песчаников чрезвычайно мала. Приезжий в разговоре со мной не скупился на исторические параллели. На одном из промыслов «второго Баку» попытка извлечь нефть потерпела неудачу из-за похожих коллекторов.

— Полимиктовые песчаники на глинистом цементе сделают невозможной закачку воды в пласты, и отдача нефти будет мизерной, — просвещал меня командированный.

— Это необходимо проверить, — упорствовал я.

Буровой мастер
Владимир
Соловьев
руководит
молодежной
бригадой
сургутских
геологов —
наследников
славных традиций
В. Лагутина
и Н. Жумажанова.

Снимки
Ивана
Сапожкова.



— Не горячитесь, молодой человек, — степенно уверял меня и сам вовсе не пожилой эксплуатационник. — У геологов своя наука, у нас — своя! Поймите, кота в мешке приобретать мы не намерены!

Но и мы вовсе не собирались отступать от своей линии. К тому времени появились вполне обоснованные предположения, что Усть-Балыкское месторождение лишь одно из крупных скоплений нефти в зоне действия экспедиции. Предварительные исследования позволяли нанести и координаты предполагаемых подземных кладовых.

Я не искал удобного случая, чтобы привести аргумент, обесценивающий доводы противников. Он представился сам. Как члена областного комитета КПСС меня вызвали на пленум, посвященный проблеме геологического поиска. В перерыве неожиданно столкнулся с Александром Константиновичем Протозановым — секретарем обкома. Протозанов четыре года назад способствовал моему переводу из Новосибирского в Тюменское управление и с тех пор внимательно следил за судьбой подшефного. Впрочем, в тот день переговоры наскоро. Но из сбивчивого моего рассказа Протозанов, горный инженер по образованию, вычленил главное. Если подтвердится наш прогноз о больших запасах соседних площадей, отношение к нефти Приобья сразу же изменится. Количество нефти — всегда качественная характеристика, и промысловики куда охотнее стремятся не на единственное пятно, а на гроздь крупных залежей. Вскоре секретарь обкома, подводя итоги пленума, подметил значительные расхождения в оценках отдельных районов. Для примера он выбрал запасы нашей зоны и назвал только что ставшие ему известными цифры.

— Прогнозы весьма спорны, но это не значит, что они ложны, — предвосхитил Протозанов очевидное возражение. Он заговорил о том, что защищать свои убеждения несравненно труднее тем, что на-

стаивает на высоких перспективах. В отличие от оппонентов им требуются все новые и новые подтверждения своей правоты, тогда как осторожным можно просто выжидать. Удобная позиция! Но чрезмерная осторожность не менее опасна для геолога, чем неоправданная легкость в суждениях.

Моя оценка, впрочем, снова была причислена к разряду авантюрных, а то, что, нарушив существующие правила, я вынес ее на пленум без предварительного согласования, еще больше настаивало.

— Нельзя сказать, что сногсшибательные цифры ты взял с потолка, — иронически прокомментировал мое опрометчивое заявление один из геологов управления. — Сомнительно только, как удалось подглядеть их в недрах. Делаешь из мухи мамонта?

Не случайно он искал известную поговорку. Яд реплики был обращен против Мамонтовской структуры (так окрестили сейсмички выявленную ими складку подземного рельефа). Именно здесь добывались мы разрешения на бурение неплановых скважин, рассчитывая открыть месторождение.

— И не подумаем давать рекомендации под твое Мушкино, — категорически заявил собеседник. И эта его подмена названий была намеренной. По иронии судьбы недалеко от облюбованной нами площади находилось крохотное селенье с таким вот красноречивым именем. Ловко обыграли острофловы географию «сомнительного» района. Но и я не хотел оставаться в долгу у шутников!..

Теперь не оставалось другого выхода, как проникнуть в кабинет начальника управления. При всем обилии забот, которые, одолевая Эрвье, добиться встречи с ним было сравнительно просто. Надо только загодя записаться на прием у его секретаря Устиныи Ивановны. В зависимости от важности мотива и других обстоятельств определял-

ся день и час. В случае непредвиденных изменений в расписании дня Устинья Ивановна по телефону предупреждала о переносе встречи и согласовывала новое время. Поэтому в приемной начальника не толпились томящиеся от скуки посетители, а те, кто был в кабинете, помнили о регламенте. Но в тот раз деловая неделя Эрвье была расписана особенно плотно. Правда, я знал особенность Юрия Георгиевича начинать свой рабочий день задолго до установленного общим расписанием часа. Поэтому назавтра я пришел в управление в четверть восьмого. Ждать, впрочем, пришлось недолго. Низкий голос Эрвье оторвал меня от набросанного вчера конспекта.

— Привет, любезнейший!

Когда Эрвье был в хорошем расположении духа, он нередко избирал это шутовское обращение. Но оно могло быть и саркастическим, если он выговаривал за провинность. Юрий Георгиевич жестом пригласил в кабинет. Заняв свое место за столом, он, откинувшись к спинке кресла, раскурил сигарету, не спуская с меня темно-вишневых глаз.

— Снова не соблюдаешь политес? — спросил Эрвье.

Это вышедшее из широкого употребления слово давно облюбовано Юрием Георгиевичем, и Эрвье указал мне на нарушение свода писаных и неписаных служебных правил, который и есть политес. Начальник управления редко прощал такие вольности, особенно если действовали через его голову. Но за какую промашку выговор? За неосторожное посвящение в наши внутренние проблемы секретаря обкома или всего лишь за сегодняшнюю уловку, ускорившую необходимую мне встречу?

Раскрыв планшет, я вытащил карту района, перспективы которого нахваливал Протозанову, и протянул ее начальнику. В секторе возле Мамонтова были поставлены три карандашных крестика. Они выделяли продуманные контуры структур, благоприятных для разведки.

— «Морской бой» даешь? — иронически осведомился Юрий Георгиевич. Крестики и впрямь смахивали на пометки школьника, занявшегося во время скучного урока увлекательной игрой.

— Тремя неотразимыми ударами обезвредить неприятеля? — продолжал сравнение Эрвье. Он умел подмечать забавные стороны ситуации и зачастую разряжал шуткой самую серьезную.

— А ведь знаешь прекрасно, что каждый твой крестик тянет за собой цифру с пятью нолями! Где же мне прикажешь взять такие денежки?

Я начал горячо заверять, что все затраты окупит нефть. Юрий Георгиевич, не прерывая меня, отыскивал в ящиках переплетенные в серый коленкор машинописные тексты. Потом всеорассыпал их по столу.

— Посмотри, посмотри, любезнейший, что пишут другие. Вот здесь предупреждают, что группа структур отделена от Усть-Балыка погружением и с найденными залежами никак не связана. А вот здесь остерегают: нефть готеривских отложений содержит лишь двадцать пять процентов керосина. В более глубоких горизонтах ожидают еще меньший процент. Хватит?

Знакомые уже мне возражения успели стать документальными. Самым объемистым было обоснование давнего оппонента, кандидата наук. Только оно одно могло склонить руководителя поиска отвести мой «авантюрный» вариант. Но Эрвье медлил с окончательным приговором. Начальник управления обязан принимать решение лишь после осмыс-

ления всей имеющейся у него информации. Разноречивые сведения, поток неоднородных данных обрушиваются на человека, от приказа которого зависит успех дальнейших действий тысяч людей. Он сам должен выбрать, какая версия из множества наиболее убедительна. Наш седой командир теперь все больше маялся под папором перемен, выдвинувших нефтяную геологию на самый стрелный эпохи. И прежний путь уроженца Кавказа по разведочным тропам Украины, Крыма, Молдавии не был лишь продвижением прирожденного организатора. Это были и тропы обретения нового знания. Менялся — значит расти, и Юрий Георгиевич находил в себе силы для непрерывного обновления выработанного ранее стиля организации поиска.

Моя версия все же отвечала интересам геологического управления. Высокая плотность запасов всегда привлекает нефтедобытчиков. Но ведь настаивает на существовании соседних залежей не солидный ученый, а самостоятельный поборник науки, осмелившийся иметь суждение, расходящееся с выводами авторитетов.

— А почему я должен верить тебе, а не твоему оппоненту? На моем месте разве ты сам не предпочел бы более просвещенное мнение? — Юрий Георгиевич слегка выделил голосом это определение. — Пора бы уж и тебе «остепениться», Фарман, — завершил выпад Эрвье. Шутовское обозначение защиты ученой степени лишь ярче оттенило второй смысл фразы. Эрвье как бы подсказывал: дальнейший спор на равных возможен только при одном условии — надо самому стать вровень с противниками.

То, что не удавалось научным работникам, не раз убеждавшим меня, что в горах геологических материалов экспедиции зарыта не одна диссертация, сегодня сделал производственник. Выбор темы не представлял особой трудности. Эти три скважины принесут не только практические результаты, но и недостающие данные для обзора района, которому отдано около пяти лет поисков. Эрвье не требовал от меня никаких заверений, он и так чувствовал, что его цель достигнута.

Я покидал кабинет успокоенный и... озадаченный. Способ доказательства был не самый простой! Соискание ученой степени — труд нескольких лет. А как же основные обязанности? Но разве «погружение» в добытые практикой данные сможет помешать геологу? Тщательное изучение своего района лишь подстегивает мысль, а организованные, сведенные воедино рабочие материалы будут основой более весомых построений. Эрвье умело использовал ситуацию и подвергнул на этот раз меня серьезному испытанию. Что ж, надо стараться стать соискателем и оставаться при этом искателем!

6

Разрешение на бурение трех поисковых скважин вскоре было получено. Юрий Георгиевич взял на себя ответственность за исследование «сомнительных» площадей. Но теперь перед нами встали препятствия иного порядка. Как ни длинна северная зима, но она на излете, и освободившиеся буровые мы вряд ли успевают перебросить на дальние точки.

Правда, в нашем распоряжении был стаянок, уже ожидавший разборки. Вначале его собирались перебросить на эту же площадь, всего на три километ-

ра восточнее. Но геологическому отделу страстно хотелось опробовать Мамонтовскую структуру.

— Пустое дело,— коротко сказал начальник выш-комонтажного цеха экспедиции.

— Пока бригада разберет буровую, пройдет полная неделя, а там и дороги рухнут.

В этот момент и заглянул в кабинет бригадир монтажников Николай Драцкий.

— Это почему же? — насторожился бригадир. — Вышка на ходу, до распутицы перевезем куда положено.

— Выходит, сумеешь разобрать и перевезти вышку за неделю? — раздосадованный его самоуверенностью, наседали начальник.

— Нет, этак никак не управиться! — вроде бы согласился с ним бригадир. — Вот если вышку не рвать, а со всеми потрохами так и тащить!..

— По дороге уронить хочешь?.. Выдумал! Где это видано возить, не разбирая?

— А хочешь посмотреть? — обезоруживающе улыбнулся Драцкий.

...После сравнительно теплых, пропитанных серым туманцем дней выдался хрусткий, ясный утреник. Влага воздуха, сгустившись, осела на голых ветвях осокорей и осин, осеребрила прутья кустарников и заросли тальника. Солнце не успело растворить остии инея (по-сибирски — куржака) и на конструкциях буровой, готовой в дальнейшем путешествие. Тросы, протянутые от вышки к тракторам, тоже были колючи от инея. Под стальные опоры вышки, или, как называют ее геологи, фонаря, подложены сваренные из труб полозья, а устойчивость сорокаметровой башне придала система растяжек. Чтобы фонарь не завалился по ходу каравана, один из пяти тракторов развернулся и весь длинный путь должен был пятиться, создавая необходимый противовес. Николай Драцкий и его помощник Александр Аплетин, оба одетые по-штормовому в непромокаемые куртки с капюшонами, осматривали позицию каждый со своего фланга. Драцкий отвечал за левую сторону, Александр обеспечивал правую.

Аплетин подбежал к молодому парню, чей трактор замыкал колонну. «Ослабишь тяги — сыграет вышка на твоих корешей, а чуть пережмешь — на себя опрокинешь», — предупредил Александр.

И не дав возразить, поспешил к другому водителю. Он сам «попарился» в кабинах тракторов в молодости, этот помощник бригадира монтажников. И, может быть, остался бы он механизатором в родной Тугульме, на стыке Свердловской и Тюменской областей, если бы недалеко от его поля не поднялась однажды буровая вышка, которой и сносный бор был до пояса. С той поры ставить такие башни стало его новым ремеслом, и все севернее и севернее уводили ажурные мачты бывшего землепашца... Вскоре Аплетин оказался уже у головных машин, быстро перекинулся несколькими фразами с Николаем Васильевичем и тут же сместился вправо и чуть вперед. А сам бригадир порылся вдоль трассы, размеренно и спорно, словно спортсмен на разминке. Метрах в семидесяти от Аплетина он остановился, тут же отыскал взглядом помощника и надолго ушел в созерцание дислокации.

Наш тягач находился совсем рядом. Я высунулся из кабины, готовясь принять знак бригадира. Но тот все медлил. Похоже, Николай Васильевич внезапно рассмотрел несообразность наших сил с громадой на полозьях. Но плохо знал я тогда бригадира.

Драцкий поднял правую руку в брезентовой варежке и резко бросил ее вниз, одновременно знер-

гичным гребком левой приказывая нашему вездеходу следовать дальше. Тягач отъехал с полкилометра и когда тормознул снова, караван уже стронулся с места: тракторы едва заметно продвигались вперед, и так же медленно плыла влекомая ими буровая. Машины тянули многотонный, готовый в любую минуту закрепиться фонарь на самой малой скорости, позволяющей обоим руководителям рейда подмечать малейшие сбои взятого темпа и на своих флангах давать указания водителям. Я с удивлением следил за стремительными рывками Драцкого и Аплетина, поочередно пропускавших вперед себя вышку, а потом резко смещавшихся в голову колонны, чтобы, настигнув трактор, обняться с его хозяином лаконичным жестом. Они никогда не сходились вместе, но неизменно держали друг друга взглядом, неуловимо для остальных согласуя свой маневр с действиями напарника.

Прошло без малого три часа, прежде чем Драцкий воспользовался свободным вездеходом. Бригадир тут же попросил развернуть тягач боком и через стекло, разлинованное проволочками обогрева, продолжал наблюдать за строем.

— Как пятится назад, а шука тянет в воду, — недовольно поморщился Драцкий и прихлопнул рукой по колену. — Сколько вашего брата учить в такой упрямке ходить! Все забываете начисто.

Николай Васильевич дернул дверцу и лихо соскочил со стального борта на снег.

— Ишь как сиганул! — удивленно заметил водитель. — Знать, еще не упрыгался! Только зря он на хлопцев. Как ни учи, бояться не выучишь!

— Небось завидуют тебе ребята? — поинтересовался я. Парень словно бы не расслышал и тут же пресек дальнейшие расспросы скрежетом переключаемых шестерней. Вездеход повесся к скрытому за поворотом трассы логу. Здесь мы и стали ждать. Ветви берез и осин, верхушки подбористых сосен заслоняли от нас караван. Водитель неодобрительно оглядел весьма неприятное для тракторного поезда препятствие, потом предупредил:

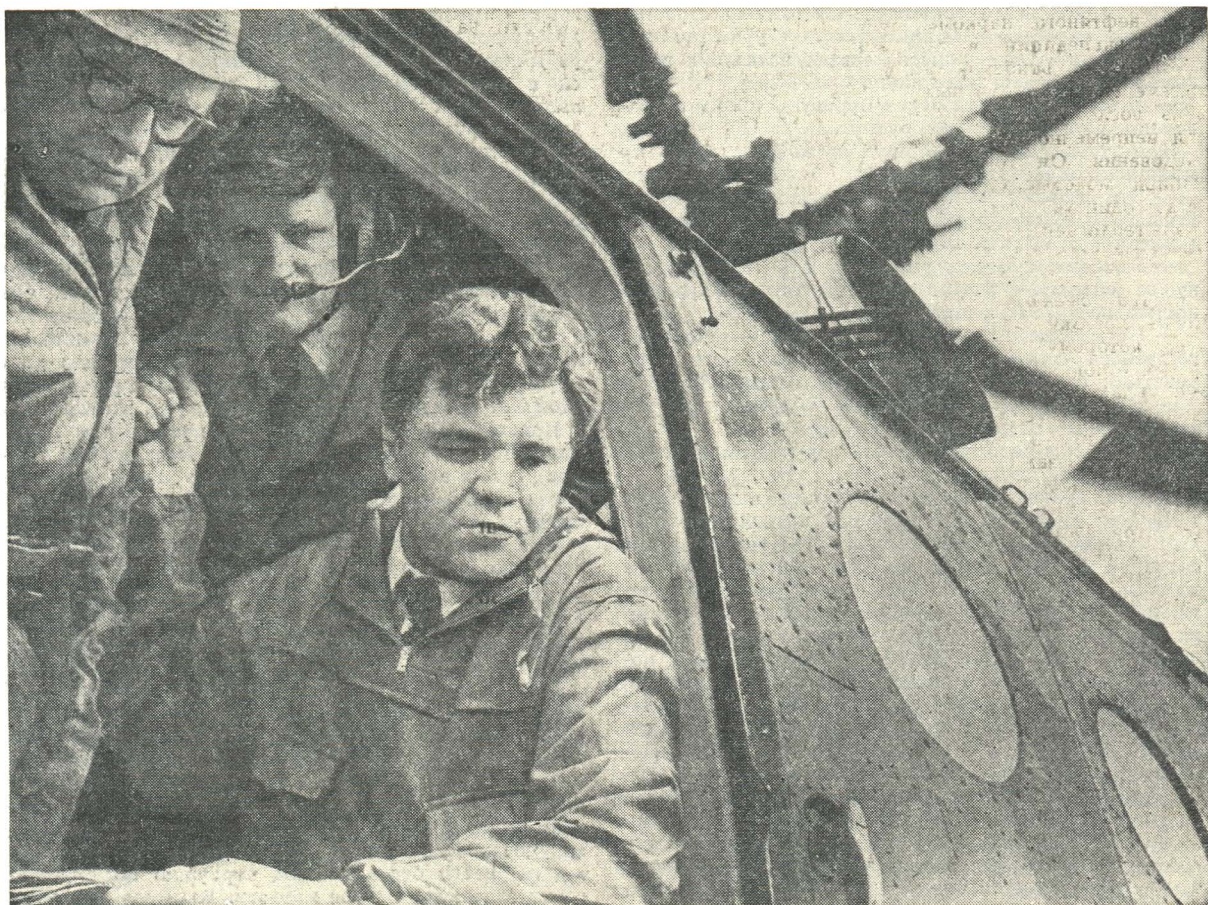
— Придется нам на время расстаться. Бригадир попросит подстраховать на спуске. Знаю, зачем он батюшку Крылова поминал!

Всем своим видом он выражал глубокое недовольство, но глаза его горели нетерпением.

Солнце полудня уже съело колючий куржак на деревьях, и степа леса имела довольно будничный вид. Но вот за нею показалась часть вышки с выливным флагом и начала продвигаться вдоль края, так же, как еле приметно для глаза приближается мачта судна, скрытого за петлей реки. Почти не видны были на голубом фоне северного неба струны растяжек. Но разве только они удерживали на весу буровую путешественницу! Припудренная инеем завеса гривки уже не могла скрыть от нас невидимые нити, связующие людей, двигавших трехсоттонную махину.

Первым появился на перекрестке Александр Аплетин, обогнавший поезд для того, чтобы посмотреть, как впишется он в разворот трассы. Трусса его была все так же свободна, словно не стояла огромного напряжения. Властным жестом регулировщика Аплетин подождал вездеход к себе.

— Что я вам говорил, в связку кличет! — встретился водитель. Вышедший на рубеж перед опасным спуском, караван замер, принимая подмогу. Отполированные слегом гусеницы бликовали на солнце; кабины заведенных тракторов вибрировали, и над подрагивающими радиаторами я различал молодые лица, ожидающие сигнала. Жажда небывалого ускорения толкала вперед колонну, и в натяже-



нии нервов, сплетении дерзаний и воли остро ощущалось единение моей судьбы с судьбами всех, кто был в связке.

Такая переборка буровых вскоре стала рядовым приемом бригады, а летом она первой начала перевозить вышки на палубах барж, специально приспособленных для опасного плавания. Николай Драцкий и Александр Аплетин смело создавали свои собственные правила и, постоянно обновляя их, подстегивали наступление нефтеразведчиков...

На «нефтяной остров» прилетел председатель Государственного комитета нефтедобывающей промышленности при Госплане СССР Николай Константинович Байбаков. Его сопровождал секретарь областного комитета партии Протозапов. Прежде всего гости захотели посмотреть скважину, находящуюся на окраине Нефтеюганска. Как раз к этому времени здесь заканчивались кропотливые исследования, и мы были обязаны закупорить ствол до лучших времен.

— Не очень приятная процедура? — осведомился Николай Константинович.

— Жалко глушить напрочь! — честно признался я. Внимательно взглядевшись, Байбаков лукаво заметил:

— А я, признаться, представлял вас совсем иным.

Я окончательно смешался. Безусловно, Протозапов сообщил нефтяному министру об особом мнении Салманова по поводу запасов Приобья и, вероятно, назвал и цифры. Но, может быть, Байбаков имел в виду вовсе не это? Вдруг он вспомнил сейчас тот первый послевоенный год, когда как депутат Верховного Совета СССР приезжал в Азербайджан для встречи с избирателями? Может быть, он не забыл и худенького паренька, который в Шамхорской школе, отчаянно волнуясь, заверил его, что твердо решил после экзаменов подать документы в геологический институт? Впрочем, такое вряд ли возможно! Слишком уж отличался тот всклокоченный юноша от тридцатипятилетнего геолога.

От Байбакова не укрылась моя растерянность.

— Мне аттестовали вас как изрядного оптимиста, а вы, вижу, подавлены временной консервацией, — разглянул он свое замечание.

У меня отлегло от сердца. Значит, Байбаков все не сопоставлял пылкого шамхорца со встреченным сегодня в Нефтеюганске Салмановым.

Николай Константинович с молодости впитал в себя заряд идей академика Губкина, не раз призывавшего нефтяников «обратить взоры за восточный склон Урала». И еще в сороковых годах, занимая

Предсказанный тюменскими учеными-геологами, забитый нефтью фонтан. Выброс наблюдают лауреаты Ленинской премии Иван Нестеров (справа) и Анатолий Сторожев.

пост нефтяного наркома, начал деятельную подготовку экспедиций в Западную Сибирь. Выступая в Шамхоре, Байбаков рассказал школьникам и о письме сибирских ученых-геологов, уже на второй день после Победы обратившихся к нему с просьбой непременно продолжить прерванные войной исследования. Он говорил о том, как пужны сейчас Сибири молодые, пытливые геологи-нефтяники. Вот тогда один из учителей и выдал гостю мое увлечение геологией...

Иногда бывают многозначительные совпадения. После поездки на скважину все собрались в здании, которому предстояло вскоре стать школой-восьмилеткой, а пока здесь располагалась контора. Вместо парт стояли конторские столы, вместо классной доски висела доска показателей, а географическую карту заменила геологическая. Но, как и много лет назад, я волновался, словно школьник. Вначале Николай Константинович предложил выслушать отчеты ведущих специалистов экспедиции. Министру были хорошо знакомы общие проблемы, и он иногда давал выступавшим понять, что распространяться подробнее излишне, зато просил всех непременно выделять вопросы надежности техники в суровых условиях и другие северные беды.

Когда настала моя очередь, сразу подошел к геологической карте. Я твердо намеревался воспользоваться приездом Байбакова, чтобы просить содействия в исследовании новых площадей. Хотел взять указку, но Николай Константинович вдруг предвосхитил мое намерение.

— Мне хотелось бы вначале выяснить, как показали себя «бакинцы» в северных широтах?

Я не сразу сообразил, что министр спрашивает вовсе не о геологах из Азербайджана, а о специальных агрегатах, которые нефтяники давно уже нарекли этим ласковым именем. Замешательство было секундным. И все же именно в это мгновение я понял, что ни за что не решусь просить поддержки Байбакова. Я указывал на карте структуры и площади, так ни слова и не сказав о препятствиях, мешающих смелее вторгаться в этот район.

Недавний выпускник Азербайджанского института нефтехимии Овод Бабаев недоуменно поглядывал на меня. Оводу была известна подоплека споров, но даже земляку я не смог бы объяснить, почему упускаю реальную возможность сдвинуть дело с мертвой точки. Никто в экспедиции не знал, чем обязан я Николаю Константиновичу. Та встреча в шамхорской школе стала толчком к выбору института. Она вспоминалась в студенческие годы, когда преподаватели, говоря о лучших выпускниках вуза, неизменно ставили в пример Николая Байбакова. Она невольно сыграла важную роль и при распределении.

Министр мог вспомнить строчки из письма азербайджанского ученого-нефтяника Михаила Владимировича Абрамовича, в которых содержалась просьба помочь его студенту Салмапову. Профессор просил Николая Константиновича использовать свое влияние, чтобы уберечь выпускника от распределения в южные районы и получить благоприятное назначение на Север.

Так мог ли я теперь искать покровительства Байбакова? Дважды предопределил он мою дальнейшую судьбу, дважды способствовал осуществлению еще пёстрых стремлений. Разве имею право снова вымаливать помощи!

Сам Николай Константинович еще не выступил. Нам сообщили, что после перерыва министр будет

говорить на общем собрании геологов. Тогда же возьмет слово и секретарь обкома. Через час буровики, испытатели, геосфизики заполнили помещение. Секретарь партийной организации Павел Николаевич Березуцкий заранее известил коммунистов, занятых на базе экспедиции. Николай Драцкий и его «адъютант» Александр Аплетин оказались рядышком. Сзади расселись плотники, поднимавшие в поселке новый брусчатый дом.

— Я давно хотел встретиться с вами,— поднялся Байбаков,— чтобы поблагодарить всех за важное открытие.

Николай Константинович заговорил о том, что сотни тысяч тракторов, автомобильных моторов, двигатели судов и самолетов, а теперь и ракет поглощают огромное количество нефтепродуктов. Нефть двигает экономику и помогает державе вершить политику миру. Потребление ее все нарастает.

— Освоение новых сырьевых районов — важнейшая государственная проблема, и у нас нет сомнений, что настала очередь Тюмени,— продолжал Николай Константинович.— Задача эта не из легких. Многие проблемы встанут впервые и встанут остро. Есть и обыкновенные аргументы против немедленного наступления. Отбрасывать эти сомнения нельзя, но нельзя и запугивать ими людей, уже прошедших «непроходимые» топи. Я обращаюсь к вашему опыту! До сих пор вы были лишь искателями нефти, сейчас вам необходимо стать и первоиспытателями недр. Предполагается наладить пробную эксплуатацию нефти из разведочных скважин во всем Приобье. От вас самих зависит, когда вновь открыть задвижки!

Николай Константинович не затевал проблем, не затрушевывал серьезнейших возражений и призывал первопроходцев рассчитывать не только на свой энтузиазм, но и на поддержку нефтяной индустрии других районов.

Потом выступил Протозанов. Он сообщил, что область разрабатывает широкую программу немедленного освоения Приобья. На стапелях Тюменского судостроительного завода к будущей навигации будут изготовлены первые нефтеналивные баржи. Тюменский обком партии добился разрешения изменить утвержденное этому предприятию задание. Нефтеналивной флот будет швартоваться у причалов на таежной Ковде, Юганской Оби, Меги. Именно на геологические экспедиции в первое время ляжет основной груз забот. И в то же время нельзя сдерживать темп открытий. Только обильные фонтаны новых месторождений позволят добиться средств и ресурсов для постоянной добычи нефти.

— Каждый коммунист должен считать своим партийным поручением участие в преобразовании края,— завершил выступление секретарь обкома.

Я смотрел на сидящих в конторе людей, взволнованных долгожданным и все же неожиданным известием о начале пробной проверки сибирских месторождений. Искатели нефти счастливы и самим поиском, но они счастливы вдвойне, когда их открытия служат ускорению уверенно шагающей в завтра страны!



АНДРЕЙ
ПОТЕМКИН

СТОИТ ПОДЛОДКА

В истории Советского Военно-Морского Флота есть немало овеянных боевой славой кораблей, которые, завершив свой боевой путь, не уходят на покой, а навечно остаются в строю. Это легендарные суда революции «Аврора» и «Красный вымпел», это ставшие на постаменты во многих приморских городах торпедные и бронекатера времен Великой Отечественной войны — все они напоминают нам о замечательных боевых традициях нашего флота.

Но самый, пожалуй, необычный памятник героям-морякам — Краснознаменная гвардейская подводная лодка «С-56», которая находится на постаменте вечной славы у бухты Золотой Рог во Владивостоке. Это единственный подводный боевой корабль, который, став музеем, продолжает нести свою флотскую службу.

Когда впервые видишь поднятый над землей семидесятивосьмиметровый, окрашенный шаровой и зеленой красками корпус лодки, то просто поражаешься, насколько красивым может быть «подводный крейсер». Гладко «зализанные» для обтекаемости надстройки, трепещущие на соленом морском ветру, налетающем из бухты, гюйс и кормовой гвардейский Краснознаменный флаг придают этому кораблю поразительную легкость.

История русского подводного флота на Тихом океане начинается с далекого 1904 года, когда в середине декабря с Балтики во Владивосток, на специальных железнодорожных транспортерах прибыли четыре подводные лодки.

Это был первый случай перевозки по железной дороге на большое расстояние подводных лодок водоизмещением более 100 тонн. «Касатка», «Налим», «Скат», «Фельдмаршал граф Шереметьев» — эти четыре лодки, прибывшие с Балтики, приняли участие в обороне русского побережья, стесняли боевые действия японского флота, препятствовали блокаде Владивостока в русско-японскую войну 1904—1905 годов.

Об этих событиях, об истории и становлении отечественного подводного флота рассказывает экспозиция первого «музейного» отсека «С-56». Вообще подводный боевой флот молод — еще в 1900 году ни в одном флоте мира не имелось боевых подводных кораблей.

Шли годы. После установления Советской власти в Приморье для укрепления наших дальневосточных границ в 1932 году был создан Тихоокеанский флот. И в состав его боевых кораблей в суровые дни осени 1941 года, когда враг подходил к Москве, вошла подлодка с коротким именем «С-56».

Напряженная боевая учеба, учебные походы, каждый день которых проходил под девизом: «Больше пота на учении, меньше крови на войне». Быстро летело время, и вскоре лодка стала одной из лучших на флоте.

Тревожные вести приходили с далеких фронтов — враг рвался к Волге, Кавказскому побережью. Каждый день на стол командира лодки ложились рапорты с просьбой об отправке на фронт. Ушел добровольцем под Сталинград командир носового орудия старшина 2-й статьи Бабак. Но на лодке все чаще и чаще говорили о том, что лучше бить врага всем вместе. Об этом мечтал весь экипаж. И этой, казалось бы, несбыточной мечте суждено было сбыться — для усиления Северного флота Государственный Комитет Обороны постановил перевести на Север часть тихоокеанских подводных лодок, в том числе и «С-56».

Это был трудный переход, да и времени на подготовку к нему было очень мало. Такие походы тогда еще не совершала ни одна лодка ни одного государства даже в мирное время. По морям и океанам, охваченным пламенем второй мировой войны, «С-56» прошла более 18 тысяч миль. За кормой остались девять морей, два океана, Панамский канал. В Тихом океане лодка попала в тайфун, в Саргассовом море — в центр свирепого урагана, Северная Атлантика встретила моряков жестокими бурями. Пришлось испытать и непривычную тропическую жару и ледяную поларную стужу.

Трудность перехода заключалась еще и в том, что надо было не просто дойти, не рекорд дальности ставили подводники — надо было сохранить силы, материальную часть для боя. Приходилось все время быть начеку — несколько раз неизвестные подводные лодки атаковали наши суда. В заливе Акутан на

«С-56» чужой невзорвавшейся торпедой был сорван лист килевой коробки в районе центрального поста, а на подходах к Сан-Франциско от вражеского удара погибла «Л-16», тоже шедшая на помощь североморцам.

И вот лодка в Полярном, необходимый ремонт, короткий отдых — и первый поход, первый бой. В сложных условиях приближающегося полярного дня, когда темного времени было всего около полутора часов, высажена в двухстах метрах от фашистской батареи разведгруппа, а потом потоплены два транспорта.

Начались боевые будни. Сначала учились воевать у прославленных подводников-североморцев — Лунина, Ведаева, Фисановича, Старикова. Потом уже боевой опыт «С-56» стал предметом изучения.

Нелегкая служба у подводников. Но самый тяжелый день в жизни лодки — 29 февраля 1944 года. Вот как вспоминает этот день командир лодки с октября 1941 года до победной весны 1945-го вице-адмирал в отставке, Герой Советского Союза Григорий Иванович Щедрий:

«В конце февраля в Баренцевом море зимние жестокие штормы. Море похоже на кипящий котел. Даже на тридцатиметровой глубине лодку кренит на борт на 8—10 градусов. Постепенно погода улучшилась. Мы искали вражеские караваны, но ранним утром 29 февраля встретились с фашистскими противолодочными кораблями.

Первая серия глубинных бомб разорвалась над лодкой около шести часов утра... И вот уже более двенадцати часов команда стоит по «готовности номер один». Несколько раз пытались уйти от преследования, но это не удавалось. Немецкие акустики не теряли контакта с лодкой. Нам пришлось отключить почти все механизмы. Оставалось только два источника шума — винты с вращающимися их электромоторами и вентиляторы системы регенерации воздуха. Надо было во что бы то ни стало перехитрить противника, оторваться от него.

Команда утомлена. Трудно простоять двенадцать часов под бомбежкой. А ведь в понятие «стоять по тревоге» входит напряженная боевая работа — рулевые вручную переключали рули, торпедисты трижды готовили аппараты к выстрелу, после взрывов бомб надо было осматривать все трюмы — нет ли течи. Все это нелегкий труд, тем более что дышать приходилось далеко не свежим воздухом. Надо было как-то еще уменьшить шумность.

Оставалось одно — выключить машинки регенерации. И пришлось подать такую команду.

Каждому на лодке известно, что значит в подводном положении прекратить очистку воздуха. Человек непрерывно выдыхает углекислоту. И если окружающий воздух не очищать, концентрация ее начинает расти довольно быстро, примерно на один процент в час. А это уже отражается на организме человека. Появляется одышка, головокружение. Потом головная боль усиливается, приходит мышечная слабость. При четырех процентах удушье становится мучительным, движения крайне затруднены. Если концентрация достигает шести процентов, человек теряет способность управлять своими действиями.

Снова и снова сыплются бомбы. В «готовности номер один» под бомбежкой находимся уже восемнадцать часов. Лодка меняет курсы, глубину погружения, скорость хода. Но всплывать нельзя, это верная смерть людей, гибель корабля. Хватит ли у нас сил и выдержки?

Дышать становится все тяжелее, стучит в висках, свинцом наливается голова.

Трудно и совсем не хочется двигаться, у всех естественно красные лица. Наступает апатия.

Какое-то деревянное равнодушие ко всему, даже к взрывам бомб. Так действует углекислота.

Вместе с секретарем парторганизации Ковалевым проходим по отсекам, подбадриваем людей. Душевность и умение повлиять своим примером на других — вот лучшие черты характера нашего парторга.

Вновь раздались взрывы глубинных бомб, на этот раз близко. Из отсеков поступают какие-то бесстрастные, ленивые доклады о том, что все в порядке.

— Часть людей нуждается в немедленном отдыхе. У многих наступила апатия. Содержание углекислоты выше четырех процентов, — говорит Ковалев (он по должности корабельный фельдшер). И добавляет: — Коммунисты держатся, товарищ командир.

Вот к кому надо обратиться за поддержкой и помощью — к коммунистам!

Перехожу к переговорным трубам и громко вызываю: «В носу! В корме!» Стучит кровь в висках. Как в пустой цистерне гулко и как-то далеко звучит собственный голос. Отсеки отвечают вяло, безразлично — «Есть».

— Говорит командир корабля! Я знаю, что все устали и выбились из сил. И все-таки нужно держаться. Разрешаю беспартийным отдохнуть. Коммунистов прошу стоять вахту за себя и товарищей. Не с приказом обращаюсь, с просьбой. Повторяю: коммунистов прошу держаться.

Первым ответил седьмой отсек — «Беспартийных нет, вахту стоим!». Из шестого отсека — «Беспартийные просят не сменять их, вахту несем все». Пятый отсек — «Личный состав просит считать всех нас коммунистами. На вахте будем стоять сколько понадобится».

И так все отсеки. С боевого поста не ушел ни один человек.

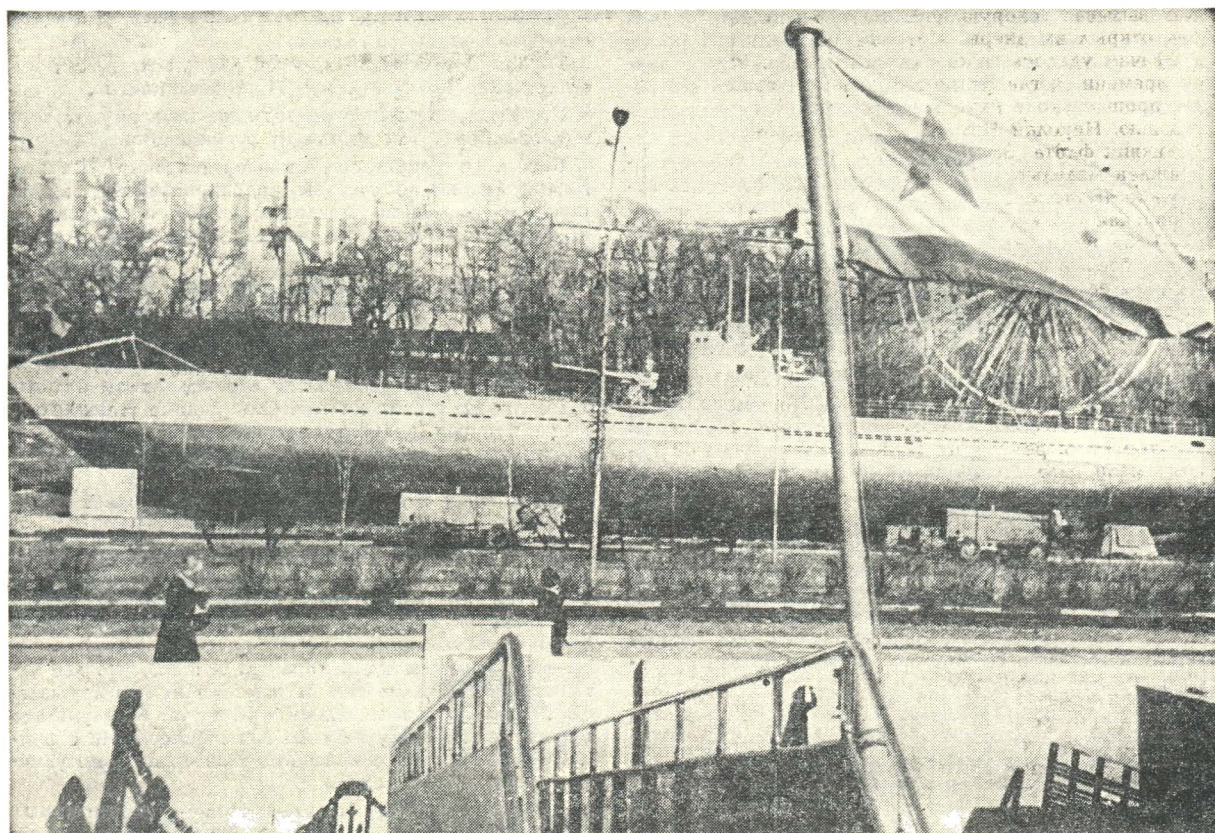
Четыре часа утра. Бомбежка еще продолжается, а на лодке по отсекам идет открытое партийное собрание: пять человек принято в партию, несколько — в кандидаты. В самую трудную минуту, в самый тяжелый для себя час моряки идут в партию, чтобы увеличить силы экипажа, боеспособность лодки. Все моряки, кроме пятнадцатилетнего юнга Юры Гладышева, первый раз ушедшего в боевой поход, стали коммунистами.

Фашисты, убедившись, что им нас не найти, уходят. Всплываем. Девять тридцать утра. Открываем верхний рубочный люк, я выхожу на мостик и, вдохнув свежий морской воздух, на мгновение теряю сознание.

Без отдыха на боевой вахте вся команда находилась двадцать восемь часов. На лодку было сброшено более трехсот бомб. Но фашисты ушли ни с чем — корабль серьезных повреждений не имеет, мы готовы к новым боям. А главное, дух всех моряков непоколебим!

«С-56» совершила восемь боевых походов. Особенно удачным был третий — четыре вражеских корабля нашли свою могилу на дне моря. А всего на боевом счету лодки четыре поврежденных и десять потопленных кораблей, общее водоизмещение которых более восьмидесяти пяти тысяч тонн. Фашисты сбросили на подводников более трех тысяч бомб.

24 июня 1945 года на Красной площади на историческом параде Победы в сводной колонне моряков



прошли члены небольшого экипажа Краснознаменной гвардейской «С-56» старшины I статьи Власов и Хлабыстин.

Окончена война. Лодка возвращается Северным путем во Владивосток, завершив крутосветный переход. Из Полярного, пройдя более семи тысяч миль, из них около четырехсот во льдах, что для тех лет было уникальным, она вернулась к месту своего рождения. Долгие годы на ней готовились кадры подводников. История лодки, ее боевые действия на Северном флоте были положены в основу художественного фильма — «Командир счастливой «Щуки». Появились на флоте новые, более совершенные подводные корабли, оснащенные ракетным оружием. И все же «С-56» оставалась в строю.

Когда вся страна праздновала тридцатилетие Великой Победы, лодка стала музеем. Много интересных экспонатов собрано в ней — фотографии и материалы, рассказывающие о вчерашнем и сегодняшнем дне подводников, судовые документы, награды, личные вещи героев-моряков, боевые флаги кораблей. Три отсека — посовой торпедный, кают-компания, центральный пост — остались такими же, как и в то время, когда лодка служила на море.

В первом отсеке открыты крышки торпедных аппаратов, покоятся под подвесными матросскими койками запасные торпеды. Через узкий люк попадаешь в кают-компанию, где рабочее место акустика — под едой это глаза и уши лодки. В центральном посту экскурсанты всегда задерживаются: каждому хочет-

ся взглянуть в перископ, через который подводники видели вражеские караваны, гибель фашистских кораблей, а сейчас открывается чудесный вид на город и выход из бухты Золотой Рог.

Среди экспонатов музея — фотография комсомольца Николая Наумова, совершившего в мирное время подвиг, равный фронтовому.

Николай был призван на флот, готовился к службе на лодке. Но после окончания учебного отряда попал не на боевую, а на прославленную «С-56». На всю жизнь запомнилась ему ночь, когда он был представлен дежурным по музею.

Это было в капут Дня Воепно-Морского Флота с 23 на 24 июля 1977 года. Около трех часов ночи раздался стук в дверь. Николай подошел, спросил: «Кто?» «Откройте, милиция!» Голос показался ему знакомым, и он сбросил с петли тяжелый дверной крюк. Кто-то шагнул ему навстречу, свет с улицы бил Николаю в глаза, и он не разглядел вошедшего. Но хорошо запомнил руку в черной перчатке, в которой был зажат нож, и то, что у двери на улице стоял еще один человек.

Первый удар бандит нанес в печень, второй — в сердце. Правой, израненной рукой Николай защищался от ударов ножом, а левой продолжал намертво держать дверной крюк. Последним усилием воли, теряя силы, он отбросил бандита и закрыл дверь.

На снимке: Краснознаменная гвардейская подводная лодка «С-56» на постаменте вечной славы.

Фото Л. Шимановича.

Как вызывал «скорую помощь» и милицию, как открыл им дверь, Николай не помнит.

Врачам удалось спасти моряка, хотя с того времени, когда он получил рану в сердце, прошло около пятнадцати минут. Риска жизнью, Николай Наумов спас священные реликвии флота. За этот подвиг он был награжден медалью «За отличие в воинской службе II степени» и знаком ЦК ВЛКСМ «Воинская доблесть».

«С-56» по-прежнему в строю. Над лодкой — боевые флаги. И каждый день многолюдно в ее отсеках — школьники здесь вступают в пионеры, молодые матросы принимают присягу, проходят посвящение в гвардейцы.

Служат сейчас на этой лодке матросы рождения 60-х годов — Андрей Теленкин из Читинской области, бывший до призыва трактористом, речник из Татарии Фаиз Сафин, мелиоратор из Восточного Казахстана Виктор Сафронов, охотовед Виктор Орлов из-под Кемерова. Все они отличники ВМФ, классные специалисты. До того, как прийти сюда, служили на боевых кораблях, на их форменках сверкают жетоны «За дальний поход». Чести служить на прославленной «С-56» удостоиваются лучшие из лучших подводников. Ребята проводят экскурсии по лодке-музею, и, когда слышишь их взволнованный рассказ о героической судьбе корабля, на котором они сейчас несут службу, убеждаешься, что лучшие боевые традиции Краснознаменной гвардейской подводной лодки «С-56» передаются как эстафета от поколения к поколению.

В нескольких метрах от легендарной подлодки, у стенки бухты Золотой Рог, стоит, чуть покачиваясь на волнах, «Красный выпел», мемориальный корабль, с которого начинался отменивший в апреле этого года свое пятидесятилетие наш Тихоокеанский флот. И сегодня мимо этих ветеранов флота идут новейшие боевые корабли, идут, отдавая дань уважения памяти тех, кто создавал флот, кто в годы суровых испытаний отстоял Родину, идут в моря и океаны, чтобы, как сказал, обращаясь к морякам-тихоокеанцам Л. И. Брежнев, «...с честью выполнять свой священный долг — надежно охранять государственные интересы Советского Союза».

Владивосток — Москва.



ЗЕМЛЯ У ОКЕАНА

Дружба «Юности» с Приморским краем зародилась год назад. Тогда, в дни празднования 80-летия со дня рождения А. А. Фадеева, редакция журнала приняла решение о шефстве над Домом-музеем писателя в селе Чугуевка. Редакция уже передала в дар музею несколько десятков книг авторов «Юности» с автографами. Сейчас готовится к отправке новая партия книг для фадеевского дома, но, конечно, наше шефство этим не ограничится.

Велик интерес к самому Приморью, к его людям, которые живут и трудятся там, на самой дальней точке «нашенского края», края особой революционной и трудовой романтики.

Больше половины строителей, моряков, рыбаков, лесников, шахтеров края — молодежь, а весь торговый и рыбачий флот в Приморье называют комсомольско-молодежным. Так что не случайным был особый интерес редакции к делегации приморских комсомольцев, прибывших на XIX съезд ВЛКСМ.

Накануне открытия съезда у нас в «Юности» побывали руководители приморской делегации, секретари крайкома комсомола — Вячеслав Бутаков (на снимке слева) и Владимир Лепешкин. Встретиться со всей группой нам не удалось: в этот день многим из ребят вручали награды. Премию Ленинского комсомола здесь, в Москве, получили Валерий Яковлев — 26-летний старший помощник капитана и Сергей Позняков — механизатор-рисовод, собравший в трудном для сельчан сезоне семь годовых норм зерна.

Гости редакции рассказали об ударных комсомольских стройках Приморья — среди них самый крупный в стране порт Восточный — морские ворота БАМ, Приморская ГРЭС, инженерные рисовые системы, о работах молодых ученых Дальневосточного научного центра Академии наук СССР, о службе воинов-пограничников.

Узнали мы и об открытии интернационального детского дома, построенного советскими моряками. Полтора года назад Галина Родионова, член экипажа теплохода «Любовь Орлова», увидела в кампучийском порту беспризорного мальчишку и привела его на судно. Все родные мальчика погибли. Немало таких бездомных сирот встречали наши моряки на причалах порта Кампонгсаом. И тогда члены экипажа решили оборудовать для детей детский дом. На строительство вместе с советскими морскими вышли и местные жители. Сейчас в этом доме живут и учатся сотни кампучийских детей.

Словом, в год 60-летия установления Советской власти на Дальнем Востоке интересных начинаний у приморцев много. О них наши читатели еще не раз узнают из публикаций журнала.

АННА ПУГАЧ



ДАЛЬ
ОРЛОВ

ПАРАБОЛА

Пространство и время — две фундаментальные категории бытия в трехмерном и первом нашем мире — приходится вспомнить несуетливо, приводя в порядок впечатления от персональной выставки скульптора Юрия Чернова. На афишах ей присудили название «Скульптура малых форм», что мне показалось не совсем точным, поскольку определение «малых» подразумевало в данном случае не больше чем размеры работ и слишком подчеркивало озабоченность отъединить собранное от того, что делается Черновым как мастером монумента.

Чернов выдержал это испытание на разрыв, еще раз доказав, что художник, уж коли он таковым является, в сути своей едип и, одалживаясь материалом у хаоса, он возвращает его в форме образа, сколько бы ни пошло на это дело бронзы, глины, пластика, бетона, мрамора — много или мало...

Малые скульптуры Чернова стояли вдоль улицы Горького, одни лицом, другие спиной к прохожим, плывущим по глади тротуара. Это не есть метафора, а только констатация факта, ибо выставочный зал Союза художников располагается в первом этаже дома № 25 и тянется как раз вдоль главной улицы Москвы, отделенный от нее только просторными толстыми стеклами да развешанными за ними листами «Агитплаката», издания, возглавленного лет 25 назад недавно умершим известным графиком Вениамином Брискиным. Автор этих строк отдал тогда дань дружеским еженедельным сборищам поэтов и художников для обсуждения эскизов и четверостиший к ним, привлекаемый сюда почти меймартровской раскованной атмосферой и нищенской тягой к прелестям аккордной оплаты. Рабочая часть заседаний находила естественное продолжение в пивном баре с двумя круглыми шарами над входом на площади еще не передвинутого, кажется, тогда Пушкина, где под хруст солевой соломки мы выражали симпатии друг другу. Славный тут собирался народ...

Юрий Чернов в то время «ставил руку» в мастерской Н. В. Томского, будучи студентом Суриковского института, и мне был еще неведом.

А автобиографическая эта ностальгия не от банальной привычки говоря о другом, не забыть и себя, что, как известно, неистребимо в каждом пишущем, лепящем, рисующем, сочиняющем или исполняющем. Здесь другое. Здесь, кажется, наше время начиналось. «Агитплакат» — только одно из многих начал

тех дней, окрашенных неповторимым дыханием бурной инициативы. Между прочим, и журнал «Юность» именно тогда явился. Начиналось время, овеванное не именем, вет, а названием таинственной должности — Главный Конструктор и всемирно, наоборот, поименованным Юрием Гагариным. Время Юрия Власова, красавца, эрудита и силача, заткнувшего за пояс бесформенного американца Андерсона, время зари необъяснимо молодого Модарта шахмат — Михаила Таля и время бросившего в нас первые свои строки Андрея Вознесенского с его «Мастерами» и «Параболической балладой», в которой провидчески сообщалось, что «судьба, как ракета, летит по параболе...». Начиналось время бездомного еще «Современника» с «Голым королем» в гостинице «Советская» и Булата Окуджавы, еще не атакуемого, как сегодня, слушателями, а искавшего слушателей для своей лиры и гитары, натывавшегося порой на глухой брандмауэр неприятия, но упорно славящего «шарик голубой». Время второй молодости Твардовского и Светлова и первых острот Паперного...

Каждый может быть объяснен в отдельности, но нельзя понять каждого вне совокупности.

Юрий Чернов — тех же корней. Когда кончилась война, ему было десять лет. Восторг 9 мая 1945 года и 12 апреля 1961-го, когда люди услышали гагаринское «Поехали!», живет в его крови. Без этого не могла бы появиться, скажем, бронзово-мраморная композиция «Высота». Мужская и женская фигуры в полный рост. То ли геологи, то ли строители, то ли топографы — они смотрят вперед поверх облаков, сами бронзовые, облака мраморные. Время создания — 1981 год, ровно через двадцать лет после полета Гагарина. Но они и Гагарин — дети одного времени, их дыхание синхронно. Голова — в холоде стратосферы, ноги — в тепле Земли. Малая форма, а строгость — и голова чуть кружится от высоты...

Воображение Юрия Чернова дисциплинировано пониманием конечной цели вещи. На входе «черного ящика» его фантазии — образ, предопределенный мыслью о нашем времени, на выходе — безусловное, хотя нередко и парадоксальное пластическое решение. Это все та же парабола, в слове ухваченная Вознесенским, в шахматах — Талем.

Посмотрите на бронзовую фигуру Юрия Гагарина. Нельзя объяснить, как удалось скульптору передать в ней и эффект невесомости и ощущение доброй земной тяжести одновременно. Здесь заканчивается власть слова и начинается полигон другого искусства. Здесь новый выход, как и в случае с «Высотой», к символу породившего художника времени. Символ, однако, всегда рискует продрогнуть в холоде абстракции. Художественный темперамент Юрия Чернова таков, что не дает разомкнуться сердечному контакту между наблюдателем и наблюдаемым объектом. В поисках такого контакта скульптор и изобретатели и упрямо последователи.

Отполированный скоростями, не продуваемый для звездных ветров костюм Гагарина, воздвигшего руки то ли восторженно, то ли недоуменно, не мертвая, но живая в своей материальности оболочка, она не скрывает суть образа.

Решая облаченную натуру в изящном и драматургически неожиданном триптихе «Утро», «День», «Ве-

чер», скульптор и тогда не изменяет себе как выразителю современных преимущественных симпатий, находит в очерке и ритме фигур, в их взаимодействии то, что созвучно кардиограммам, настроениям и обликам дня нынешнего. Такова и бронзовая многофигурная композиция «Юность» и одинокая «Девушка с тканью», выточенная из пластмассы.

Время узнает себя в этих работах, время...

Но узнает себя в них и современное пространство, как ни странно может прозвучать такое словосочетание для требовательного уха. Разве может быть пространство современным или несовременным? Пространство же, простите, есть в некотором роде пусто, вечная и неизменная!.. Но, тем не менее и оно сообщает о календаре, если за организацию его берет художник. Один из аргументов в пользу этого положения — созданное Юрием Черновым.

Работает в Киргизии замечательный кинооператор-документалист А. Видутирис. Недавно он поставил, впервые как режиссер, художественный фильм «Мужчины без женщины», но сложнейшие трюковые съемки в горах, там, где проходят линии высоковольтных передач, несущие энергию Нурекского каскада, сделал сам. И это в фильме оказалось наиболее интересным. Камера А. Видутириса мужественна и крылата, человек, идущий над бело-голубой пропастью по проволоке, будто окуджавазская непостижимая циркачка, теряет не только страх, но и вес. Пространство в горах, всегда дикое и бесхозное, здесь словно послушно сворачивается к ногам человека и начинает с ним сотрудничать. Пространство становится современным, оно отвечает на наши надежды голосом из сегодняшнего дня.

«Привлечь к себе любовь пространства» мечтал Борис Пастернак.

Есть у Юрия Чернова композиция — некая вертикальная строка из коленнсогнутых ферм, на которых работают люди. Идет монтаж чего-то крупного, неохватного для глаза. Архисовременного. Вглядитесь: вся конструкция загадочно крепится ни на чем. Она и монументальна и полетна сразу. Наше воображение с готовностью откликается на призыв автора домыслить, дорисовать, донаселить пространство. И мы домысливаем, дорисовываем, донаселяем. И домысел наш в историческом смысле конкретен. Пространство в фильме, в скульптуре, в строке оказывается современным. У Ю. Чернова оно как бы разъяло себя на рифмованные объемы, и вот уже не скульптура разместила себя в пространстве, а пространство поселилось в скульптуре.

То же впечатление от бронзовой композиции «На стройке» (к чему крепится тяжелая панель, которую «втирает» рабочий? К подъемному крану? Но его же нет!) и от композиции «У зеркала»... Легко опершись на высокую раму, разглядывает себя в зеркале нагая девушка. Плоскость зеркальной поверхности дописана только нашим воображением. Так может сыграть актриса: выйти к рампе и поправить прическу, как перед зеркалом. Мы ей поверим.

(Активно опираясь на зрительское домысливание молодой «Современник». «Голый король» тому подтверждение.)

Форсированная активность воображения, «мозговая атака» (термин наших дней!) на решение конкретной творческой задачи, умение выявить связи между, казалось бы, несовместимым и несвязанным, обнаружить в статике движение, а в движении — мудрость покоя, напористая диалектичность — вот черты, в высшей степени свойственные лучшим художникам того поколения, к которому принадлежит Юрий Чернов. «И я несчастлив оттого, что счастлив, и снова счастлив, что несчастлив я...» — так передавал одно-

временность взаимоисключающего молодой поэт Евг. Евтушенко в свое время.

В искусстве пластических форм Юрием Черновым сказано свое слово, и в этом смысле насколько ему повезло родиться скульптором, настолько скульптуре повезло найти Чернова.

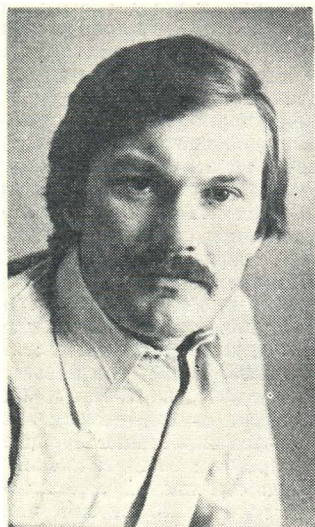
Интересно, что он редко прибегает к изображению человеческого тела, схваченного в той или иной фазе движения, к тому, что в кино мы бы назвали стоп-кадром. Хотя нечастые примеры этого, как «проба пера» («Девушка, надевающая чулок», остроумная миниатюра «Борцы»), подтверждают его недюжинные здесь возможности. Судя по последним работам, Юрия Чернова увлекает роль режиссера, умеющего поставить спектакль как с одним актером, так и с целой труппой. Сколько внутренней драматургии в скульптурных монументах, один из которых называется «Терентий Мальцев», другой — «Молодая художница», третий — «Скульптор Т. Садыков в новой мастерской».

Но вот перед нами не отдельные исполнители, а групповые мизансцены, встречи фигур, сошедшихся, чтобы поведать о своей жизни. О нашей жизни.

Десятилетней давности эскиз в гипсе «Автопортрет с дочерью». И самые новые работы этого плана: «Время беседы» (1981 г.), «Отец и сыновья» (1982 г.). В первом случае — поиск линии, соотношения объемов, дистанций, многообещающая заявка на сюжет. Во «Времени беседы» сюжет, кажется, договорен до конца: стрелки на часах, вокруг которых сидят пятеро мужчин, близятся к полудню, впереди большая и, наверное, труднейшая часть дня. Они, эти серьезные люди, беседуют не друг с другом — то было утром, — теперь пришла пора каждому побеседовать с самим собой, поразмыслить о будущем. Как в доброй мхатовской мизансцене, они общаются «через спину», взгляды не пересекаются, взгляды брошены в пять концов света. Но люди монолитно едины под часами, приподнятыми на постаменте, форма которого неуловимо напоминает абрис пограничного столба. Они на новом жизненном рубеже, эти люди одного поколения — умные, сильные, трудовые.

Рубежи жизни, ступени возрастания, по которым шагает современник, сэрверствуя душу, — внутренний смысл, быть может, одной из самых впечатляющих работ на выставке — «Отец и сыновья». Тесная группа молодых, полных сил, крепких, поистине из кованого металла сыновей. Уверенно и плотно стоят они на земле, едино устремив взгляды на сидящего в лодочке-кресле маленького, сухонького, большелобого отца. Он как бы отплывает от них в Лету, последним взглядом требовательно лаская тех, кого оставляет вместо себя. И снова в этом умении решить в одной мизансцене одновременно и отторжение и сближение, разлуку и встречу, движение вне и внутри мы узнаем «черновскую» руку. Эксперименты с пространством дали здесь поистине поразительный результат: светлая грусть и мудрая уверенность в вечности всего живого и доброго, что завещано нам, а нами будет передано дальше, новым людям, растворены в атмосфере этой встречи-расставания отца и сыновей.

Мне нравится сделанное Юрием Черновым к сегодняшнему дню, нравится потому, что я вижу в нем выразителя своего поколения, неповторимую творческую индивидуальность. Вижу скульптора, художника, талантливо обнажающего суть нашего интереснейшего времени и воплощающего размах пространства, в котором довелось нам жить и работать.



ВЛАДИМИР
СТЕПАНОВ

У РОДНОГО ПОРОГА

Нечерноземье... Обширный край, славный своей историей и делами сегодняшними, одна из важнейших ударных строек комсомола, которую недаром называют «второй целиной».

Продовольственная программа, принятая майским Пленумом ЦК КПСС, предусматривает в огромном комплексе общегосударственных мероприятий дальнейшее преобразование и обновление российского Нечерноземья. Большие и сложные проблемы предстоит решать советским людям, нашей молодежи

по претворению в жизнь важнейшего партийного документа.

О некоторых из этих проблем очерк молодого писателя Владимира Степанова, рассказывающий о сегодняшней нови и трудностях роста хозяйств Калининской области.

Весной я приехал в калининскую деревню, встретил знакомого председателя. Поговорили о близкой посевной, о весенней распутице, превратившей чуть ли не все наши проселки в сплошное бездорожье, и как-то само собой зашел у нас разговор о лошадях: вот, мол, самый надежный транспорт.

— Лошадей у меня хватает, с полсотни во всем колхозе будет, — не без гордости сказал Михаил Петрович Шведов.

Эти слова подтолкнули меня попросить у Михаила Петровича лошадь: дескать, хочу верхом по району проехать. Чтобы моя просьба прозвучала убедительней и занимала в глазах председателя вес, я подкрепил ее мыслью о давнем желании поближе узнать район, посмотреть, как осваивается наше местное Нечерноземье.

— А может, машину? — предложил председатель. — На ней ведь быстрее и удобней. На недельку я могу и свою выделить.

— Нет, мне бы лошадку. Чтобы, не торопясь, по лесным проселкам...

— Ну тогда лошадь с колесами. Найдем какие-нибудь дрожки.

— Только верхом. Лишь бы седло было, — настаивал я.

— Верхом так верхом, — согласился Шведов. — Правда, неудобно в седле ездить, тут привычка нужна.

Получив председательское согласие, я всерьез задумался о маршруте. Нужно было выбрать такой, что не просто можно бы пройти в несколько дней, а который бы дал пищу уму и сердцу. Шоссеиные дороги с лежащими вблизи них поселками и большими селами сразу отпадали. Какой интерес нудно тащиться на лошади по асфальту, преодолевая десятки верст, если этим путем на машине можно проехать за несколько минут? Куда привлекательней малоезжие дороги, заросшие просеки, лесные тропы. Пешком их пока одолеешь — без ног останешься. Конь здесь самый верный вид транспорта.

Я сидел над охотничьей картой Спировского района, и вдруг меня осенило: «Хутора!» Это же совсем рядом, под боком райцентра. И такие глухие места!..

На хуторах мне уже бывать приходилось во время охот. Правда, случалось это зимой или глубокой осенью, и добирались мы туда лесами, болотами. В летнем расцвете эти места не видели, проходили дальше.

А между тем еще с детства жила во мне мечта съездить на Троицкие хутора. Десятки раз проходил и проезжал деревни Горбуново, Козлово, Зыбуново, добирался до Любинки, бывал в Большом Дворе и Попове, а где-то между этими деревнями и дальше оставался огромный клин непознанной земли с таинственными для моего тогдашнего сознания названиями: Лапотиха, Троицкие хутора, Четвертый поселок.

...И вот знойным июльским утром в председательском «уазике» мы едем с Михаилом Петровичем в Козлово за лошадью. В Центральной Спировской бригаде свободной не нашлось. Горячая пора — сенокос, все лошади заняты, они даже розданы на руки кол-

хозникам, что постоянно возят на них сено, траву на силос. Шведов рассказывает печальную историю:

— Прихожу я в одну семью, говорю молодой: мол, давай, дочка, стипендиатом от колхоза в институт пошлем. Та вроде бы и не против, а мать ни в какую: «Останешься в колхозе — прокляну. И чтобы ноги твоей тогда в доме не было!» Так что агитировать теперь не молодежь, а родителей больше надо.

Насчет агитации Михаил Петрович, пожалуй, прав: много лет проведя на тяжелой крестьянской работе, хлебнув лиха в пору мизерных трудодней и всяческих перегибов, старые колхозники стараются сплавить своих детей в город, почему-то уверовав, что там труд легче, хлеб слаще, а жизнь лучше. Проблема не нова. Переломить такой взгляд можно лишь конкретным делом, переустроив деревни и села Нечерноземья, создав здесь для людей все условия жизни, не уступающие городским. Правда, самому Шведову — председателю припоселкового колхоза — агитировать молодежь, чтобы та оставалась в деревне, почти не приходится: минуло то время, когда за каждые рабочие руки, даже не очень умелые, держались, как за спасительные, когда с боем отпускали из колхоза. Теперь в председательском столе лежит целая пачка писем от желающих приехать и работать здесь. Приезжают и без писем. Шведов всех, огулом, не принимает, просто не может принять, хотя в последние годы в «Мире» построено несколько десятков двухквартирных и три многоквартирных дома. Жилье уже занято. В основном специалистами и молодежью — интересно, что среди нее преобладают не дети колхозников, а рабочих и служащих из поселка Спиридово, других близких и отдаленных мест. К примеру, не первый год работают в колхозе братья Александр и Владимир Лукины, Любовь Булгакова и Надежда Гусева, Анатолий Крылков и Николай Бусаев, десятки других ребят, чьи родители к сельскому хозяйству не имеют никакого отношения. Председатель нередко отсылает желающих, даже людей с высокой квалификацией, в соседний, тоже припоселковый колхоз «1 Мая». Там и жилье есть незанятое, да идут неохотно, просят в «Мир». Оказывается, дело не только в благоустроенной, со всеми городскими удобствами квартире. Людей привлекает работа в сложившемся коллективе, где есть свои традиции, свой крепкий порядок. И все же среди этого потока заявлений председатель улавливает одно течение и, образно говоря, направляет его в русло своего колхоза. Это заявления местных уроженцев. И не потому вовсе, что здесь часто отпадает проблема обеспечения жильем, нет. Местные привычны к сельскому труду, знают дело, их связывают с колхозом нити родства, преемственности поколений. Даже когда у них нет подходящей специальности, Шведов все равно за них держится. Вот совсем недавно, этой весной, вернулся на родину Александр Петров. Видно, помытарился парень за восемь лет жизни на чужбине. Хотя и хорошоился перед сверстниками и знакомыми, приезжая чуть ли не каждый год домой в отпуск, мол, живу не тужу, зарабатываю прилично, да видно, что-то было не так, чего-то ему не хватало. За время отлучки умерли родители, в доме живет теперь сестра. Куда деваться молодому мужчине с женой? Вступил в колхоз, сейчас на скотном дворе откармливает молодняк. Как будет сдан очередной жилой дом, Шведов обещал дать в нем квартиру семье молодого колхозника.

Жилищное строительство — одна из главных забот председателя. В декабре было 10 лет, как он принял колхоз «Мир». Тогда здесь почти не строили. Хотя, если уж говорить откровенно, и прежний председатель В. И. Власов, ушедший на пенсию, был неплохой руководитель. Вообще этому хозяйству везло на председателях: чехарды в смене руководства не было. За последние 30—40 лет у Шведова было лишь два предшественника-председателя — Василий Николаевич Логинов и Василий Иванович Власов, и оба оставили этот пост по болезни, по возрасту. Развернуть на селе стройку в пору их руководства еще не пришел момент. Он созрел с выходом в свет постановления партии и правительства о преобразовании Нечерноземья. Лишь тогда в колхозе появились средства, которые можно было пустить на строительство, на закрепление кадров. Шведов усмотрел гвоздь этого вопроса в обеспечении людей жильем и на этой основе привлечение к сельскому труду молодежи, молодых семей. Причем почти сразу он понял, что ни к чему строить дома многоквартирные, достаточно одно-двухквартирных, и чтобы земельный участок, необходимые хозяйственные постройки для птицы, скота, мотоцикла были под боком. Именно на использование таких проектов сориентировалось в колхозе строительство. За две последние пятилетки в новые квартиры переселились семьдесят семей колхозников.

Правление колхоза учло и такой момент, как желание некоторых семей иметь с в о й дом — им предоставляется не только кредит на строительство, но и дается возможность, вселившись в колхозный дом, в течение нескольких лет выплатить его стоимость, дом тогда станет собственным.

Вот уже несколько лет в колхозе не затихают строительные работы. Строят здесь с размахом. Причем не только жилье. Поднялись корпуса новых механических мастерских; в открытом поле неподалеку от деревни Спиридово выросли три коровника на 200 голов каждый — целый животноводческий городок, комплекс; рядом за прозрачной стеной из полиэтиленовой пленки уже ранней весной зеленеют лук, огурцы: прибыль от теплицы вроде бы невелика — 4 тысячи рублей в год, но дорого другое — возможность разнообразить крестьянский стол, порадовать колхозников и рабочих райцентра ранним овощем. Построены также склады, зерноперерабатывающий комплекс, пилорама, мельница. В просторном, светлом здании детского комбината поселилось 50 ребятишек колхозников.

Жилищное, хозяйственное и культурное строительство не может развиваться без хороших дорог. Так считает Шведов. Бездорожье — давний бич всего Нечерноземья — тормозит развитие многих направлений сельскохозяйственного производства. Поэтому строительство дорог с твердым покрытием входит теперь в единый комплекс строительных работ. В последнее время в «Мире» проложены внутренние дороги во все бригады, а на центральной усадьбе дороги заасфальтированы.

По подсчетам экономистов, за последние десять — пятнадцать лет все строительные работы обошлись почти в миллион рублей, выделенных хозяйству государством. Сумма немалая. Шведов верит, что эти деньги окупятся сторицей.

— Будут кадры, будут обеспечены хорошие условия труда — будет и хлеб, молоко, мясо, — уверенно

говорит он.— Пока же мы в долгу у государства. Но сейчас, думаю, не задолжав, не подныться.

В этих словах председателя скрыт немалый смысл, и в нем реальное понимание проблемы и тех задач, что выдвинул майский Пленум ЦК КПСС: без больших капитальных вложений Нечерноземье не поднимешь, важно только, чтобы те огромные средства, что отпускаются государством на освоение обширного региона страны, не рассеивались, не тратились попусту, чтобы каждый вложенный рубль спустя год, пятилетку обернулся десятью, двадцатью рублями дохода и, главное, обеспечил обилие продуктов на нашем обеденном столе. Именно так понимают проблему преобразования председатель колхоза «Мир» Шведов, лучшие труженики и специалисты хозяйства.

«Уазик» вкатил под раскидистые тополя деревни Козлово. Справа среди почерневших срубов изб альбиносом смотрелось приземистое кирпичное здание, светлое от множества окон.

— Бригадный дом,— кивнул в его сторону Шведов.— Здесь и библиотека, и медпункт, и зал для собраний, концертов, проката кинофильмов. Пока такой только в одной бригаде, а надо бы во всех построить. С одной стороны, может, и не оправданно это — почти одни старики в деревнях остались, а с другой — жаль, совсем захиреют деревни, да и шефам, что помогают в горячий сезон, очаг культуры нужен.

— Кстати, об очагах,— вспомнил я давно смущавший меня вопрос.— Вот строите вы сейчас на центральной усадьбе клуб на 200 мест, будущим летом думаете открыть, а нужен ли он? Не будет ли пусто-вать? Ведь до районного Дома культуры десять минут ходьбы от правления.

— На то же моя воля, воля колхозников,— развел руками Шведов, и в его широкой улыбке, в глазах с нарастающей усталостью от хлопотного вчерашнего дня я заметил несогласие, вызов моему вопросу.

— Нужен колхозу клуб,— уверенно продолжал председатель.— Люди сами его пожелали. На каждом собрании, на районной партконференции поднимали этот вопрос. Не всем по вутру в домино допоздна стучать, не заменит живого общения цветной телевизор. А вот как мы сумеем организовать культурный досуг — это другое дело. Клуб без людей — голые стены. Так что надо уже думать, где взять хороших клубных работников, чтобы с душой, со знанием вели дело.

Бригадир в Козлове, как и в некоторых других деревнях, с недавней поры не существует. Должность эта устранена из штатного расписания по причине малого количества трудоспособных. Официально обязанности бригадира легли на агронома. Те дают указания колхозникам и шефам, какой работой заниматься, но, по существу, кроме полевых работ, которыми ведают агрономы, в бригаде множество и других дел. Хотя бы забота о тех же лошадях. Анна Петровна Егорова как доброхот или по давней бригадирской привычке взяла ее на себя.

— Какую ж вам дать, чтобы порезвей была и правом смирная? — выслушав председателя, озадаченно размышляла она.— Вон та рабочая, в косилке ходит. Эта с ней в паре. На той сено гребут. Это жеребая. Те две молодые, необъезженные. Вон та кобылка ладная да с жеребенком. Возьмете? Нет. У Мальчика плечо хомутом сбито, видите? Ну берите вон того солового мерина, он резвый, только плохо ловится.

Соловый мерин оказался хромым, когда, вернувшись в Козлово с седлом уже без председателя, я поближе разглядел его. Рана была пустяковая — обод-

рана кожа на голени задней ноги, но мухи так липли к покрытой коростой болячке, мерин так остереженно хлестал их хвостом, что почти не стоял на месте. Куда ж на таком по лесу ехать? Пришлось взять другого коня — гнедого Мальчика со сбитым плечом. Он легко дал надеть на себя узду и седло, не проявлял беспокойства, когда его взнуздывали и подтягивали подпругу. Оседлав, я внимательно разглядел Мальчика. Это был крупный рабочий конь, его некованные копыта были широко растоптаны, как старые ветхие сапоги, сквозь кожу заметно проступали широкие, крутые ребра.

...Конь легко шагал по знакомой проселочной дороге. Признаться, я не ожидал от него такой прыти. Стоило взмахнуть сломенной на ходу хворостиной, как он резво припустил рысью и почти сразу перешел в галоп. Я прыгал в седле неоловким болванчиком, сознавая, что почти начисто утратил навыки верховой езды, приобретенные когда-то в детстве. Придержал лошадь и стал принаравливать к езде шагом. Поначалу это было нудное, прямо-таки мучное занятие. Хотелось вскачь пронестись те шесть километров, что разделяют Козлово и Спиново, а тут надо неоловко шататься в седле, плестись со скоростью пешехода. Мало-помалу, уже подъезжая к Горбуньву, я почувствовал, как откуда-то из глубин физической памяти возвращается умение держаться в седле. Так бывает с каким-нибудь давно забытым делом. Не брался за него лет пять, глядишь, и позабыл, не умеешь. Когда-то простое, привычное, оно кажется теперь мудреным.

Почувствовав себя в седле уверенней, я уже пускал коня рысью и немногом галопом. Галоп у него выходил неважный, какой-то мелкий скок, а не галоп. Удивляться тут, пожалуй, не стоит: заезженная рабочая лошадь. Что с нее взять? Может, и были когда-то заложены в ней скаковые качества, да все выжили: тяжелая колхозная работа вымотала начисто.

Удивляюсь, когда слышу, мол, лошадям теперь в деревне делать нечего, мол, жиреют они без работы и только, пора-де всех на живодерню сдать — холбасы больше будет. Превратное мнение. Конь был, есть и будет незаменимым помощником крестьянина, и только неразумный хозяин спешит поскорее избавиться от него, как от лишней работы, и гонит трактор в непролазное бездорожье за копной сено, гробит машину на топкой пашне, пытается вывезти из бурта остатки картофеля на животноводческую ферму. Не раз наблюдал я и такую картину. Сняв прясло изгороди, загоняют в огород колесный трактор «Беларусь» или «Владимирец», чтобы вспахать под картошку усадьбу в пятьдесят соток. Сколько останется после него вывороченных с корнем ягодных кустов, полуманящих яблонь и вишен, сколько невспаханых закрайков — хозяин и сам потом не рад, что связался с техникой, да не поправишь дела. А если не под силу поднять огород вручную? Не оставается же без картошки на зиму. Тогда как быть? Конь на такой работе просто незаменим, и в основном он не жирует без дела — вся многочисленная деревенская работа по-прежнему достается лошади. На ней пашут приусадебные участки, косят и гребут колхозное сено, возят корма, дрова. Да мало ли мелкой работы, где техника просто неэффективна. Редко встретишь лошадей, не оправдывающих затрат на содержание. Пожалуй, наоборот: деревня ощущает сейчас недостаток конского поголовья.

Этот недостаток, на мой взгляд, касается лошади не только как средства перевозки грузов, как тягловой силы. Другая сторона проблемы, может быть, гораздо глубже. Это чисто воспитательная сторона. Видели бы вы глаза тех же деревенских мальчишек, их нескры-

всю мою зависть, когда я привел на пруд искупать Мальчика.

— Дядь, дай прокатиться! Ну разочек! Ну совсем немножко! — канючили они, бросив на берегу свои разнокалиберные велосипеды, мопеды и мотоциклы.

Когда я разрешил двоим из них сесть в воде верхом на коня, с каким наслаждением и любовью они мыли и терли его пучками травы, и как на счастливых смотрели на них те, кому не досталась эта вроде бы и забава, а если разобраться, так настоящая работа.

Или еще один факт той же неутоленной любви сегодняшних деревенских мальчишек к лошади, к коню. Есть у меня сосед, парнишка лет тринадцати, Юрка Шувалов. В шутку я зову его Петром — по имени отца и деда. Юрка — ярый лошадаик. Целыми днями, даже забыв про обед, он может кататься на лошади, помогая кому-нибудь из взрослых подвозить к ферме зеленый корм, грести сено, возить дрова. Чтобы хоть немного отвадить его от лошадей, недавно ему купили велосипед. Никелированные обода, зеркальце на руле, звонок — игрушка, а не машина! Юрка еще приделал к нему на переднее колесо какие-то пружины с колокольчиками и, весело позванивая ими, раскатывал по асфальтированной деревенской улице.

— Слышь, Петро, дай-ка велосипеда минут на десять, — попросил я однажды.

— А зачем? — сразу поскучил Юрка.

— В магазин съездить. Мой неисправен что-то.

— Не-е, не дам. Вдруг стащат?

Сколько я ни уговаривал, какие гарантии ни давал, так и не одолжил мне Юрка своей машины, по-прежнему.

Но вот накануне выезда, за два дня выкосив и скормив коню всю отаву на своем и соседнем огороде, я понял, что без пастбы в поле уже не обойтись. Вывел Мальчика на улицу, гляжу — Юрка по асфальту катит.

— Петро, коня попасти не хочешь?

— Давай, — обрадовался он и соскочил с велосипеда.

— Где трава хорошая, знаешь?

— За мастерскими, вдоль канав.

— Так вот, попасешь часок-полтора — и назад. Смотри, не гони сильно. Понял?

— Ладно, ладно. — Юрка уже карабкался коню на спину.

— Стой! А куда же велосипед? — крикнул я, заметив брошенную машину.

— Пусть у вас в заулке постоит. Если надо, кататься на велике, сколько хочешь, — раздобрился Юрка, уже удаляясь верхом на коне.

Новенький, покрытый свежей краской и никелем велосипед, который мальчишка так берег и холил, потерял для него всякую ценность. Больше того: когда потом мне вновь понадобилось съездить в райцентр, Юрка без лишних слов, не спросив куда, зачем и надолго ли, сбегал домой и пригнал свою машину. Моя в общем-то корыстная доброта благодаря лошади обернулась искренней добротой подростка.

Два дня, собираясь на хутора, я держал Мальчика в пустом дровянике, конечно, не затем, чтобы откормить или самому собраться. Просто я привыкал к коню, заново учился верховой езде. Два-три раза в день седлал его и ездил по заборкам, пуская то рысью, то галопом. Но первым делом, как приехал из Козлова, решил коня вычистить и помыть. Попросил соседа Сергея Барникова помочь мне. Тот согласился. И вот мы — я верхом, Сергей на велосипеде, — прихватив ведро, скребницу и кусок хозяйственного мыла, отправились на речку. В это сухое лето бегущая через поселок по краю нашей деревни и без того мелководная Малая Тигма совсем обмелела. Даже

выше самодельной плотины, построенной как-то в местечке у двух валунов, зовущемся «Бабка-дедка», вода едва доставала коню до брюха. Раз-а три мы окатывали Мальчика из ведра, мылили и чистили скребницей, прежде чем с него стала стекать чистая вода. Потом я дал Сергею прокатиться, чтобы немного обсушить коня, не надевать седло на мокрую спину, и был немало удивлен жестким, если не сказать жестоким, обращением парня с лошадыю. А между тем Сергей неплохой, добрый и отзывчивый в отношении людей человек. Недавно он вернулся из армии, был отличным солдатом, заместителем командира боевого расчета. О его воинском мастерстве, умении заменить вышедшего из строя во время учений офицера, командира расчета, писала окружная газета. Сергей не без гордости показывал мне вырезку. И без нее я давно, еще с пацанов, знал парня. Казалось бы, хорошо знал. Но вот случай с конем помог увидеть то, о чем и не подозревалось.

Я знаю в своей родной деревне Спиrosso почти всех, кому от двадцати и старше. Но конь, будто лакмусовая бумажка или какой-то сверхчувствительный индикатор, неожиданно помог мне глубже узнать земляков, их прежде скрытые черты характера, их кругозор и знания. Вот, к примеру, Иван Егорович Афанасьев, возчик местного КБО. Сколько помню его, всегда на телеге и чуть под хмельком. Где, как не у него, постоянно имеющего дело с лошадыю, найти ложку дегтя, чтобы смазать коню рану на сбитом плече? Пошел, попросил.

— Дегтем сожжешь, — сказал Иван Егорович.

— Но ведь чем-то надо намазать, чтобы мухи не садились, не кусали по живому? — задумался я.

— Возьми вазелину, — предложил Иван Егорович. — Вазелин защитит от укусов, смягчит рану — лучше заживет будет.

Потом мы разговорились о лошадах, и сосед высказал желание глянуть на моего Мальчика. Он деловито охлопал его ладонью по крупу, сказал:

— Крупная, сильная лошада.

Привычно ухватил мерина за нижнюю челюсть, вывалил наружу его огромный язык, осмотрел зубы.

— Стертые. Коню лет пятнадцать. А копыта... Эва как сбиты. Подрезать бы надо, подковать. Ну, ничего, тебе не по асфальту ездить.

Иван Егорович, как хороший барышник, знал толк в лошадах, много и интересно рассказывал об их повадках, чем вызвал немалое удивление: доселе я даже не предполагал в нем таких знаний «конской» науки. Разговор со мной вел уже не «возчик под хмельком», а тонкий знаток лошадей, если хотите — профессионал своего дела. Я даже пожалел, что, собираясь за лошадыю в Козлово, не посоветовался с ним, не взял его в консультанты.

После рассказов Ивана Егоровича в меня закралось сомнение: а не падет ли конь на полдороге — уж очень некоторые раскрытые мне приметы под-сказывали такой исход долгого перехода?

— Не бойся, не падет. Конь добрый. Ты только не гони его шибко да корми хорошенько. Лето сухое, место для ночлега выбирай в низинке, где трава погуще. Ничего, что мошкар сам покормишь, зато и коня досыта накормишь за ночь, — наставлял опытный лошадаик.

Одними наставлениями наш разговор не кончился. Когда я посетовал, что, мол, почти разучился ездить верхом, Иван Егорович велел принести седло, сам подтянул подпругу, сказав при этом:

— Гляди, чтобы всегда туго было, не то сотрешь коню спину или сам набок свалишься.

Вставив в стремя ногу, он как-то юзом вполз на коня и тут же воссел верхом.

— Теперь гляди, как я поеду. Смотри, замечай. Езда ведь не отдых — работа ног, всего тела. Это тебе, как хорошая физкультура. — И, ловко привставая в стременах, пустил лошадь рысью, затем галопом.

Сделав круг метров в сто, вернулся.

— Стремена надо чуть подтянуть, на одну дырочку. И в такт старайся попасть, в шаг лошади. Вот так, вот так! — покрикивал он мне, снова пустив коня по дороге.

Урок этот не прошел без пользы: к концу последовавшей за ним очередной прикидки я понял, что держусь в седле достаточно хорошо и могу, не боясь остаться без ног, трогаться в путь.

«Натуго», как учил Иван Егорович, затянута подпруга седла. Два связанных мешка с продуктами, палаткой, одеждой, сапогами и прочей дорожной амуницией приторочены сзади. Конь накормлен и напоен, рана его смазана вазелином. Можно трогаться.

Солнце только недавно встало, но воздух уже горяч. Раскаленный знойным вчерашним днем и всем предшествующим месяцем, он просто не успевает остыть за недолгую июльскую ночь. Ивы под окнами раньше времени пожелтели и начали сбрасывать сухой жесткий лист. В канаве, поросшей травой, уже ни росинки, не шелухнутся поседевшие от пыли соцветия. Лента асфальта суха и крепка, как камень, но к полудню она помягчает и будет испускать жар, подобно неизолированной тепломагистрали. Конь идет по кромке дороги, и его копыта оглушительно кокают. Кажется, в другом краю припавшей, словно вымершей деревни слышен этот пок. Сворачиваю Мальчика к подоконам и, укрытый тенью деревьев, выезжаю за околицу.

Околица — это по прежнему привычным понятиям. Сейчас здесь раскинулся целый городок колхозных построек: весовая, пилорама, зерноток, мельница, чуть дальше теплица и животноводческий комплекс — три длинных, приземистых, похожих, как близнецы, здания. Когда-то на этом месте был загон для пастбы скота и несколько мелкоконтурных полей. Столбы прогнили, жерди обветшали от времени, их растащили на дрова, на месте загона вырыли большой пруд и вокруг него развернули строительство. Поля, объединившись в одно огромное поле, отодвинулись вдаль и поглотили небольшой, некогда богатый грибами лесок Шорки — от него сохранилась кудая полоса кустарников, словно по недоразумению оставленных мелиораторами. Свернув у этих кустов, чтобы ближним путем, через Макушино болото и Казино, выехать к Горбунову, я вспомнил вчерашний разговор. Мы сидели вечером на крылечке, покуривали. Александр Петров, его брат-летчик Борис, приехавший погостить в отпуск, и я — в детстве друзья закадычные, а сейчас близкие схожими судьбами. Вспомнили, как года три назад ездили с Борисом на велосипедах в Гряды за венниками и там неожиданно напали на слой подосиновиков — вернулись с набитыми грибами рубашками.

— А ты знаешь, Гряд теперь нет, — сказал я.

— Как нет? — удивился Борис.

— Ехал на лошади, гляжу, выкорчевано все подчистую. А такой был осинник!

Мы стали вспоминать, какие замечательные места, памятные нам с детства, навсегда исчезли с лица земли с началом корчевки и мелиорации вокруг поселка. Варзиво, Шорки, Гряды, Аэродром, Села — нынче немногим молодым знакомы эти названия. Почти ничего не осталось от Черепицы, Калягинской горы, Казина, Макушина болота. Только, пожалуй,

Бабы-шары да Татаркино болото, где идут сплошные мхи, ягодники, сохраняются еще долго, — чтобы добраться до них, мелиораторам нужно осушить огромный торфяной массив, а на него, как известно, теперь наложено вето как на хранилище влаги. Так что будут еще спировские ягодники и грибки носить к своему столу из этой обширной природной кладовой морошку, называемую у нас куманькой, чернику и голубику, бруснику и клюкву, нежные подберезовики и крепкие моховики, а в безгрибье самые задалые набьют корзины «аркашкиными грибами» — краснушками: их в любую погоду с середины лета до глубокой осени на болоте хоть косями коси. Прежде такие грибы считались поганками и, конечно, их никто не собирал. Брал краснушки только Аркадий Никитин, не так давно уехавший с семьей из Спинова на строительство в Навои. Отваривал, солил, и получалась неплохая закуска. Так что в любое время, когда у других были скудные запасы грибов или вообще не было, у Никитиных в подвале стояли банки и бочонки соленых краснушек. Позже, раскусив их вкус, краснушки стали брать многие, и грибы получили новое, чисто местное название — «аркашкины».

Миновав топкую даже в засуху падь у Макушина болота, я пустил коня вдоль кромки скошенного поля, упершегося обширным краем в урочище Казино. И только достал бинокль, чтобы обозреть эти родные мне окрестности, навел окуляры на Горбуново, где в давнюю пору в первой от края избе жили мои дед и бабушка, под ногами коня что-то порскнуло: с шумом подняла свой выводок тетерка. Птенцы были пестрые и небольшие, размером с полторамесячных пылат, но уже держались на крыле и летом шарахнулись от меня вслед за матерью. Лишь один, видимо, самый слабый в выводке, не освоивший еще лета, бежал сквозь кусты, заполошно махая крыльями, и вдруг исчез в высокой траве, наверное, притаился. Хотелось, как в мальнишестве, пуститься за выводком, найти и поймать. Но что-то удержало меня. Лишь направил коня в сторону скрывшегося выводка и тут же отчетливо услышал невдалеке беспокойное квохтанье тетерки. Послушал, послушал и не стал мешать птицам, отправившись своей дорогой. Не проехав и ста метров, поднял с кормежки петуха-тетерева. Этот не стал, как мать-тетерка, рисковать собой, сразу улетел дальше в глубь леса. А я вспомнил недавние слова районного охотоведа Бориса Вохло:

— Нынче есть дичь. Есть кабаны и лоси. Вот только зайцев совсем мало.

Потом я встречу на своем пути лосиху с лосенком, и несколько долгих мгновений мы будем, замерев, смотреть друг на друга метров с пятидесяти; увижу свежий отпечаток волчьего следа, пересекающий дорогу в вязком, болотистом месте, и мой конь, видно, чуя зверя, заупрямится, не пойдет вперед; выведу на поляну, как плутом, распахнутую кабанями; потревожу рябчиков и глухарей; сам испугаюсь ежа, разворотившего на привале мои пожитки; услышу полночное курлыканье журавлей на недалеком болоте — и со мной случится что-то непонятное, какой-то неописуемый восторг охватит душу; но я искренне порадуюсь: нет, не совсем оскудели наши леса!

С горы, где еще на моей памяти простирался глухой еловый лес, и без бинокля Горбуново видно как на ладони. Перед деревней небольшое тихое кладбище, спрятавшееся в высоченных елях. Справа клюквенное болото, памятное тем, что здесь я первый раз в жизни увидел журавлей. Да, было время,

когда эти чуткие птицы селились так близко от людей. Горбуново для меня—это целый мир детских и юношеских воспоминаний: вкусные бабушкины пироги с морковной начинкой; огромный дедов кот по кличке Бугай, которого я, как собаку, водил по лесу на поводке; холодный бак мотоцикла кучерявого красавца парня Тольки Антонова, нередко захватывавшего меня по пути из Спинова в Горбуново; пастух Арсенька, которого мой плутоватый дед кормил червяками грибами-подольховцами, для вкуса и вида обильно поливая их постным маслом; дядька-кустарь, плетший из прутьев прочные объемистые корзины и гнувший крутые, как дуги, коромысла; вернувшийся с войны без ноги Василий Петров, бригадир и страшный матерщинник — помню его всегда на коне, будто совсем не ходил пешком, а то, случалось, едет верхом на одной лошади с другом-фронтовиком счетоводом Александром Антоновым, и две ноги в разной обуви сидят в стременах, а два круглых одинаковых костыля с резиновыми набойками свисают на стороны; и сейчас, как наяву, вижу вечерние гуляния парней и девок, слышу их частушки и песни под гармошку. Где все те люди? Старики померли, а молодежь почти вся разъехалась. Из тех парней живут сейчас в деревне лишь Куликов да Корнилов — уже пятидесятилетние мужчины.

...Деревня мало чем изменилась за последние десять—пятнадцать лет. Назых домов не прибавилось, старых почти не убавилось — лишь два-три дома порушено за это время. Близость к райцентру и хорошая насыпная дорога, по которой в любую погоду можно проехать хоть на тракторе, хоть на автомашине, хоть на велосипеде, видно, сулят ей еще долгий век. Поэтому живут в деревне не только колхозники, некоторые работают на предприятиях и в организациях поселка, а здесь, как и члены колхоза, имеют свой приусадебный участок, дом, скотину и птицу. Образ жизни и достаток этих, я бы сказал, деревенских рабочих и служащих, почти ничем не отличается от колхозников. Разве что есть преимущества в нормированном рабочем дне и отпуске в летнее время, но они, пожалуй, сводятся на нет каждодневной дорогой в добрый десяток километров до райцентра и обратно. Однако мнимая престижность рабочей должности, оплачиваемой зачастую ниже колхозной работы, заставляет сельчан не считать с расстоянием и тераемым на его преодоление временем. Парадокс этот, видно, будет преодолен не скоро.

Дорогу от Горбунова до Козлова мы проследовали вместе с попутчиком. Пожилой мужчина шагал из Спинова домой уже второй час — не встретилось транспорта. Оказался он жителем нездешним: приехал из Торжка подработать на колхозном строительстве, в Зыбунове встретил одинокую женщину и остался здесь. Пас по весне коров, сейчас приболел, получил группу инвалидности.

— Далеко ли гоняли скот? — поинтересовался я.

— Не очень, — ответил попутчик. — До Петрова хутора, до Шамшина.

— Как там дороги?

— Верхом проехать можно, — усмехнулся мой спутник, и по его усмешке я понял, что лучше ехать лесом, по компасу.

У поворота на Зыбуново мы попрощались. Мужчина свернул влево, а я въехал под раскидистые козловские тополя, пересек деревню и, миновав узкий переестек, связывающий два поля, углубился в лес.

А дорога, выбитая тяжелыми тракторными гусеницами и колесами вездеходов, между тем петляла

и петляла по лесу, разбегалась на стороны развилками, снова сходилась в одну, углублялась дальше и дальше в лес. Коровы «лепешки» и следы, испещрившие ее, говорили про обжитость этих мест. Стали попадаться первые поляны, частью выеденные, частью выкошенные. Когда-то здесь были поля и жилые постройки — начинались Любинские хутора. Наверное, дорога бы, как на цить, нанизала бы на себя многие из них, тем самым познакомив меня с местами бывших поселений. Но мне, признаться, надоело изматывать коня и себя по тяжелой непролазной грязи в тракторных выбоинах, захотелось проехать напрямиком, нехоженным лесом, и на одном из поворотов дороги я не свернул по ней, а взял направление на северо-запад, стремясь попасть в Лапотиху прямым путем.

Лес был не густ и не редок, встречались поваленный сырым снегом молодой подрост и вывороченные с корнем огромные стволы зрелой древесины. Но, как ни странно, это, казалось бы, безобразие не вызвало отрицательных эмоций. Настоящее безобразие, когда видишь в лесу груды консервных банок и вырубленные кое-как молодые деревья. Это же было естественное состояние леса, и жаль, что встретить такое естество лишь в дальнем далеке от проезжих дорог и селений.

Лес оборвался чисто выкошенной поляной. Чуть в стороне, соединенная тропкой, лежала еще одна, за ней еще поляна, на которой стояла приземистая скирда сена, валялись конные грабли и еще какие-то брошенные за ненадобностью железки. Здесь я нашел колодец; закопелым чайником, оставленным добрыми людьми, достал из полубобвавшегося сруба воды, напился сам, напоил и пустил пастись коня. Похватав густой отавы, Мальчик вдруг лег и хотел было покатасться по земле, но седло и поклажа мешали. Пришлось расседлать. Вскрапывая, конь с удовольствием выкатался в молодой зеленой траве, поднялся и стал кормиться, а я, покурив в тени под кустом ивняка, пошел обследовать хутор.

На той же поляне, где был колодец, находились и жилые постройки. Стена крапивы выше моего роста начиналась сразу от фундамента дома. Едва продвинулся через нее, но, кроме замшелых камней и гнилушек, остатков задней стены не обнаружил.

На краю другой поляны в березняке стоял дощатый шалаш, рядом грубо сколоченные скамейки и стол с оставленной помятой алюминиевой посудой. В шалаше был высокий пол и низкий потолок: только-только, чтобы протиснуться внутрь и завалиться спать. Кучи тряпья и прелого сена говорили о том, что здесь в недавнюю пору жили косцы. На трех обширных полянах, занятых когда-то пашней, они заготовили внушительную скирду сена. Внимательно оглядев ее, прикинул, что в ней по меньшей мере пудов пятьсот, то есть без малого 10 тонн отличного лугового разнотравья.

Было жаль покидать безымянный для меня хутор, где напился и отдохнул сам, где хорошо подкормился мой конь, где неизвестные мне косцы, потрудившись, взяли с заброшенных полей отличный сбор сена. И для себя я дал этому месту название — хутор Большой Скирды. Можно бы, конечно, назвать иначе, например, Трех Полян, или Брошенных Граблей, или Шалаша Косцов. Но мне больше по душе пришлось именно это название — в нем как бы отражен людской труд, его плоды.

Потом встречались на пути поляны поменьше и стожки сена соответственно поменьше, но чем дальше углублялся я в это урочище, носившее общее название — Лапотиха, тем чаще попадались некосы, тем реже были стога. Здесь располагались уголья колхозов «Мир» и «1 Мая», Спиrowsкой районной

конторы «Заготскот», но отдаленность и бездорожье даже в такое сухое лето, видимо, все-таки не пустили косяков дальше. А, может, виноваты вовсе не они, а все та же нехватка рабочих рук, техники, вернее, наша нерасторопность? И грубели из-за этой нерасторопности, пересыхали на корню густые сочные травы, большинство из которых насерняка так и уйдет некошеными под снег, погибнет. Сколько же здесь пропадает корма, в то время как его из года в год не хватает тем же колхозам «Мир» и «1 Мая»! Если взять все тридцать три Любинских хутора, на каждый положить хотя бы гектаров по пять, вычисть ту малую часть площадей, где поднялись стога, прикинуть среднюю урожайность, что может дать гектар лесных угодий, то худо-бедно выйдут сотни тонн добротного, но, увы, невзлого корма, который и растить-то не нужно было, только скосить, высушить и сметать в стога, чтобы затем зимой порой вывезти к скотным дворам и фермам. Может, тогда бы не было бескормицы по весне, не губили бы для заготовки хвой ценные еловые леса, не мчались бы по соседним районам и областям гонцы в поисках излишков фуража и грубого корма, не утекали бы из колхозных касс тысячами и тысячами рублей деньги на их закупку.

А ведь кто-то берет, не оставляет такой даровой корм под снег. В этом я убедился, миновав границу Спировского и Вышне-Волоцкого районов. Как-то сразу почувствовал, что попал во владения других хозяев: некое вдруг пропали и начались сплошные стога, причем не просто поставленные на небольших полянах прежних Русскогорских хуторов, а аккуратно огороженные от погравы жердями. Правда, немного понапало таких полей. Прямо из леса, перейдя вброд почти усохшую речку, я выехал к изгороди, за которой виднелся высокий пятистенки. Вдоль всего забора были развешены ленты добеда выцветших флажков, которые используют при облаве на волков, на колях надето и подвешено к тыну на веревках множество пустых консервных банок. Эти банки удивили меня больше, чем телеантенна над крышей и стоявший около дома «Запорожец» — в такой-то глухомани! Оставив коня у плетня, прошел в заулоч и увидел недалеко целый ряд домов, выстроившихся вдоль леса, под окнами расстился просторный зеленый луг.

— Хозяин, не напоишь ли водой путника? — крикнул я, полагая, что здесь наверняка живет егерь или по крайней мере охотник — иначе зачем облавные флажки: у него-то и расспрошу об этих местах, узнаю, куда попал.

— Доброго путника и чаем напоим, — выглянув из окна, ответила круглолицая молодая женщина и пригласила: — Да вы проходите в избу.

Но попасть в дом оказалось не так-то просто. На охотке березовых веток, заготовленных для вязки венчиков, сидела собачонка — какая-то помесь болонки с пуделем — и с лаем остервенело кидалась на меня. Писна так себе — с рукавицу, но ярости в ней было столько, что я невольно отступил, боясь быть покусанным, не осмелился даже на крыльцо подняться. Из сеней вышел мужчина, прикрикнул на собаку, и та, скрывшись за порогом, утихомирилась. Мы прошли в дом, миновав широкие сени, напомнившие мне простор настоящих сеней русской избы. Здесь свободно можно было установить ткацкий стан, до самой зимы хранить кадки и кадушки с соевыми грибами, огурцами, капустой, связать и развесить к потолку по жердям те же душистые березовые венчики, в темную ночь, набив соломой постельник, здесь хорошо спать, а какое приволье для детских игр и забав! Теперь в деревнях уже не стро-

ят таких сеней — тесный коридорчик оказался дешевле и практичнее, но удобнее едва ли.

Вспоминаниями детства пахнуло при виде внутреннего убранства избы. Широкая русская печь с простенькой цветастой занавеской, за ней закуток кухни, в красном углу просторной комнаты целый иконостас с потускневшими ликами угодников и богородиц, под пикейным покрывалом широкая кровать с никелированными шарами-набадашниками, а по стенам фотографии, фотографии, фотографии — в рамках по множеству штук и отдельными портретами: ставшие бурными от времени и еще новенькие, блестящие глянцем, старики и солдаты, безусые парни и молодилы, ребятишки и опять старики — несколько поколений родни хозяйки дома Натальи Тимофеевны Скобелевой. Если бы не телевизор, светившийся экраном тут же, в красном углу, под иконами, я бы подумал, что попал в деревенскую избу пятидесятых годов. Молодую, вместо того чтобы подать ковш колодезной воды, гостеприимно привинула к столу табурет, налила в полулитровую глиняную чашу горячего чая.

— Не обессудьте, чай у нас не фабричный. Ехали из Волочка к матери на выходной, а про чай забыли, не привезли. Теперь вот зеробой завариваем. Да вы попробуйте, он вкуснее индийского.

— Мне бы водички холодненькой, — попытался настоять я.

— Водичкой в такую жару не напешься. Да вы не стесняйтесь, присаживайтесь, будьте как дома. У нас все по-простому. Может, пообедайте? Мы только что из-за стола встали — все горячее.

— Нет-нет! — запротестовал я, потерявший на жару всякий интерес к еде. — Только чаю.

Я пил прозрачный розовый кипяток, терпкий и душистый от зверобоя, неторопливо расспрашивал и глумительно слушал хозяев. Оказалось, что нахожусь на хуторе Красном — одном из Русскогорских хуторов. Теперь он входит в состав совхоза «Осечковский». Живут здесь с десятком семей. Самый близкий путь к большой дороге протяженностью всего семь километров — лесом на железнодорожную станцию Любинка. В грибную пору молодые — дочь Натальи Тимофеевны Зинаида и зять Иван, — вместе с хозяйкой так гостеприимно встретившие меня, берут корзины и, пока идут до Любинки, набирают полные, а там на электричку и через полчаса у себя дома в городе, где оба работают на фабрике «Авангард». Проселками же и шоссеиной дорогой до Вышне-Волоцкого четыре десятка километров. Иван тратит на этот путь на своем «Запорожце» больше часа, а в непогоду и бездорожье — все два. Самой хозяйке уже за восемьдесят. Наталья Тимофеевна еще при ясной памяти и рассказывает так:

— Приехали мы сюда, на хутор, из-под Максатихи — я тогда еще девчонкой была. Дом поставили. Сперва своим хозяйством жили. Потом, как колхоз стал, в него вступили. В колхозе работала, потом в совхозе. Пенсию вот получаю. В первые-то годы пенсия маленькая была — всего 12 рублей. Потом стали по 20 рублей в месяц платить, потом еще семь прибавили. Теперь вот 38 рублей получаю. Свой огород, хозяйство держу. Так что хватает.

Помню, здесь мно-о-о-го хуторов было, — продолжает она. — Целые деревни стояли. Мы ведь к вам в Большой Двор на гулянку ходили. Там двадцать восемь домов было. Осталось ли что? Ничего не осталось? А такая деревня была! Красивая... Теперь и у нас тут жилых хуторов, считай, нет. Мы самые крайние, на куличках живем.

— Пограничники, — улыбаясь, вставляет зять.

— Правда, как пограничники. Весь хутор вон круговую тыном обнесли. Я-то со своей стороны

флажков, банок повешала. От волков. А они, дьяволы, не боятся моей заграды. Прошлым летом среди бела дня козленка со двора стащили. Ни флажков, ни банок не испугались.

— Теперь волки ручные стали,— опять вставляет в разговор словцо зять Иван.— Больно беречь, охранять стали. Наберегли! Вот они и обнагтели.

— А медведи? Муж мой Федя лет восемь тому пошел посмотреть покосы и наткнулся на медведицу с медвежатами. Ох, и поломал та его! В яму кинула и хвостом забросала. Верно, решила, что готов. Мы всю ночь с фонарями ходили по лесу, Федю искали. Он-то очухался, из-под валежника выбрался, сам на нас вышел. Целый год потом в больнице лежал и в могилу сошел раньше времени. Одна теперь живу. Вот дети навещают...

И вновь разговор возвращался к интересующей меня теме — хуторам.

— Эти бы земли совхозу «Осечно» передать, тогда бы не пропадали,— высказал дельную мысль Иван.— От Спирова далеко, не проехать. От нас же совсем рядом. А то получается аппендикс какой-то: под боком, а пользы нет.

Перекраивать карты районов — дело, наверно, хлопотное. Может, проще руководству того же совхоза «Осечновский» договориться со спировскими хозяйствами об использовании заброшенных сенокосов? Иначе ведь что получается? Ни вашим, ни нашим. Как собака на сене. Думается, при обоюдной договоренности на каких-то приемлемых обеими сторонами условиях в положительном решении этого вопроса был бы резон. По крайней мере общему нашему делу польза наверняка вышла. Но здесь местничество одних и нерасторопность других берут верх над общими интересами: мол, авось и сумеем, авось нынче-то скосим или зачем лезть в чужой огород, брать на себя лишние хлопоты? А в результате такого бесхозяйственного подхода пустоши остаются нетронутыми, захламываются сухим травостоем, оставшимся с прежних лет, зарастают кустарником, лесом.

За чаем и душевным, интересным разговором я хорошо отдохнул и вышел к коню полным сил и желания ехать дальше, к Русской Горе. Мальчик, привязанный в заулке к мачте телеантенны, выел вокруг нее всю траву дочиста.

— Жоркая лошадь,— одобрительно заметил Иван, помог напоить у колодца коня, объяснил, как лучше проехать к деревне.— Здесь недалече, километра четыре. Из лесу выедешь, увидишь стоянку мелнораторов. Дальше, за кукурузным полем, ферма. За вей и Русская Гора,— сказал он на прощание.

Побывать в Русской Горе мне хотелось не только потому, что один из трех хуторских кустов носил название Русскогорский. Но еще и потому, что (опять же!) влекла память детства.

Помню студеные зимние вечера. В наш дом с клубами пара вваливает толпа чужих мужиков. Они развешивают вдоль стены овецные полушубки и длиннополые тулупы, раскладывают по припечью на просушку целый ряд широких теплых рукавиц, достают шматки сала и хлебные караваи, чинно, без гомона садятся за стол. Мать с бабушкой выставляют им чугун шей или горячей картошки «в мундирах», миску крупных, как лапти, соленых огурцов или квашеной с не растаявшими еще льдинками капусты, растопляют ведерный самовар. Я сижу в темном углу на теплой печи, боясь незнакомых мужиков, глазею на них и сладко обмираю от тяжелого конского духа, исходящего от влажных рукавиц. За окном хрумкают сеном лошади, всхрапывают, стучат

оглоблями, и мне хочется, сунув ноги в подшитые отцом валенки, выбежать к ним в заулочек. Но страх перед ночными гостями будто приковывает к печи, и я сижу, стараясь не шуметь, чтобы не выдать себя ненароком. Отуживая, мужики собираются спать. Из сеней втаскивают и стелют им пузатые, набитые соломой постельники: кому в передней, кому здесь же, на кухне. Солома скрипит и шуршит, пока они укладываются. Но вот гаснет под потолком лампочка, весь наш дом погружается в темноту. И почти сразу же раздается храп. Сначала он слышен из одного угла, потом из другого, и скоро на разные голоса храпят весь дом. Кажется, вздрагивают потолок и стены, и даже моя огромная печь трясется от храпа, грозя вот-вот рухнуть и засыпать меня горячими кирпичами. В сплошной зимней темноте лишь едва-едва голубеет окно, за которым теперь и лошадей не слышно. Жуть берет меня, я начинаю хныкать и звать маму. В передней слышатся знакомые голоса, кто-то из старших братьев забирается ко мне на печь, укладывается рядом и, прижимая меня к себе, издольно ворчит спросток:

— Ну что ты разнылся? Будят тут из-за тебя. Давай спать!..

С братом мне уже не так страшно. Я чувствую под своей шеей его горячую руку и скоро засыпаю. А утром выглядываю с печи и замечаю голую стену, на запечье тоже пусто, нет и гостей.

— Мамк, а где же дядьки? — смело кричу я с печи.

— Домой поехали. Ты бы спал дольше,— с укоризной, видно, за мое ночное нытье отвечает мать.

— А куда — домой?

— В Русскую Гору.

— В какую гору?

— В Русскую.

— А есть еще немецкая?

— Не знаю,— смеется мать, и голос ее добреет.— Русскую Гору знаю, Ворожебскую, а про немецкую не слышала.

— А это далеко?

— Далеко. За Горбуновом, Козловом и дальше.

— А зачем они к нам приезжали? — не дает мне покоя неутоленное любопытство.

— На льнозаводе задержались со сдачей, вот и заночевали. Хватит спрашивать. А ну иди ешь!

Но до еды ли мне? Я натягиваю штаны, сбрасываю с печи валенки, прыгаю прямо в них и, схватив у двери с гвоздя свое ветхое, доставшееся в наследство от братьев, латаное-перелатаное пальтишко, вылетаю в холодные сени, чуть ли не кубарем скатываюсь по лестнице на крыльцо. Наш заулочек истоптан конскими копытами, заезжен полозьями саней, на белом умятом снегу темнеют глыбы лошадиного навоза, уже твердые и покрытые серебристым инеем. Я хватаю свою вытесанную из березового кривого сука клюшку, сбиваю с одной кучи крепкий продолговатый, как большое утиное яйцо, катыш и гоню его по скользкой обледеневшей дорожке. Из домов дальнего края деревни тоже с клюшками набегает ребят, и разгорается игра, которую мы зовем просто «в клюшки», но, как узнаю я много позже, называют ее хоккей. Удары сыплются градом, от не успевшего основательно промерзнуть конского катыша только ошметки летят, и скоро от одного сильного удара он совсем рассыпается.

— Тащи новый! — приказывает мне наш заводила Витка Шало.— У вас ночью обозники стояли, навоз в заулке поди много. Да покрепче выбирай! — кричит он мне уже вдогонку, и я со всех ног несусь в заулочек, отбиваю клюшкой несколько крепких катышей и, прижимая их к груди, чтобы не растерять, возвращаюсь к ребятам.

Проезжая лесным проселком, я вспоминал русско-горских мужиков с их льняными обзовами и ночлегами, вдруг почему-то переставших появляться у нас в деревне, вспоминал бедные одежды тех близких от войны лет и думал о своем сыне Арсении, которому мать, бабки и тетки накупили и надарили столько одежды и обуви, что ему, пожалуй, еще лет пять нужно не расти, оставаться младенцем, чтобы износить все. Но Арсений быстро растет, прибавляет в весе, в неполные полтора года от роду ему все дают целых два, и мы уже не знаем, куда деть почти не ношенные костюмчики, кофточка, ползунки, как избавиться от них, освободить платяной шкаф для новых необходимых покупок. Но, вовсе не желая, чтобы кто-то когда-то назвал моего сына оборванцем, я все-таки горько сожалею, что никогда он не испытает той глубины восторга и радости от обновки, какую познавал его отец.

От таких размышлений я опять невольно проводил свою мысль к тем же сенокосам — была здесь какая-то параллельность. Всего десять—пятнадцать лет назад, когда в нашем поселке и трех его окрестных деревнях — Спирове, Пенькове, Карабихе — многие держали коров, с покосами было туго. Косили в колхозах исполу и за тридцать процентов — две копы поставишь, третью себе, даже лен добровольно, несмотря на мизерный заработок, брались теревить, причем выбирали участок не почище, где его можно было таскать, не обдирая рук о траву, а наоборот, заглушенный сорняками, и все для того лишь, чтобы потом, выкосив льнище, взять с него воз-другой жесткого колючего сена. А если кому выделялся надел для покоса в той же отдаленной бездорожной Лапотихе — это считалось большой удачей. Теперь же частных коров осталось мало. В деревне Спирово, к примеру, — не во всей, а всего лишь от правления колхоза до нашего края — я не считал и десятка коров, а когда-то здесь было больше двадцати всего на тридцать домов. С сокращением частного, или, как у нас его называют, пролетарского, стада соответственно вздорожало и молоко. Если каких-то пять лет назад на него была единая твердая цена — 30 копеек за литр, всего на 2 копейки дороже, чем закупает государство, — то сейчас за эти деньги вы молока не купите: владельцы коров продают его соседям и по 35 и по 40 копеек, а некоторые берут и по полтиннику. Сено же, кто как сумеет, запасают, что называется, у себя под боком, и никто, конечно, не желает забираться косить в глухомань хуторов, понимая, что одной косьбой работа не кончится — посложнее встанет вопрос, когда дело коснется вывозки корма. Если же на свой страх и риск кто-то возьмется там покосничать и, положим, даже поставит стог, то все его мытарства начнутся лишь потом: где найти высокопроходимый транспорт, как пробиться через непролазное бездорожье, как вывезти готовое сено? И тут отчаянному частнику никто не поможет. А между тем помогать и содействовать крайне желательно, просто необходимо. Ведь в конечном итоге молоко от частных коров идет к столу не только самих хозяев (что уже хорошо), но и многих других людей. У каждой такой коровы, по моим наблюдениям, кормятся, пусть и дорогим молоком, сметаной, творогом, от пяти до десяти соседских семей. Это ли не восполнение недостатка в молочных продуктах, которых пока еще не может дать нам общественное животноводство!

Пожалуй, даже не стоит особенно упрекать владельцев коров за то, что дорого продают они молоко. Если подсчитать весь труд, затраченный на уход за коровой, в особенности на заготовку сена, когда порой на это тратится ежегодный отпуск такого

частника, а с ним масса сил и нервов, то все это едва ли окупится реализованным молоком. Я знаю немало случаев, когда хозяева, сами не в силах справиться с сенокосом, просили помочь тех же соседей, которые берут у них молоко, и соседи — молодые сильные мужчины — отказывались, хотя такой отказ соответственно повлекал за собой и отказ в молоке для их маленьких детей. Можно, наверное, осуждать таких папаш, но, пожалуй, надо повянуть и их: отмахав косой утро, тяжело потом высидеть день за баранкой автомашины или отстоять смену у станка. Не легче труд и на сушке сена, особенно если погода неустойчивая, то и дело дождь собирается: разбил копны и тут же гребни — право, тяжелая, изнуряющая работа. Не говорю уже о стоговании, когда семь потов прольешь, поднимая наверх увесистые беремья колкой сухой травы, и не передохнешь ни разу — скорей, скорей, вдруг дождь ливанет, весь труд тогда коту под хвост, начиная все сначала. Это только в плохих книгах авторы, часто не познавшие всей сути и тяжести сенокоса, сами не вкушавшие его вдоволь, как говорится, по горло, по самую завязку, псевдоромантично пишут: «Хорошо пройтись ранним июльским утром с косой по росному лугу...» Хорошо-то хорошо, если просто пройтись, в охотку, то есть покосить сасок-другой, а если покосничать каждое утро и каждый вечер да еще сушить, грести и метать в стога сено, пока не запасешь его корове на целую зиму, и не дай-то бог выпадет место с камнями, с ямами и кочками, то тут хорошего мало — так намахаешь косой, граблями и вилами, так умаешься, что, пожалуй, больше язык не повернется сказать: «Хорошо пройтись...». Потому-то большинство частников держат коров отнюдь не ради дохода, просто не могут отказать себе в давней привычке выпить поутру кринку холодного или парного — кто какое любит — молока, не могут жить без свежих молочных продуктов — простокваши, творога, сметаны. И ради этого берут на себя такую обузу по содержанию коровы, от которой их соседи, менее трудолюбивые или менее прихотливые к пище, давно уже отказались. Теперь таким бескорванным и корову дойную дай, и покос выдели рядышком, и помощь в доставке кормов посули — все равно согласятся обзаводиться скотиной очень немногие. Так что — повторюсь еще раз — ради общего блага нельзя забывать нам частника с коровой, наплевать-лиски относиться к его заботам, когда тот обращается за помощью в правление колхоза или в госучреждение. Сектор, безусловно, частный, но это сектор единого большого государственного дела, касающегося обеспечения населения продуктами питания, его неотъемлемая часть, которая требует к себе и внимания государственного, если мы хотим за счет этого восполнить недостаток в продуктах, сложившийся из-за тяжелых погодных условий и недоработок в общественном производстве.

Почему деревня называется Горой, вполне понятно: стоит она на горе, а вот почему Русской, я так и не выяснил, хотя можно предположить несколько вариантов этого имени. Например, где-то недалеко стояли литовские войска, а здесь — русские, ведь при литовском нашествии враги прошли по этим местам, и здешние старожилы говорят, будто бы где-то даже сохранилось заросшее пепелище сожженной литовцами часовни. Или связано это название с близостью карельских деревень — Петр I и Екатерина II сослали сюда из-под Санкт-Петербурга множество карельских семей на поселение. Места здесь начинаются холмистые: Хутора, деревни и се-

ла нередко стоят на возвышенностях и зовутся порой Горами и Горками. Так, в нескольких километрах отсюда лежит деревня Цибульская Горка.

Сама же Русская Гора ничем не примечательна. Две состыкованные в виде буквы «Т» улицы, привычные глазу общественные постройки. Как во всех отдаленных деревнях, в населении ее преобладают старики. Однако глухотаманю эту деревню уже не назовешь по той простой причине, что с внешним миром — центральной усадьбой совхоза селом Осечино и Вышним Волочком — она связана хорошими дорогами. По ним с ветерком катят и местные мотоциклисты, и отпускники на личных «Жигулях», и грузовые совхозные машины, и маршрутные пассажирские автобусы.

Здешний лесник Виктор Карпов растолковал мне, где какие лежат селения, куда какие ведут дороги, даже схему набросал на листе бумаги. И тут я неожиданно открыл для себя, что нахожусь совсем близко от поселка Овсище, где прежде не раз бывал в гостях у своей тетки — материной сестры Марии Ивановны. Казалось, что Овсище далеко-далеко — полдня уходило на то, чтобы от Спинова до него добраться: нужно ехать поездом до Вышнего Волочка, потом добираться до автовокзала городским транспортом, ждать овсищенского автобуса и больше часа «пилить» на нем до теткингого поселка, — а тут, оказывается, нет и двадцати верст. Если же «срезать» петли дорог, и того меньше выйдет. В Слехново, куда поначалу предполагал я направиться из Русской Горы, можно и отсюда проехать. Невелик крюк. Тем более по пути, как сказал мне лесник, встретится полуживой хутор Свобода. Признаюсь, немало повлияло на мое решение и то обстоятельство, что захотелось немного соригинальничать — заявиться к тетке не с автобуса, а этаким ковбоем, верхом на коне. Да простит мне конь мое мальчишество, пропагает несколько лишних верст.

Мальчик послушно вышел на большак, я, перекинув ноги на одну сторону, сел спиной к палящему солнцу и, покачиваясь в седле, стал подремывать. В сон клонило сильнее и сильнее. Оказывается, не так-то легко без привычки почти целый рабочий день продержаться в седле. На лесных дорогах усталости как-то не замечалось: там приходилось то и дело уклоняться от встречных веток — не хлестнули бы те по лицу, внимательно поглядывать по сторонам — не мелькнет ли где светлым прогалом хутор-полянка, а здесь монотонная качка невольно навела сон. Раз-другой меня так сильно качнуло, что, теряя равновесие, я чуть не оказался на земле. И Мальчик уже заметно устал, на крупе и шее у него появились темные пятна пота, белой плесенью проступала на них подсушенная горячими лучами соль. Да и день клонится к вечеру. Не порз ли устраиваться на ночлег?

Не доехав до деревни Лукино, значащейся следующей на карте лесника, я свернул коня с дороги и пустил лесом. Сначала шел выгон — об этом говорили многочисленные коровьи следы и «лепешки» навоза, потом выгон ковчился и стали попадаться некошениые крохотные полянки. Травы на них было достаточно, чтобы ночь прокормиться коню, и места шли хорошие — сухие, в лесу хватало валежника и сухостоя на дрова для костра. Но не было воды. Это обстоятельство вынуждало продолжать путь. Встретилась небольшая, поросшая камышом болотина. Думал, здесь-то вода сохранилась, но, когда осмотрел место, оказалось, что и болото совсем пересохло. К счастью, выехал на лесную дорогу, довольно круто спускавшуюся с холма. Внизу в тракторных колеях блестела вода. Была она неглубокая и рыжая, цвета красной глины. Конь неохотно, но все-таки стал

пить, видно, доняла его жажда. Невдалеке на склоне холма виднелась поляна. Трава здесь была неплохая, густая и зеленая, с белой россыпью дикого клевера-кашки, и я спешился. Расстегнул подпругу, снял седло с привязанными к нему дорожными мешками, надел на морду коня недоуздок с веревкой и пустил пастись. Пока ставил палатку, собирал для костра хворост, Мальчик жадно хватал траву. Потом гляжу — нет моего коня. Кинулся к месту привязи. Лежит Мальчик на земле пластом, ноги в сторону. Я даже испугался: что с ним? Галопом вроде не гнал, больше шагом ехал... Видно, нестерпимая жара и дальний, в 30—40 километров, путь без долгих перекуров сморили не привыкшую к таким переходам рабочую лошадь.

— Мальчик, ты что? — позвал я.

Конь поднял голову, посмотрел в мою сторону и попытался встать.

— Лежи, лежи. Отдыхай, — не стал я больше тревожить его и занялся подготовкой к ночлегу.

Полужинав и отобедав разом, пошел проверил коня. Он уже поднялся и снова щипал траву. Это меня совсем успокоило. Солнце еще не село, лежало огромным остывающим шаром на чистом, безоблачном небе, даже не касаясь верхушек деревьев. Трава была сухая и теплая. Пахло костром и густой, растопленной за день еловой смолой. Дотемна было еще далеко, но уже появились комары, как по команде сменившие слепней и мух, и нудно гудели над ухом. Устроившись от них на теплом травянистом бугорке, под дымом костра, я записал кратенько в блокнот виденное за день, имена встретившихся мне добрых людей, кое-какие наблюдения и мысли, посетившие в пути, — авось и пригодятся когда-нибудь. Сводил на водопой коня и, забравшись в палатку, повесив от комаров полог, решил пораньше лечь спать, чтобы утром встать до солнышка и продолжить путь. Но то ли усталость была не так уж велика, то ли впечатления были так сильны и увиденное не давало покоя оторванной от родной земли, от деревенской и лесной жизни, моей полуогороженной душой, то ли одинокий комар, залетевший в палатку, ныл и ныл где-то над ухом, мешал отключиться от всего и задремать — уснуть я так и не смог. Выполз на свежий воздух, сдунув с тлеющей головешки пухлый налет пепла, прикурнул. Посидел у затухающего, но еще дающего жар костра и понял вдруг, отчего это мне не спится. Надо написать обо всем этом!

И вот уже засвечен в палатке прихваченный с собой на всякий случай огарок свечи, вот уже шарик ручки торопливо скользит по вырванному из блокнота двойному листу, вот уже заново переживаю все увиденное и передуманное, и ложатся на бумагу первые строчки, первые страницы этого очерка. Знаю, что сейчас не напишу всего, просто не успею, хоть всю ночь лежи тут, не отрывая глаз от листа. Главное — схвачено мое теперешнее настроение, моя боль и тревога, и сейчас же, сию минуту хочется поделиться ими с людьми неравнодушными, донести до них грусть покинутого жилья с едким запахом крапивы на домовищах, вкус прозрачной, как родниковой, воды из заброшенных хуторских колодцев, густой аромат не тронутого козой разнотравья на рукотворных лесных полянках.



АЛЕКСЕЙ ПЬЯНОВ

«ЕСТЬ ГЛАВНОЕ НА СВЕТЕ— ЭТО ТРУД»

«Нет ничего труднее,
чем завоевать
репутацию художника».

Гюстав КУРБЕ

Статью о творчестве Константина Ваншенкина следовало бы, вероятно, начать солидной фразой, определяющей его место в современной нашей поэзии. Ну, скажем, такой: «Он — один из тех признанных ныне мастеров, кто...» И это было бы справедливо, ибо Ваншенкин — действительно один из тех, кто в пятидесятые годы стал упорным, одержимым мастеровым нового стиха, наполненного ощущением неистребимой радости жизни, пересилившей, одолевшей смерть; стиха, пахнущего горьковатыми ветрами весенних полей, на которых еще не зарубцевались раны недавней войны; но уже, как прежде, всходила ослепительная озимь...

Однако я пишу не статью, а всего лишь заметки о поэзии Ваншенкина, притом заметки субъективные. В соответствии с журнальной рубрикой это скорее даже странички дневника.

«КОГДА Б Я БЫЛ СОБОЙ ДОВОЛЕН...»

Недavno, разбирая свои студенческие бумаги, в тетрадке по истории дипломатии наткнулся я на стихи, не имеющие никакого отношения к предмету, обозначенному на обложке. Рассказ лектора о деяниях Бенджамина Дизраэли обрывался задолго до завершения его карьеры и продолжался строками, которые в истории дипломатии оказались совершенно случайно, а вот в историю советской поэзии вошли по праву:

Стучит по крыше монотонно,
Беззвучно льется по стеклу,
Бурлит в канавке из бетона,
Бормочет в кадке на углу.

В полночной мгле свистит над полем,
Шуршит по листьям мокрых рош...

Когда б я был собой доволен,
То как бы спал под этот дождь!..

И сразу вспомнилось, высветилось удивительными этими строчками: кто-то принес в аудиторию новый, только что вышедший сборник К. Ваншенкина «Волны». Небольшая эта книжка путешествовала по столам, и моя очередь пришла нескоро. А когда пришла, я до звонка забыл о хитроумном политике века минувшего. В перерыве переписал в тетрадь стихотворение о дожде, посвященное Евгению Винокурову. Музыка этих строчек наполнила меня, вызвала в памяти счастливые дожди детства в далекой, затерявшейся среди сопок Павло-Федоровке...

Потом я все-таки достал эту книжку с обложкой цвета морской волны. Прочел несколько раз и сделал в ней для себя еще много открытий. Не только поэтических, но и житейских. И вот сегодня, перечитывая сборник, вышедший в 1957 году, я спрашиваю себя: почему и чем мне и моим сверстникам стали так близки и необходимы тогда стихи человека, много старше нас, прошедшего тяжелейшие испытания войны? Да, вероятно, этим-то и задел наши сердца недавний солдат-десантник: судьбой своей, кровной причастностью к делам героическим. Тревожный и радостный свет, в котором слились огни пожара и сверкание победного салюта, озарял его стихи — сдержанные, простые, ясные, лишенные традиционных «украшательств». Душа отзывалась на них памятью о еще не отболевшем прошлом. В ту пору рядом с нами, за одним столом университетской аудитории сидел вчерашний фронтовик Юра Кукаркин, для которого линиялая гимнастерка с дырочками от орденов была студенческой формой вовсе не из пижонства.

И еще мы, мальчишки военной поры, готовившиеся стать филологами, журналистами, педагогами, сумели понять значительность того, что писали поэты, прошедшие войну и заслужившие высокое право, говоря о себе, говорить от имени поколения. Они делали это без высокопарности и пустозвонства. В их строчках победная медь сплавилась с серебром тончайших состояний духа. Их лирика была нежна и жестковата, как колючее шинельное сукно. Они боялись фальши и нравоучительных прописей. Они воспитывали нас заботливо и строго, вовсе не претендуя на роль учителей...

Теперь я вижу, что уже тогда, в середине пятидесятых годов, Константин Ваншенкин сформулировал принципы, которые стали для него определяющими. Вот один из них:

Не кто-то другой,
Не лирический некий герой —
С разбитой ногой
Это я
ночевал под горой.

И ждал я рассвета
И верил солдатской судьбе...
Я счастлив, что это
Могу написать о себе.

Критики не без оснований считают эти строки поэтическим кредо Ваншенкина, подчеркивая то обстоятельство, что в своем творчестве он эмпиричен, идет от собственного опыта. Отсюда — будничность жизненной конкретики в стихах, пристрастие к острой достоверной детали, частности, «мелочам жизни». Отсюда и это «Не кто-то другой, не лирический некий герой...» Отсюда же и категоричное суждение некоторых исследователей творчества Ваншенкина об отрицании им этого самого лирического героя.

Конечно, автор и лирический герой у Ваншенкина находятся в более сложных отношениях, но лидерство первого несомненно. Именно это отличает стихи Константина Ваншенкина, определяет их образный строй, стилистику и лексику.

Должен сказать, что тот давний сборник «Волны» я воспринял как книгу откровений. Не случайно открывалась она строчками, которые, став песней, известны теперь всенародно: «Я люблю тебя, Жизнь...»

В ней были стихи, которые стали антологическими. Приведу одно из них, снова оговорившись, что пишу заметки субъективные:

Иду, боюсь... А где-то ель скрипит,
И почему-то делается грустно.
Все спит кругом, а может, и не спит,
А только притворяется искусно.

На дне канав мерцает лунный блик.
Пугая тишь, заухал филин в чаще.
Как путь далек, как этот мир велик!..
Друзья, давайте видеться почаще!

В сборнике много подобных стихотворений, в которых «лирическая дерзость» соединилась с эпической мудростью, явив нам образцы истинной поэзии.

Помню, одно обстоятельство удивило меня тогда в «Волнах»: там не было стихов о войне. О войне впрямую. Там звучало незамирающее эхо ее. Сама война станет одной из главных тем поэта позже. Ему нужна была дистанция, чтобы осмыслить те огненные годы. Я ощутил это, читая недавние книги Ваншенкина. И понял, почему не спешил он в свое прошлое: слишком ответственно и больно для легкой прогулки...

Десять лет спустя после выхода «Волн» издательство «Молодая гвардия» выпустило книжку «Избранной лирики» Ваншенкина. Составлял ее Борис Слуцкий. Он же написал короткое, но емкое предисловие, в котором есть слова, определяющие творчество поэта:

«Слог у Ваншенкина — исторопливый, основательный, степенный. Как в жизни, так и в литературе. В редком стихотворении — более тридцати строк. Разлагать его он не любит. Врать в стихах не то что непривычен, а попросту не обучен. В поэзии Ваншенкина есть качества хорошей прозы: ясность, содержательность, внимание не только к себе, но и к остальному человечеству. Однако в лучших его стихах — доподлинная поэзия...»

Теперь, когда на моем столе более десяти сборников Ваншенкина, я вижу, что далеко не все равноценно в той, первой для меня, его книжке. Но она по-прежнему остается самой любимой и самой ценной. Я беру ее в руки чаще других. Нахожу то самое стихотворение о дожде и читаю, хотя давно уже знаю наизусть. И повторяю последние строки: «Когда б я был собой доволен, то как бы спал под этот дождь!..» И мне кажется, что и не стихи это вовсе, а мои собственные раздумья над собственной жизнью.

Вероятно, не мне одному...

«ПОКОЛЕНИЕ ЭТО ЛЮБЛЮ»

Я давно заметил, что Ваншенкин не любит эпитафий. Почему, не знаю. Спросить у него самого как-то не решился. Думаю, может быть, оттого не признает он этих ныне весьма популярных «предисловий», что стихи его — особенно стихи последних лет — столь лаконичны, полны динамизма, внутренней экспрессии, что ему просто незачем ставить чужие строки камертоном к своим. Он сразу берет быка за рога, начинает с сути. Читателю не нужно петлять по тропинкам строк, чтобы добраться до сути: она не скрыта, она очевидна. В данном случае эпитафа — тормоз. Впрочем, это мои собственные, опять же субъективные догадки. На самом деле все может быть не так и не потому. Однако среди его стихов есть такие, которые можно взять в качестве эпитафы к книге, а то и ко всей поэзии Ваншенкина.

Поводом для моих заметок стали два последних по времени выхода сборника поэта: «Поздние яблоки» («Советский писатель», 1980) и «Десятилетие» («Советская Россия», 1980). Один из них — первый — новые лирические циклы, другой — избранная лирика минувшего десятилетия. Так вот к этим во многом итоговым книгам зрелого мастера советской поэзии я взял бы эпитафией строки из «Десятилетия»:

Чего в поэзии достиг?
Авось нас критик не обидит.
И я вносил посылкой в стих
Порой то рифму, то эпитет.

Но видел главное в ином —
Не в том, чтоб новым слыть повсюду,
А в том, чтобы своим вином
Наполнить добрую посуду.

Стихотворение, которое я привел целиком, многозначно. Написано оно вовсе не как эпитафа, а в ряду других. И книгу не открывает. Но роль его в сборнике, думаю, особая. Здесь явная переключка с программными для поэта произведениями прежних лет. Тогда это формулировалось не так конкретно, ибо Ваншенкин вообще не любит формулировок. Но пришла пора итогов, и он видит необходимость объяснить нечто важное для него — себе, критику, читателю. И делает это в присущей ему манере: с легкой иронией, точно и, я бы сказал, изящно, хотя «изящество» не очень-то почитаемое им слово.

Читаешь названные выше книги и видишь: да, вино у Константина Ваншенкина свое. Он не собирает ягод с чужих виноградников. Теперь это уже старое, выдержанное вино. В его букете стало чуть больше горечи, но и крепости. Оно с прежней лозы, посаженной в первые послевоенные годы. Через десятилетия перекликаются стихи, не изменились пристрастия и антипатии. Прежней осталась главная тема — верность памяти павших:

Особенное наше поколение —
Цветенья предвоенного краса.
Оно вводилось в виде пополнения
В неполные полки и корпуса.

В «Поздних яблоках» эта тема звучит в самых разных регистрах, контрапунктируя со стихами о дне сегодняшнем с его делами и заботами. В итоге — светлая, мажорная мелодия торжества жизни, любви, дружбы, вдохновенного труда. И неистребимого оптимизма.

Это если говорить о «своем вине». Согласитесь, тут особых доказательств не надо. Мы поверили поэту давно, и он ни разу не обманул нас.

Теперь о «доброй посуде». Формы ее не застыли, но общий силуэт остался прежним. Ваншенкин сохранил пристрастие к однажды избранным размерам, приемам, стилю.

Уверен, что и это не надо доказывать. А потому не в качестве доказательства, но лишь для иллюстрации один пример того, что «посуда» Ваншенкина действительно добротна, хотя и сделана без учета современного дизайна: он на моду не падок.

Стояла ясная погода,
Однако не было жары,
И золотые подле входа,
Как до войны, росли шары.

Я процитировал строфу из сборника «Характер», вышедшего в 1973 году. А теперь — четверостишие из «Поздних яблок»:

Экранизация романа.
Еще не скоро передых.
Ложатся тонкие румяна
На щеки женщин молодых.

Дело тут, разумеется, не в одинаковости размера, а в том, что Ваншенкин узнается по глубинным, корневым приметам. У него свои меченые атомы, которые легко отыскиваются. Вернее, сами себя обнаруживают.

Критика уже отмечала лаконизм, афористичность стихотворений, составивших книгу «Поздние яблоки». Их сравнивают с «моментальными фотографиями, сделанными со вспышкой», но фотографиями художественными (П. Уляшов). Точное и верное сравнение, которое помогает понять главные принципы лирической поэзии Ваншенкина. Мне трудно удержаться от еще одной иллюстрации. Тем более что в ней присутствует слово «вспышка», давнее, вероятно, повод для сравнения:

Моментальная вспышка сирени,
Что сверкнула почти как гроза,
Положила лиловые тени
На стекло, под платок, под глаза...

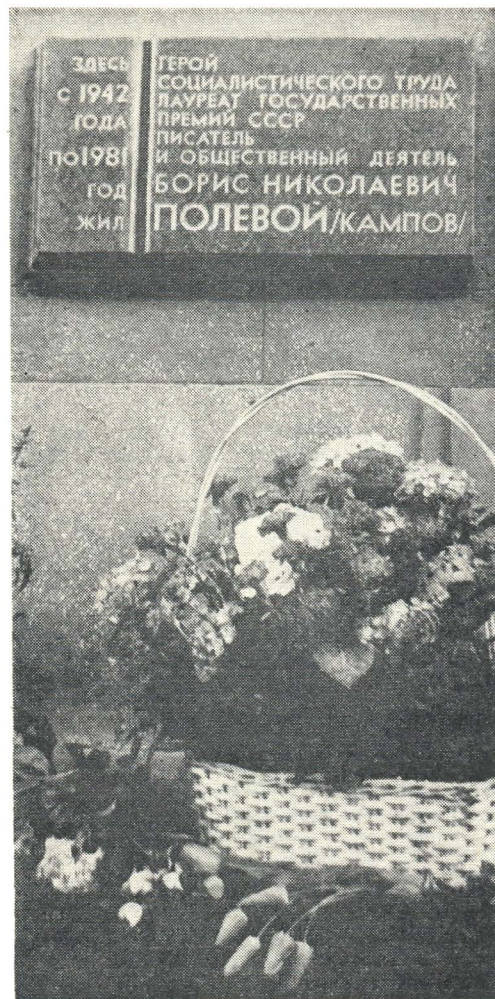
Большинство «вспышек» в книге также яркие, но высвечивают они более широкий горизонт, открывая сложные сочетания предметов, чувств, настроений.

По иному принципу в сравнении с «Поздними яблоками» построена книга «Десятилетье». В ней несколько разделов, определенных хронологией и тематикой. Но вместе с тем это удивительно цельный сборник, в котором лучшие, значительнейшие стихи, созданные на протяжении целого десятилетия. Так и тянет цитировать, дабы показать, что в этих стихах звучит плеск «Волн» 1957 года, где прямо и убежденно было сказано: «Есть главное на свете — это труд».

Ваншенкин стал строже, классичнее, но прожитые годы не погасили добрую улыбку, не превратили его в литературного метра, снисходительно взирающего на «игры младости». У него к «младости» совсем иное отношение:

Поколение это люблю,
Не видавшее черной пучины,
И на том себя часто ловлю,
Что здесь личные скрыты причины.

Думаю, что еще многие переписжут его стихи в свои тетрадки. И не только потому, что нынче трудно купить хорошую книжку.



ДОМ НА БЕГОВОЙ

Москва, Беговая 13.

Этот дом знали тысячи людей. Сюда часто приходили друзья и знакомые, шли письма и телеграммы со всех концов света.

В этом доме жил Борис Николаевич Полевой. Здесь без малого сорок лет был его кров, его очаг, его рабочий кабинет.

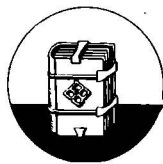
Он возвращался сюда с фронтов Великой Отечественной, когда на несколько дней приезжал в «Правду». Отсюда его уводили дороги журналиста, борца за мир, общественного деятеля, уводили то в Братск, то в Тюмень, то в далекую Анголу...

Дороги начинались с этого порога и неизменно приводили к нему.

Борис Николаевич любил свой старый, уютный, ничем особым не примечательный дом. Здесь ему счастливо жилось, хорошо работалось. Здесь рождались его дети и его книги.

В память о выдающемся советском писателе на доме № 13 по улице Беговой 27 апреля была торжественно открыта мемориальная доска.

Фото Л. Шимановича.



БОРИС
ГАЛАНОВ



БОРИС ПОЛЕВОЙ, ВНОВЬ ПЕРЕЧИТАННЫЙ

Вот и пришли к читателям первые тома девяти томного Собрания сочинений Бориса Николаевича Полевого. Очень трудно привыкнуть к мысли, что автора уже нет в живых, что ему не доведется взять в руки эти тома и, весело улыбаясь, совсем как на фотографии, открывающей первый том, сказать с присущим ему юмором что-нибудь вроде: «Наконец-то заслуженный дед республики дождался Собрания своих сочинений».

А может быть, снять с полки первый том и на титульном листе сделать зелеными чернилами (он предпочитал зеленые всем другим) шутовскую дарственную надпись: «От морской свинки, которую вы терпеливо исследуете». Так однажды Полевой написал мне свою книгу, о которой прочитал мою статью.

Надо сказать, что исследовать книги Полевого, их судьбу, их успех у широкой читательской аудитории действительно интересно и поучительно. Он обладал счастливым даром приводить на страницы своей прозы настоящих людей, настоящих не только в переносном, но и в прямом значении этого слова — живых, реально существующих и умел с любовью рассказывать непридуманные, удивительные истории храбрых солдат, строителей великих гидроэлектростанций, талантливых организаторов производства. Однажды на вопрос, что ему доставляет наибольшую радость как художнику, он убежденно ответил:

— Жить среди своих героев...

И неохотно с ними расставаться, — хочется добавить от себя.

Ведь, читая и перечитывая книги Полевого, порой можно встретить в его рассказах, повестях и романах уже знакомых нам людей, тех, с которыми в «сороковые роковые, свинцовые пороховые» автор отмерил сотни километров военных дорог и потом опять разыскал уже на мирных стройках пятилетки. А если не тех же самых, то других, похожих на старых друзей писателя всем своим жизненным складом.

Не удивляйтесь, но точка, поставленная в конце книги, не всегда означала, что с ее персонажами

мы расстаемся навсегда. И отнюдь не пылкая фантазия художника — сама жизнь опять сводила автора с его героями. Эти встречи он тоже не придумал. За него придумала жизнь, предоставив автору право повторять фразу, которую я часто от него слышал. Когда речь заходила о том, что в «Золоте» скитания отважной девушки Муси Волковой по тылам врага и того же Мересьева в глухом, заповедном лесу изпоминают романы приключений, Полевой с полным основанием говорил:

— В моих книгах нет вымысла.

Не следует толковать, однако, эти слова слишком буквально, так, будто писатель вообще отказывался от фантазии, вымысла. Если уже в первой повести Полевого «Горячий цех» старожилы Калининского вагоностроительного завода без труда узнавали своих товарищей по работе, — это еще не свидетельство о том, что, находя для себя в заводской жизни «готовые» сюжеты, автор мог ограничиться ролью протоколиста, собирателя и регистратора фактов. Документальную основу своих книг Полевой не затупшевывал. Напротив, он всегда считал нужным специально ее подчеркнуть, никогда не упуская возможности напомнить, где, при каких обстоятельствах встречался со своими героями, что знал о них сам и что разузнал от других, но фактам придавал глубокий смысл и значение, додумывал, группировал в единое художественное целое, показывал «крупным планом» главное. Справедливо было замечено, что, работая над «Повестью о настоящем человеке», Полевой не просто переменил одну букву в фамилии Маресьева, он высветил в облике своего героя такие черты, благодаря которым портрет летчика, повстречавшегося ему однажды на полевом аэродроме под Орлом, приобрел характер художественного обобщения, оставаясь в то же время строго документальным портретом с живого, определенного лица. Принцип, которому писатель был неизменно верен в своем творчестве.

Мне и прежде казалось, что Полевого можно было бы назвать писателем-однолюбом. Кажется и сейчас. Он сохранял постоянство в выборе тем, «сквозных», как любят говорить критики, главенствующих для автора тем. И в решимости насыщать свои книги — «гражданские» и военные — живыми, невымышленными людьми, ничего не умеющими делать вполсилы: воевать, трудиться, дружить, он тоже был постоянен, находя новые краски и новые возможности изображения духовно богатых, многогранных характеров современников.

«Горячий цех», ставший дебютом молодого писателя, во многом определил направление дальнейших поисков.

Смолodu Полевой работал на громадном калининском (тогда еще тверском) хлопчатобумажном комбинате «Пролетарка», затем корреспондентом комсомольской газеты «Смена» и губернской «Тверской правды», с увлечением описывая в своих очерках первые ростки социалистического соревнования в родном городе. Знание рабочего быта, характера рабочего человека приобреталось в те далекие годы. И тогда же писатель открыл для себя героев, с которыми не собирался расставаться. После выхода в свет повести «Горячий цех» Полевой продолжал сох-

рывать тесную связь с трудовым коллективом вагоностроительного завода. Заманчиво предположить, что в следующей своей книжке он опять собирался вернуться в его цеха.

Однако в день 22 июня 1941 года изменились не только литературные планы Полевого, круто изменилась его собственная судьба.

По существу, и ранняя повесть Полевого впервые дошла до многих читателей и критиков только после переиздания в 1954 году. Знакомство же с писателем Полевым начиналось для широкой аудитории не с «Горячего цеха», а с «Повести о настоящем человеке» (1946) и вышедших следом сборника военных рассказов «Мы — советские люди» и романа «Золото».

Долгое время Полевого вообще принято было считать исключительно по разделу военной прозы. Тем более, что такая его репутация подкреплялась энергичной, отважной и оперативной работой Полевого — военного корреспондента «Правды», имя которого в разгар войны приобрело всенародную известность.

Пройдут годы, и писатель вновь возвратится к рабочей теме, приумножив и обогатив свой прежний опыт и знание характера рабочего человека впечатлениями, почерпнутыми на гигантских стройках пятилетки — Волго-Донском канале, Саяно-Шушенской ГЭС. Да только ли там! Собирая материал для своего, пожалуй, самого обширного романа «На диком берегу», писатель подолгу жил в суровой, почти еще не освоенной тайге, близко сошелся со строителями ГЭС, будущими своими героями, от бульдозеристов, подрывников, бетонщиков, экскаваторщиков до командиров всего многотысячного коллектива, почти в каждом угадывая (я говорю о положительных героях) нечто мересьевское.

Впрочем, сравнивая друг с другом две первые повести Полевого, а их, в свою очередь, с более поздними его вещами, в одном убеждаешься сразу: о ком бы ни писал Полевой — о людях боевой воинской славы или трудовых мирных подвигов, — он всегда видел перед собой характеры при всем их различии, внешней несхожести и даже контрастной противоположности схожие по самой своей внутренней сути. Еще не была написана «Повесть о настоящем человеке». Еще должны были пройти четыре долгих военных года. Но разве молодой кузнец Евгений Сизов, герой повести «Горячий цех», не сродни Мересьеву? А Мересьев не унаследовал кое-какие черты беспокойного, упрямого парня с калининского завода, упорно добывающего свою победу?

В распоряжении Полевого-художника есть такие краски, такие изобразительные средства, которые всегда ему помогали связать военные сюжеты и производственные. Только что я написал, что Полевой от военной темы возвращался к производственной. А возвращаться, собственно, было незачем. Правильнее сказать, что он от нее не уходил. Просто война временно оттеснила на второй план. Но в окопах Сталинграда, в землянке на Курской дуге вчерашний труженик грустил о своей бригаде, цехе, станке. Когда же наконец пробил благословенный час победы... Помните в сборнике рассказов «Современники», посвященном строителям Волго-Дона, белого голубя, неумело нарисованного на экскаваторе демобилизованного танкиста Дмитрия Слепухи? Красноречивая деталь. Она объясняет секрет успехов знатного экскаваторщика, рожденных «из неистребимой любви к мирному труду, пронесенной через войну».

Эти слова, как ключиком, помогают открыть души вчерашних солдат. А в романе «Глубокий тыл» (1958) и тех, кто еще находится в самом пекле войны. Шутки ради говорится «глубокий тыл». В действительности самый настоящий фронт.

Недавно освобожденный от гитлеровцев, полусожженный, полуразрушенный город Верхневолжск уже начинает заживать раны, хотя на протяжении всего повествования остается в непосредственной близости от фронта. Немецкие бомбардировщики за 20 минут долетают до текстильной фабрики. Однако уже полным ходом идет восстановление. Герои «Горячего цеха» и «Повести о настоящем человеке» встречаются тут не то на поле боя, не то на строительной площадке. Непереходимой границы пока нет.

Но прежде чем в Собрании сочинений Бориса Полевого дойдет очередь до томов с романами «Глубокий тыл» и «На диком берегу», вам предстоит встреча с некоторыми произведениями его военной прозы. Непридуманные эти «были народной войны» написал человек, о котором можно сказать (воспользуемся словами знаменитого партизана войны 1812 года Дениса Давыдова): пока продолжалось вражеское нашествие, он «не сходил с поля чести», с самых опасных его участков, всегда был в «горячих цехах» войны, на переднем крае. К этому обязывал гражданский, воинский и профессиональный долг. Даже повидавшие виды военные журналисты поражались стремительным, многокилометровым броском Полевого с одного участка фронта на другой. Зато он всегда поспевал туда, где решался успех военных операций.

В одном из номеров газеты-многотиражки «Правдист» за 1943 год был очерк о военном корреспонденте «Правды» Борисе Полевом. Очерк заканчивался такими словами:

«В секретариате военного отдела хранятся две огромных толстых папки с надписью «Военный корреспондент Полевой». В них — оригиналы корреспонденций, напечатанных за последние пять месяцев.

Время от времени кто-нибудь из сотрудников замечает:

— Удивительно быстро заполняются папки Полевого.

Это здоровая и завидная полнота!»

Куда только его не забрасывала беспокойная и опасная профессия военного журналиста: в штаб оккупированной немцами танковой бригады полковника Ротмистрова, хотя, как выяснилось, оттуда не только посылать корреспонденции, но и выйти было трудно, о чем Полевой, разумеется, не задумывался. В другой раз, заняв в боевом экипаже место воздушного стрелка, он совершил вылет на штурмовике, наносящем удары по колоннам противника. В третий спустился за линию фронта к партизанам Словакии на парашюте. В четвертый, соединив обязанности корреспондента «Правды» и офицера связи, использовал единственную возможность на крохотном самолете «У-2» попасть в восставшую Прагу; приземлился на пражском стадионе, добрался оттуда до городской радиостанции, уже занятой повстанцами, и передал в штаб фронта информацию о положении в Праге, а в «Правду» корреспонденцию. В пятый... Но обо всем увиденном и пережитом на войне вы сами прочтаете в военных дневниках Полевого «Эти четыре года». Впечатлений тех лет писателю с лихвой хватило на всю жизнь. Меткие зарис-

связки фронтового быта, сделанные прямо по следу событий, развертывались потом в целые картины, дали сюжеты рассказам, повестям и романам. А если факты большого исторического масштаба соседствуют в его дневниковых записях с сугубо личными, существенное с, казалось бы, несущественным, все равно то и другое по-своему выражает дух времени, его колорит, захватывая читателей силой положительного примера. В конечном счете большое и малое высветляют друг друга, складываются у Полевого в обширную движущуюся панораму военной поры.

Оглянем мысленно прожитую писателем жизнь. Можно, я думаю, с полным правом сказать: Полевой был человеком счастливой творческой судьбы, летописцем исторической победы советского народа в Отечественной войне, его великих трудовых свершений в годы послевоенных пятилеток. Знаменитый военный писатель, он стал активным участником движения сторонников мира и как посланец советских борцов за мир объездил полсвета, проявив себя замечательным публицистом-международником.

Казалось, он не испытывал недостатка в сюжетах. Причастность к богатой событиями кипучей жизни давала ему массу сюжетов. Он близко знал многих выдающихся писателей, артистов, художников, видных общественных деятелей, военачальников, дружил с ними и оставил целую галерею портретов своих друзей и собеседников в своеобразных по жанру книгах «Биографические повести» (1977) и «Силуэты» (1978). Но история появления многих произведений Полевого, памятных его репортажей и связанных с ними поисков — уже сама по себе материал для захватывающе интересной книги. И такую книгу, последнюю свою книгу — «Самые памятные» («История моих репортажей») Полевой успел написать.

А удивительная последующая судьба его книг — это ведь тоже готовый сюжет. Справедливо сказано, что книги имеют свою судьбу. Сколько людей, попавших в трудные жизненные обстоятельства, черпали в истории Алексея Мересьева бодрость и мужество. Дома у Бориса Николаевича я видел письма, пришедшие к нему со всех концов земли. Читатели повести делились с автором самым заветным, благодарили за книгу, которая стала другом, помощником, наставником.

Ее читателями были такие всемирно известные писатели, как Нексе, Лакснесс, Арагон. Среди отзывов на книгу Полевого есть и такой: «Я частенько прикидываю для себя, как бы поступил я, доведись мне попасть в такой же переплет, как Мересьеву... И мне очень хотелось встретиться с ним, пожать его мужественную руку». Это говорил Юрий Гагарин, причислявший «Повесть о настоящем человеке» к своим самым любимым книгам.

Заметки о творчестве Полевого я писал для журнала «Юность», который Полевой безоглядно любил до последней минуты жизни. Борис Николаевич стал главным редактором журнала после Валентина Петровича Катаева, положившего начало журналу. И, может быть, именно потому, что каждую строчку прозы, поэзии, публицистики, напечатанную в «Юности», Борис Николаевич читал без малого 20 лет, и еще потому, что комнаты редакции, мне кажется, до сих пор хранят его голос, смех, шутку, я часто, пока писалась эта статья, вспоминал живого Полевого: в редакционном кабинете, среди вороха версток, гранок, сверок; дома, у книжных полок с мягоязычными изданиями повести о Мересьеве; и раньше, много раньше, — в конце войны, в Закарпатье, во

время одного из знаменитых многокилометровых бросков спецкора «Правды» с фронтов на фронт, бог знает откуда, в венгерский город Дебрецен, когда Полевой стал для меня воплощением завидной воли, энергии, целеустремленности и, конечно же, газетчиком, журналистом в самом высоком значении этого слова.

Сколько я его знал, всегда он был веселым, общительным, жизнелюбивым человеком, который, ободряя себя и других, как-то очень убежденно умел не то чтобы советовать — по-военному приказывать: «Нос не вешать», «Хвост держать pistolетом». И был он на редкость внимательным и доброжелательным товарищем к собратям по профессии. Он знал, как порадовать автора, чью книгу прочитал и поддержал еще в рукописи своим отзывом после того, как книга выйдет в свет. И не медлил автору написать: «Знаете, чем я занимался всю субботу и половину воскресенья? Перечитывал вас. Ей-богу! Все уже было знакомо. Однако сидел и перечитывал с интересом...» Сам он мог работать без устали, особенно после вынужденных простоев, если задуманная им новая книга не сразу задавалась, двигалась медленно, со скрипом: «Пошло. Пишу по 16 часов в день. Искать меня сейчас не пытайтесь. Не найдете. Сам позвоню». А через некоторое время звонил и присылал «на суд» рукопись первой части нового романа: «Сегодняшние дни, сегодняшние люди, сегодняшние страсти, сегодняшние горести и радости. Думаю, читающую публику это должно заинтересовать». И дальше характерная для Полевого просьба: «Готов выслушать от вас самые критические суждения, любую брань, хулу и поношения». Это было сказано не ради красного словца. Со всей искренностью. Он действительно ждал взыскательной оценки, прежде чем решить: доведен ли уже роман до той кондиции, когда его можно отдать в журнал.

В начале статьи я назвал Полевого писателем-однородным. Таким он был в творчестве. И в жизни — таким же цельным в своих пристрастиях, благородным, последовательным. Верным другом. Человеком большой душевной красоты. Настоящим, как герои его книг.

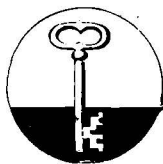
Николай Аризо

Николая Доризо представлять читателю нет нужды. Его стихи знают и девают любители поэзии, его песни пели и поют. Поэтическую интонацию Николая Доризо всегда легко узнать. Он поэт открытый, демократичный, переживания его лирического героя понятны, созвучны самым широким кругам читателей.

Разные стихи вошли в книгу «Я сочинил когда-то песню» (М., «Воеиздат», 1980): военные, о любви, песни, стихи об искусстве, стихи на исторические темы... Есть в этой книге особый жанр — лирико-философские четверостишия. Это еще одна сторона творчества Николая Доризо: здесь и юмор, и ирония, самоирония, афористичность:

И в то же время это взгляд — из будущего, то есть из сегодня: живое, непосредственное восприятие войны углублено нашим сегодняшним историческим опытом. Советский солдат, штурмующий рейхстаг, знает, что фашизм — это не только поработитель других народов, фашизм — это и палач немецкого народа, он «стране измученной своей вцепился в горло...».

Интенсивность жизни не растрата сил, а как раз напротив: щедрая самоотдача — лучшее оружие против старения, секрет неуывающей силы духа. Действенное жизнелюбие — поэт утверждает и отстаивает это не только как свою личную выстраданную позицию, но и как одну из неотъемлемых черт нашего современника.



ЮРИЙ
ОСИПОВ

ЯБЛОКИ ИЗ САДА ДОСТОЕВСКОГО



В июне 1880 года, по возвращении в Старую Руссу, спустя несколько дней после прощального своего триумфа — Пушкинской речи Федор Михайлович отправляет следующее послание:

«Глубокоуважаемая Вера Николаевна, — пишет он, — простите, что, уезжая из Москвы, не успел лично засвидетельствовать вам глубочайшее мое уважение и все те отрадные и прекрасные чувства, которые я ощутил в несколько минут нашего коротковременного, но незабвенного для меня знакомства нашего».

На редкость прихотливы, символичны порой в глазах потомков переплетения тех судеб и фактов. Вера Николаевна — жена Павла Михайловича Третьякова, основателя Третьяковской галереи. По его заказу Перов написал буквально накануне первого приезда писателя с семьей в Старую Руссу портрет Ф. М. Достоевского, больше всего любимый Анной Григорьевной. Сегодня он (превосходная копия!) встречает посетителей у верхних ступенек разноцветно застекленной веранды. («Закрытая веранда с разноцветными стеклами была нашим единственным удовольствием», — вспоминала дочь писателя, Любовь Федоровна.)

«Так как вопрос о даче для нас слишком важен... кажется, наверно, найдем в Старой Руссе, тем более, что уж очень много удобств — дешевизна, скорость и простота переезда и, наконец, дом с мебелью, кухонной даже посудой, воксал с газетами и журналами...»

Восемь лет прожил Достоевский в Старой Руссе. Огромный, по масштабам гения, пылающий творче-

ским огнем срок. Последние годы жизни, время «фантастических идей», провидческих озарений, новых художественных вершин, обретенного семейного покоя и счастья. Эти итоговые годы накрепко срелись с сонным уездным городком Новгородской губернии, известным своим водным курортом и грязелечебницей. «Бесы», «Подросток», главы «Дневника писателя», «Братья Карамазовы», Пушкинская речь. Они рождены здесь, в Старой Руссе.

В мае 1872 г. колесный пароход под причудливым названием «Алис» доставил семью Достоевских из Новгорода на пристань Красного берега. Столь необходимые писателю разительные контрасты окружали его на каждом шагу. Глухое течение уездной жизни таило бурлящие водовороты. Эхо социальных потрясений отдавалось в тихих, уютных улочках.

На десять — двенадцать тысяч жителей приходилось тогда почти три десятка церквей и «несчетное множество питейных заведений». Мрачно темнели в сени древнего монастыря кирпичные казармы бывших аракчеевских военных поселений, центром которых долгое время являлась Старая Русса. Гудели скотопригонный рынок и тракт, прорезавший весь город...

«Здесь, когда я приехал, разговаривали об офицере Дубровине (повешанном) здешнего Вильманстрандского полка, — сообщал Федор Михайлович. — Он, говорят, представлялся сумасшедшим до самой пелги...»

То была вторая за десятилетие и третья с начала царствования казнь политического преступника, вызвавшая широкий общественный резонанс. По дневниковому свидетельству А. С. Суворина, Достоевский

з задуманном продолжении «Братьев Карамазовых» героя своего «хотел провести через монастырь и сделать революционером. Он совершил бы политическое преступление. Его бы казнили».

«Он» — это отнюдь не Дмитрий, какими-то чертами неуловимо напоминающий Дубровина, а «тишайший» Алеша, авторский идеал, само воплощение нормы среди «ненормальных».

Мысль о таком Алеше Достоевский вынашивал, пристально всматриваясь в людей, подобных Дубровину, пытаясь за их внешним «безумием» увидеть нечто иное.

Старая Русса — пульсирующая точка пересечения многих литературных координат и образов Достоевского, изученная и искоженная им вдоль и поперек.

Вам укажут здесь, где находился дом Грушеньки Светловой, трактир «Столичный город» — место буйных кутежей Мити и мучительных философствований Ивана, знаменитые мостики через «Малашку», «речку нашу вонючую», на одном из которых Алеша повстречал Илюшечку Снегирева... Рукой подать отсюда и до Мокрого — села Бурег, некогда почтовой станции по дороге на Новгород. Заглянув же в соседние Устрики, названные в «Бесах» Устьевым, можно проследить «Последнее странствование Степана Трофимовича»...

Но прежде всего, сам дом Достоевских, купленный в 1876 году после смерти владельца. Построенный «во вкусе немцев прибалтийских губерний», он «был полон неожиданных сюрпризов, потайных стенных шкафов, подъемных дверей, ведущих к пыльным винтовым лестницам».

Сравним это описание Любви Федоровны, дочери писателя, с обликом дома отца-Карамазова, в котором тоже «много было разных чуланчиков, разных прятков и неожиданных лесенок».

Война не пощадила старый деревянный особняк на тенистой набережной Перерытчи, объявленной революцией «неприкосновенным историко-литературным памятником». Погибли под бомбами в краеведческом музее и хранившиеся там личные вещи семьи. Десятилетиями возрождались дорожки нашему сердцу стены. Сперва удалось восстановить две мемориальные комнаты. А в августе прошлого года, который был объявлен ЮНЕСКО годом Достоевского, состоялось долгожданное открытие Дома-музея. Шесть комнат заговорили, наполнились отзвуками и тенями: минувшего.

...Драгоценные реликвии — как путеводные вехи памяти. Цилиндр с лайковой перчаткой под высоким зеркалом в прихожей, любимые книги, фисгармония в гостиной, склянка с сигнатурой из старорусской аптеки на столике в кабинете, портфель для бумаг, украшенный монограммой Анны Григорьевны, жены писателя, в углу дивана ее спальни вышитое ею полотенце...

Благодаря охранной зоне естественное природное окружение молодого филиала Новгородского историко-культурного заповедника, близлежащие улицы, речка «Малашка», мостики словно переносят нас в семидесятые годы прошлого века, позволяют пройти привычными маршрутами писателя и его героев. Даже уличный фонарь, отчетливо видный на фотографии 1881 года, не забыт перед воротами усадьбы. Казалось бы, мелкий штрих, но какой выразительный!

То же самое и во дворе, важной части мемориального комплекса. Мощеный булыжник, почему-то особенно нравившийся Федору Михайловичу, каретник, качели («...Фома тотчас вбил винты и повесил, и дети принялись качаться», — писала Анна Григорьевна мужу в Эмс 7 июля 1876 года). А главное — непри-

язательные раскидистые грушовки в саду, как раз те, что сажал и заботливо выращивал хозяин дома. Он любил терпкий привкус этих небольших, сморщенных яблок, любил свои грядки с клубникой, кусты смородины.

Их разводят сейчас сотрудники музея и специалисты в точном соответствии с руководствами второй половины XIX столетия.

«Дмитрий Федорович вел гостя в один самый отдаленный от дома угол сада. Там вдруг, среди густо стоявших лип и старых кустов смородины и бузины, калины и сирени, открылось что-то вроде развалин стариннейшей зеленой беседки...» («Братья Карамазовы»).

Будет вскоре и памятная беседка и все остальное. А вот рублевая банька, которой Достоевский отдавал неизменное предпочтение и возле которой его Дмитрий в ночь убийства отца перелез через забор и направился к дому, уже стоит на прежнем месте.

«...Мы очень полюбили Старую Руссу, — вспоминала Анна Григорьевна, — и оценили ту пользу, которую минеральные воды и грязи принесли нашим деткам... у нас, по словам мужа, «образовалось свое гнездо», — куда мы с радостью ехали ранней весной и откуда так не хотелось нам уезжать позднюю осень».

За тридцать пять дней до кончины Достоевский писал: «А теперь еще пока только леплюсь. Все только еще начинается... Он думал о будущем, проникал пространства и времена, проникал в разные миры сразу («будущая наука», «атеизм», «правда человеческого»... «Россия через два столетия рядом с померкшей, истерзанной и оскотиневшей Европой, с ее цивилизацией»).

Возникли гениальные наброски, грандиозные планы. Десятки, сотни. Например:

«РОМАН О ДЕТЯХ, ЕДИНСТВЕННО О ДЕТЯХ. И О ГЕРОЕ — РЕБЕНКЕ. ...Заговор детей составить свою детскую империю. Споры детей о республике и монархии... Дети — поджигатели и губители поездов. Дети обращают черта...»

Или: «Фантастическая поэма-роман: будущее общество, коммуна, восстание в Париже...»

Еще: «Житие Великого грешника... огромный роман... Объемом в «Войну и мир»...

Внезапно — уже чисто блоковское: «...Христос, баррикада...»

А впереди — написанное: «Пушкин — знамя, точка соединения всех жаждущих образования и развития».

Он в упор рассматривал зло и смерть, потому что искал силы сопротивления злу и смерти. Помните ахматовское?

...Вот он сейчас перемешает все
И сам над первозданным беспорядком
Как некий дух взнесется. Полночь бьет.
Перо скрипит, и многие страницы
Семеновским припахивают плацем...

...И находил эти силы в работе, предвидя будущее с такой пронзительной остротой, что мы не перестаем изумляться: «Откуда он это знал?»

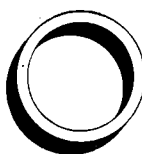
Последние весточки из Старой Руссы все о том же: «Я здесь, как в каторжной работе, и, несмотря на постоянно прекрасные дни, которыми надо бы пользоваться, сижу день и ночь за работой — кончаю Карамазовых».

Он уезжал до весны, укутав от холодов стволы яблоны.

СКОЛЬКО БЫ ЛЕТ НИ ПРОШЛО

*Человек, о котором рассказывается
в этом очерке, сорок пять лет
назад погиб в бою на земле Испании,
до конца выполнив интернациональный долг.*

*Мы не знаем точно, где именно
на испанской земле находится его могила.
Но память о нем сохранится навеки.*



бычный почтовый маркированный конверт, совсем новый, выпуска 1981 года. Письма в нем нет. Отчего же дрогнуло сердце, пробудив дорогие воспоминания? На конверте портрет молодого человека — это Георгий Склезнев, один из первых Героев Советского Союза среди танкистов. Теперь ему было бы за семьдесят, а прожил он всего 26 лет. Его могила где-то далеко за Пиренеями, как и могилы многих других участников той первой схватки с фашизмом.

Испанский народ вступил в единоборство с фашизмом и почти три года яростно сопротивлялся. Его борьба всколыхнула весь прогрессивный мир.

Когда оглядываешься на события тех давних лет, испытываешь не только гнев и боль, оживают и возвышающие душу воспоминания. Со всех концов земли очень трудными, разными путями пробирались в борющуюся Испанию волонтеры свободы. Так называли тех, кто по зову совести плечом к плечу с испанскими братьями дрался с фашистами, защищая республику и стремясь преградить дорогу второй мировой войне. Но слишком неравными были силы.

Трудно переоценить благородную миссию бойцов-интернационалистов, их исторический опыт.

Немало советских людей стремилось поехать сражаться в Испанию, однако послать всех желающих было невозможно.

Летом 1936 года Бобруйская механизированная бригада, где служил лейтенант Склезнев, проводила, как обычно, учебные походы в обстановке, максимально приближенной к боевой. Никто из этих парней еще не знал, что через несколько месяцев луч-

шие из них поведут свои машины по разбитым фронтовым дорогам Кастилии.

В один из осенних дней Георгий сказал жене:

— Еду в командировку.

— Надолго?

— В зависимости от обстоятельств.

Больше она ни о чем не спрашивала. Его служебные отлучки случались нередко, и на этот раз ничего не настораживало. Был он таким, как всегда. Поднял на руки и расцеловал сынишку, бережно обнял жену Валу — она ждала второго ребенка.

— Не скучай!

И они простились.

Отъезд советских добровольцев проходил в условиях строжайшей секретности. В Севастополе пароход «Чичерин», забрав людей и боевые машины, отчалил в опасный путь. После девятидневного путешествия прибыли в порт Картахену. Их встретила ликующая толпа с поистине испанским энтузиазмом.

Прежде чем отправиться на передовую, несколько недель провели в городке Арчена, вдали от больших дорог. Там находились база и учебный центр добровольцев.

...Упорно готовились к предстоящим испытаниям и не унывали. За несколько дней до отправки на фронт поехали по приглашению испанских товарищей встретить Новый год в соседнюю Мурсию — крупный торговый центр, город-сад. Не тронутая бомбежками Мурсия выглядела красивой и мирной. Лишь госпитали, размещенные на окраинах, напоминали о войне.

В канун Нового года на оживленных улицах все еще было солнечно, зелено. Повсюду слышался разноязыкий говор. Нарядный театр «Ромео» едва вместил всех приглашенных на праздничный вечер. В концерте самодеятельности приняли участие хозяева и гости. Потом, взявшись за руки, пели сообща революционные песни на разных языках. Веселился вместе со всеми и Георгий — он был компанейским парнем.

Расходились под утро. В высоком небе восходило солнце. Быть может, кому-то взгрустнулось при воспоминании о снежной русской зиме, о родном доме. Но на чужбине они себя здесь не чувствовали, верили, что наступивший год будет счастливым.

В первых числах января наши танкисты уже сражались на северо-западе от Мадрида в районе селений Лас-Росас и Махадаонда. В те раскаленные борьбой дни, когда приходилось драться на пределе человеческих возможностей, каждый познал меру собственной стойкости и мужества. В «Испанском дневнике» М. Кольцова есть такие строки:

«Танки отличаются. На труднейшем, скалистом и холмистом рельефе, проходя через опасные рвы и овраги, остерегаясь волчьих ям, под огнем противотанковых пушек машины прорываются в расположение мятежников, гасят и уничтожают его огневые точки, дают живую силу, сокрушают орудия. Три танка... встретив на дороге большую фашистскую пулеметную часть на двенадцати грузовиках скопили ее целиком...».

Как стало известно позднее, речь тут идет о взводе Склезнева. В ту пору имен советских добровольцев в печати не называли.

— Домой Георгий прислал всего три письма. По тем коротким, ласковым письмам невозможно было догадаться, где он находится и что испытал, — вспоминает его жена Валентина Никитична. Ничего не подозревая, она писала на московский адрес и как-то даже спросила: нельзя ли на несколько дней ей приехать, повидаться? Он ответил с мягким юмором, что свидание пока придется отложить.

Вскоре переписка оборвалась. К тому времени Валентина Никитична уже знала: муж воюет в Испании. Конечно, она тревожилась за него. И гордилась им. Хотелось верить: ничего плохого не должно случиться. Надеюсь, ждала и жадно читала все репортажи, обзорные статьи и очерки о сражающейся Испании. В каждом боевом эпизоде с участием танкистов мысленно видела своего Георгия.

Особенно разволновалась, когда попала ей в руки газета «Красная звезда» с большой статьей. В подзаголовке значилось: «Записки испанского танкиста лейтенанта Лабиедо». Но чутье подсказало другое имя. В этой статье, написанной от первого лица, рассказывалось, как, возвращаясь из боевой разведки, командир танкового взвода обнаружил, что машина его загорелась. «Взорван бензиновый бак, — провесело в голове, — сейчас взорвется запасной, начнут рваться снаряды». Привести в действие огнетушитель не удалось. Рисковать жизнью товарищей командир не мог. Пришлось ему вместе с экипажем покинуть свой танк и на броне другого добираться до республиканских позиций.

А на узкой полоске ничейной земли у всех на виду погибала брошенная боевая машина. Невозможно было с этим смириться.

Клубы дыма поднимались вверх, но взрыва не было. Значит, не все еще потеряно. Народная армия так нуждается в танках, каждый на счету, и этот нужно спасти. Когда человек принимает такое решение, он не мыслит высокими категориями: «самоотверженность», «бесстрашие», «подвиг». Все эти слова скажут потом другие, он же в эти решающие мгновения обдумывал, каким образом добраться до горящего танка и вернуть его в строй. Только и всего.

О том, как была выполнена задача, рассказано в статье без многозначительности, просто и обстоятельно. «Лощину, где был оставлен танк, с запада огбиали полосы глубоких рытвин, поросших кустами сухой травы. По этой лощине я начал пробираться к танку... В это время фашисты меня заметили, открыли огонь из пулеметов. Я плотно прижался к земле. С более близкого расстояния открыли огонь из винтовок. Пули свистели над головой, они... косили вокруг меня траву. Пришлось укрыться за бугорком и ждать, пока утихнет стрельба. Страшно хотелось курить. Вынул папиросы и спички и закурил. Фашисты, заметив струйку дыма, усилили огонь. Это навело на прекрасную мысль. Я положил папиросу на траву, а на бугорок выдвинул камень. Дымок стал гуще, фашисты, как я и рассчитывал, приняли круглый камень за мою голову. Пули ложились около него. А я тем временем полз к танку. Оставалось с полсотни метров. Но между мною и танком не было больше ни кустика, ни бугорка, открытая, ровная площадка, как футбольное поле. Я осмотрелся. Языки пламени по-прежнему лизали броню».

Медлить было нельзя. Вскочив на ноги, он стремглав бросился к танку и нырнул в люк. «Что, если мотор не заведется?» — мелькнула тревожная мысль. Пришлось несколько раз включать и переключать скорость, прежде чем танк сдвинулся с места и с трудом стал уплывать, как раненый зверь.

Оторопевшие от неожиданности фашисты открыли беспорядочную стрельбу. Пули ударялись о броню и отскакивали. Не они были страшны. Жара в танке нестерпима. Все мысли, воля подчинены одному: только бы сознание не потерять! А машина движется с ужасающей медлительностью; метр, еще метр, и... стала намертво. Но кругом уже были свои: песком, одеялами, куртками гасили пламя, осторожно вытаскивали раскаленные снаряды, обжигавшие руки.

Танкисты обнимали отважного товарища, чумазого и счастливого, возбужденного от пережитого.

Кто был тот отчаянный смельчак? Имя Склезнева назовут много лет спустя его соратники: ленинградец С. Моргун и москвич А. Шухардин в своих воспоминаниях об испанской войне.

Но Валентина Никитична догадалась раньше. И сработала не только интуиция: тут было и сопоставление событий и фактов, казалось бы, несравнимых. Воображение переносило во времена пионерского детства, и она видела перед собой длинноватого, голубоглазого паренька, слышала его ломкий мальчишеский голос: «А ну-ка, ребята, попробуем их перехитрить». В военных играх, которые проводились в пионерских лагерях, Георгий часто был за командира. Он относился к своим обязанностям со всем пылом и серьезностью, на которые способен 12—13-летний подросток. В одной из «военных» операций особенно отличился: приказал своему отряду выложить шапки перед бугорком, чтобы создать видимость залегшей цепи. Таким образом удалось обмануть «противника», ударить ему в тыл и победить.

Незначительный вроде бы ребяческий эпизод странным образом перекликался с тем, что предпринял Склезнев на настоящей войне. Это могло быть и простым совпадением. Несомненно другое — истоки подвига.

Пионерия первого советского десятилетия воспитывалась в особой атмосфере. В ту пору ребята быстро выросли, в отблесках пионерских костров им виделось другое пламя. Слова и понятия «Всегда готов!», «Рот фронт!» вселяли безоглядную веру, были присягой революции и интернационализму.

Странно устроена человеческая память: то мерцает блуждающими огоньками, то высвечивает целые жизненные пласты более чем полувековой отдаленности. Валентина Никитична отчетливо помнит годы учебы в Новобелицкой железнодорожной школе (вблизи Гомеля), где Георгий был председателем ученического комитета. Он вырос в дружной трудовой семье. Рано потерял отца. Мать воспитала троих сыновей под стать себе: честными, упорными и справедливыми. Георгий был младшим из братьев, а жизнь ему досталась самая короткая. Рядом подрастала Вала. Их многое родило: пионерские сборы и комсомольская ячейка, тяга к знаниям и неутомимое стремление везде поспеть, будь то молодежные субботники в пользу МОПРа (Международной организации помощи бордам революции) или ликвидация неграмотности среди населения. Как и многие их сверстники, они ощущали причастность ко всему, чем жила страна, и к событиям в «мировом масштабе».

После окончания школы поступили работать: он на строительство Гомельского деревообделочного комбината, она на спичечную фабрику, и оба стали комсомольскими вожаками на своих предприятиях. Дел неуворот, и все же выкраивали время для встреч.

Когда растешь рядом и видишься ежедневно, вроде бы не замечаешь перемен друг в друге и в своих отношениях. А тем временем из дружбы, возникшей с детства, прорастало большое, светлое чувство.

Ей было восемнадцать, ему около двадцати, когда поженились.

Расписались в загсе и разъехались на учебу — он в Москву, она в Ленинград, так получилось. Жили по студенческим общежитиям, встречались в каникулы. А когда молодой жене удалось перевестись в столицу, чтобы быть поближе к мужу, способный студент оставил МВТУ имени Баумана: по призыву партии и в соответствии с собственным выбором он

стал курсантом бронетанкового училища. После выпуска молодой лейтенант получил назначение в Бобруйск.

Он был требовательным командиром и хорошим товарищем. О том периоде рассказал бывший танкист Иван Семенович Григорьев: «Склезнев командовал взводом, где служил тогда и я. Однажды наш взвод отправился в подшефный колхоз. Был морозный солнечный день, глазам больно от такой белизны. Пройти предстояло километров 18, лыжня пролегла по самому краю обрыва над рекой. Не знаю, как это случилось, я оступился и покатился вниз. Плохо бы мне пришлось, если бы Георгий не ринулся на помощь. Сбросив лыжи, он тотчас же устремился вслед за мной, в несколько прыжков оказался рядом, поднял меня и приказал: «Делай так!» Превозмогая боль, я повторял за ним упражнения для рук и ног. Когда подвигались вверх, целые и невредимые, Георгий смеялся: «Сегодня как раз мой день рождения, мог бы отметить крещением в проруби».

Такой он был: смелый, решительный, в любой момент готовый прийти на выручку.

С особой яркостью проявились эти прекрасные качества в горячие дни под Мадридом.

Мог ли он знать, куда забросит судьба, когда обособывался вместе со своей семьей в Бобруйске? Родился сын, вот была радость!

Но настал день, ставший рубежом для всех Склезневых, и прежде всего для самого Георгия. Не личная выгода, не стремление к славе побудили его отказаться от мирных радостей, расстаться с родными. Чувство долга и братской солидарности позвало в дорогу и привело на передний край борьбы с фашизмом.

Он сражался отважно и погиб героически.

В то время, когда началось франкистское наступление на реке Харама, Склезнев был уже начальником штаба батальона, мог не принимать непосредственного участия в боях, но счел необходимым находиться там, где всего труднее.

Более трех недель шло ожесточенное сражение на Хараме; фашисты сосредоточили там огромные силы, стремясь прорваться к Мадриду. Их план и на этот раз сорвался.

В середине февраля бои достигли наивысшего наката. В свой последний день Склезнев дважды водил танки в контратаку. Первая прошла успешно, удалось отбросить противника. Как закончилась вторая, Склезнев не узнал. Ударил роковой снаряд.

Георгий Склезнев погиб 12 февраля 1937 года. Валентина Никитична узнала об этом лишь год спустя. Нашла в себе силы выстоять горе. Воспитывая двух маленьких детей, решила продолжить дело мужа, поступив учиться в военно-педагогический институт. После окончания преподавала в армейских училищах, всю энергию и знания отдавая оборонной работе и воспитанию молодого поколения.

Офицер запаса, она и теперь ведет переписку со «склезневыми» танкового училища, которое окончил Георгий.

Ежедневно перед строем курсантов называют имя Героя Советского Союза лейтенанта Склезнева. С того времени, как он учился, произошли большие перемены. Далеко шагнула военная наука, техника стала иной, соответственно возросли и требования к будущим командирам. Но непреходящи моральные ценности, доставшиеся в наследство от Склезнева.

Бережно хранят в семье фотографии, письма, вырезки из газет, оригиналы и копии различных документов. В семейном архиве копия постановления ЦИК СССР (июнь 1937 года) о присвоении высокого звания Героя Советского Союза (посмертно), а также



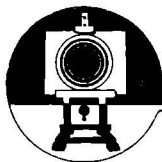
Георгий Склезнев после окончания школы (1929 г.)

грамота Героя, врученная вдове и сыну уже в 1965 году. Среди драгоценных реликвий несколько последних фотографий, привезенных из Испании товарищами Георгия. На этих любительских снимках он выглядит веселым. Как и все люди, надеялся долго прожить, вырастить детей, внуков, ради них сражался.

В Гомеле по улице Георгия Склезнева шагают люди разных возрастов. Но одно поколение юных гомельчан окончило школу, названную именем героя. В его честь проводятся ежегодные юношеские спортивные соревнования. Его имя занесено одним из первых в Книгу вечной славы Гомельского деревообделочного комбината.

В Гомельском краеведческом музее собрано немало ценных, интересных материалов, посвященных Георгию Склезневу. Он был парнем из этого города, и гомельчане свято берегут память о своем земляке. По их ходатайству Министерство связи СССР выпустило упомянутый выше маркированный конверт с портретом героя.

Мне тоже прислали такой конверт. Я не была знакома с Георгием Склезневым, но и мне довелось быть свидетелем и участником первой антифашистской войны. Все, кто побывал тогда в Испании, навечно связаны узами братства. А Валентина Никитична приобщилась к этому братству благодаря мужу. В течение ряда лет она является бессменным секретарем испанской секции Советского Комитета ветеранов войны, ведет переписку, помогает собирать новые документы, организовывать выступления ветеранов перед молодежью. На таких встречах мы вспоминаем наших боевых товарищей.



ВИКТОРИЯ
ТОКАРЕВА

ПТИЦЕ-ЗВЕРЬ ИЛИ НОЧЬ

Человек может сколько угодно мыслить и сомневаться, но если у него нет таланта — все это останется в его душе. Он не сможет поделиться собой с людьми. Талант — необходимое условие быть понятым и услышанным большим количеством людей. Бывает талант без доброты, и он тоже самоутверждается, но у него другие дети.

Я смотрю на работы Татьяны Гнисюк: ее доски, ее акварели. Вот работа «Дворик». Это именно дворик, а не двор. Там очень зеленая высокая трава. На траве дом с двумя окнами. Перед домом собака глядит вдаль. Собака как собака, дворняжка скорее всего. Ничего особенного. Но я смотрю и смотрю, как жаждающий в пустыне. И скучаю. По чему? По чему неосознанно скучаю мы, горожане, замурованные в кооперативных камнях? По такой вот зеленой зелени. По деревянному дому, который стоит на земле. И по собаке, у которой нет других интересов, кроме интересов хозяина. Представьте себе собаку, которой бы хозяин сказал: «Идем на охоту», а она бы ответила: «Не могу. У меня дела». Хотя в Москве могут быть и такие собаки. Говорить они, конечно, не умеют, но их может просто не оказаться дома. Ушли по делам.

Дворик не прибран. Чувствуется, и в доме тоже не богато. Есть, наверное, все необходимое: на чем сидеть, на чем спать, куда класть одежду. Все, что необходимо, и ничего лишнего. И ничего не надо. Простая пища, простые радости.

У Новеллы Матвеевой есть стихи о детстве. Там есть такая строчка: «О, как я счастлив — кричит во дворе петух». Этот петух из этого дворика. Просто сейчас он вышел за рамки картины.

О! Как мы счастливы! — растет трава. О! Как я счастлива! — думает собака.

Они все из детства. Из лета. Из воспоминаний, близких или забытых, но именно из воспоминаний, потому что так щемяще тепло выглядит только то, что ушло.

А вот «Птице-зверь». На дереве сидит нечто и смотрит вбок. Поскольку на дереве и с крыльями — значит птица. А голова с рядами зубов, как у крокодила. Я смотрю и узнаю. Спросите: кого узнаю? Крокодила? Нет, конечно. Такой образины в природе нет. Она выдумана. И я узнаю эту выдумку. Она не моя, чужая выдумка. Но я ее узнаю.



Однажды, жизнь назад, в раннем детстве я спала рядом с мамой. Вернее, мама спала, а я просто тихо лежала рядышком и не двигалась, чтобы ее не разбудить. И вот открылась дверь и вошла старуха, на цыпочках, неся перед собой свои согнутые руки со скрюченными пальцами. Я притворилась, что сплю, и тихо наблюдала, как старуха подкралась к кровати и чуть-чуть коснулась маминых волос. И ушла. Так же на цыпочках.

С тех пор прошло почти сорок лет. Я помню это явственно. Но до сих пор не пойму: что это было? Сон? Явь? Призрак? В Англии, например, благодаря каким-то климатическим условиям призраки, говорят, водятся в больших количествах и с ними считаются, как с членами семьи.

Может быть, действительно, призрак — это какое-то неизученное эфирное состояние духа? Я смотрю на эту птицу и как будто проваливаюсь в глубину времени. Привиделась такая птице-зверь, и хочется думать: было или не было? И свою жизнь не можешь понять: то ли спишь, то ли бодрствуешь? То ли детство кончилось, то ли продолжается? То ли сегодняшний день главный, то ли предисловие к главному, то ли бросовый черновик?

По рисункам Тани Гнисюк ходят мальчишки, старухи, рыбы, и у них у всех поразительно одинаковые глаза: крупные, светлые, пронзительные, наивные. Они как бы всматриваются в этот мир и в души тех, на кого они глядят. И сам поневоле всматриваешься в себя и пытаешься что-то постичь.

В этом и есть предназначение таланта: заставить задуматься и постичь. Не обязательно найти и открыть истину. А просто подрыть этот клад, хотя бы неглубоко, хотя бы с одной какой-нибудь стороны.

Я подхожу к книге отзывов и пишу: «Спасибо за ваших детей». Мы создаем детей от плоти, и детей от духа. И те и другие требуют от нас всю нашу жизнь. И перед теми и другими мы ответственны.

На снимке: Татьяна Гнисюк (слева) и Любовь Юкина.

Фото Л. Шимановича.

АЛЛА
АХУНДОВА

ТРЯПИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

Тряпичный концерт? Таких не бывает! Концерты бывают скрипичные, фортепьянные, для альта, виолончели или других музыкальных инструментов. Но «тряпичный концерт» не игра слов. Именно такой концерт, сочиненный художницей Любовью Юкиной, состоялся в «Юности».

Дело в том, что для Юкиной «тряпичные» куклы — инструменты, из которых она извлекает неповторимые мелодии, создает свою музыку.

Я не искусствовед и не специалист по куклам, но в том опыте, который есть у меня, я не встречала ничего похожего. Ее куклы не подобия человеческих типов, характеров, не шаржи, не сатиры на социальные явления, как, например, это было у замечательного художника и кукольника Николая Георгиевича Шалимова, это особенные куклы, куклы самых разных человеческих чувств, куклы страстей наших, куклы настроений, куклы наших представлений и фантазий. Может быть, потому, когда видишь их, слышишь именно музыку.

И, казалось бы, из такой «глухой» материи, как лоскутики тканей, вата, перья, пуговицы, ленты, бусы и прочее, из этой коробейно-галантерейной мелочи человеческого быта невозможно извлечь никакого звука, не то что музыки! Но куклы Юкиной — живое свидетельство возможности невозможного.

Взгляните на ее кукол-старушек, в портретных рамах и без рам. Ни на каких конкретных старух они не похожи и похожи на всех старушек на свете. За неконкретностью черт лиц этих кукол оживает конкретность прожитых жизней, испытанных страданий и радостей. А реальные конкретные и подробные рюши, букалы, чепчики, бантики — наоборот, вызывают щемящее чувство нереальности всех этих атрибутов их жизни, их тленности, непрочности.

Так на парадоксальном единстве предметного и чувственного рождается в кукле бессмертная душа человеческая. Куклы Юкиной — куклы наших душ, куклы наших исканий.

Всякому человеку, оказавшемуся в положении объясняющего чужое искусство, волей-неволей приходится и хочется отгадать принцип, по которому это искусство делается. И я, грешная, видимо, не избежала того же, но не от соблазна отгадать, а от убежденности, что так оно и есть. Были и есть художники, загадывающие загадки, говорящие, что жизнь

есть тайна непостижимая, а есть и были художники с тайной своей отгадки. К таким принадлежит и Юкина.

Отгадала же она свою замечательную, бесконечно женственную, пылкую, привязчивую, трогательно-влюбчивую, бородавчато-мушиную, мотыльково-лепестковую жеманницу Кикимору, словно только что вышедшую из лесных топей и сразу из болота попавшую на бал, в кружевах тины, в бахроме ряски. Кикимора так переполнена чувствами, того гляди выпрыгнет из «рамки». Увидев ее, нельзя не полюбить, нельзя забыть. Но ей ваша любовь не нужна, ей нужна победа над вами. Ну, какова? А?

А загадочно-трагический Бычара, как я его уже успела для себя назвать! Сколько в нем артистичности, элегантности! А какой у него взгляд, сердце, да?! Он вас очаровывает, покоряет, сражает и тщательно скрывает что-то. Что же? А может быть, только то, что он просто бычок?

Куклы Юкиной не молчат, не ждут, когда их дернут за ниточки, чтобы начать действовать. Они живые. И как с живыми, вы можете с ними поговорить, поплакать, вспомнить, помечтать, посмеяться.

Загадочные формы их головок, смещенные черты лиц — вся их нездешность удивительным образом обращают нас к реальности нашей земной жизни, и мы начинаем в ней видеть дотоле незримое, нездешнее.

Куклы Юкиной — это куклы человеческих чувств. И прекрасно, что художница открыла нам их. Тряпичные — оказались способными петь небесными голосами, когда на них играет виртуоз Юкина, и если концерт сочинен и сыгран, то слава богу!

Но как случилось, что график, в совершенстве владеющий техникой офорта, литографии, линогравюры, вдруг обратилась к тряпичным куклам? Попытка овладеть многомерным пространством — лепить, хотя бы из тряпок? Однако куклы Юкиной, как и ее офорты, впечатляющая серия «Художники», к примеру, тоже ассоциативно портретны. А с другой стороны, любая из кукол могла бы, как своя, войти в тот причудливый сказочный мир Кэрролла и Рузла Толкина, воссозданный Любовью Юкиной в литографиях.

Будь я искусствоведом, я бы первым делом, конечно, увидела и по достоинству оценила выставленные ею литографии и офорты, а потом бы всплеснула руками: да еще целая стенка кукол! А я сразу — и уж пусть простит меня Любовь Юкина — повела тему тряпичного концерта и никак не могу прерваться...

В наш век петленного полиэтилена, нержавеющей стали, нескисающего молока, вечно свежих мороженных продуктов, вечнозеленых искусственных годоводных елок человек упорно продолжает жить преходящими, но живыми чувствами, теми же самыми, какими жили и семьсот лет назад и две тысячи лет назад.

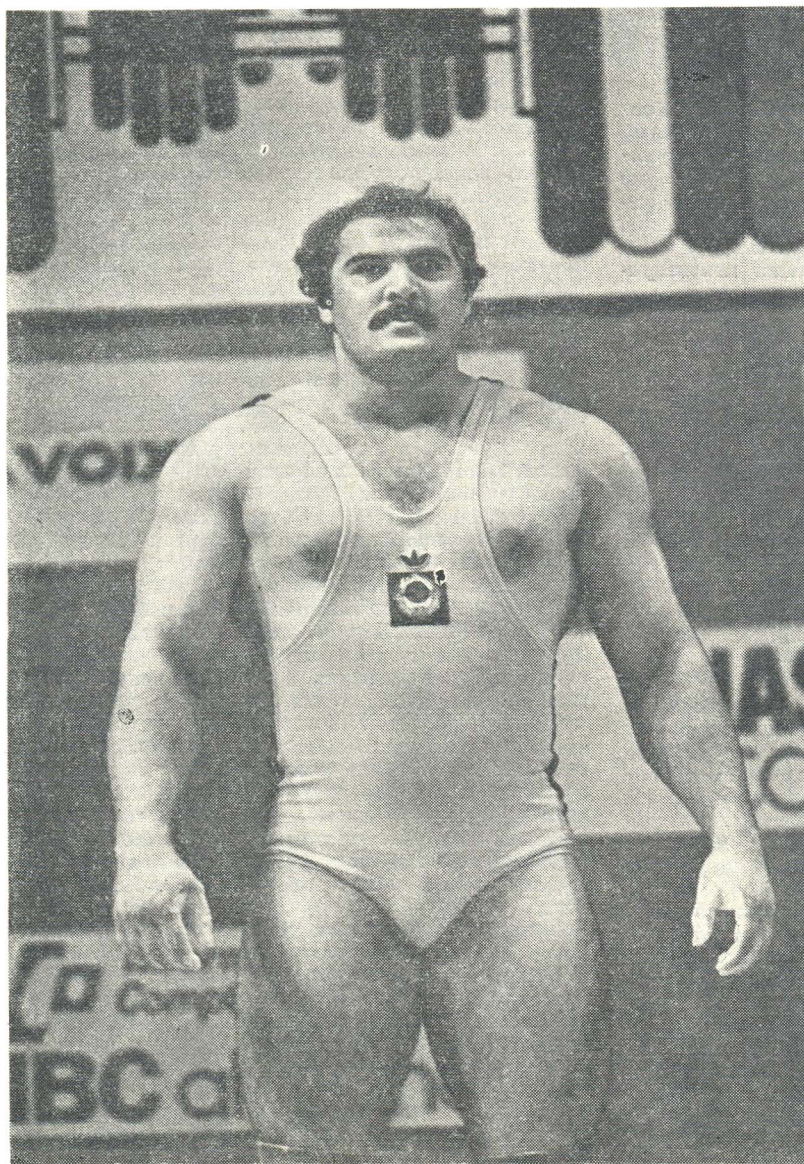
Сегодняшнего человека удивить чем-нибудь просто стало невозможно, а вот тронуть его, что называется, за живое удастся не каждому. Любви Юкиной это удается. Как говорится, сколько вложишь, столько и выйдет. Она вкладывает душу, потому и выходят — душа.



Спорт

ФЕНОМЕН АНАТОЛИЯ ПИСАРЕНКО

ЛЕОНИД ПЛЕШАКОВ



Яжду его в холле гостиницы, куда пришел за пять минут до назначенного часа. Он пунктуален. Подходит, тихо спрашивает, не к нему ли. У меня встреча с супертяжеловесом, с самым сильным на данный момент человеком на нашей планете. А передо мною высокий парень в отутюженном костюме, при галстукке. Крепкий, сразу видно. Даже наверняка спортсмен. Но не более того. Во всяком случае, не «супер».

Но он не отходит. Продолжает стоять рядом, в очередной раз, как я теперь понимаю, наслаждаясь произведенным эффектом. Наконец, представляется:

— Анатолий Писаренко...

И, не скрывая удовольствия, спрашивает:

— Правда, не похож?

Что правда, то правда. Писаренко настолько выпадал из традиционного образа супертяжеловеса, что я, не раз видевший его на экране телевизора, все равно не узнал, столкнувшись лицом к лицу.

— Сколько вы сейчас весите? — спрашиваю.

— Позавчера было сто пятнадцать пятьсот.

Позавчера он победил, выступая на Кубке Швеции, но результат показал для себя невысокий.

— Я не готовился к этим соревнованиям и выступал в «разобранном» состоянии, — объясняет он. — После первенства мира в Лилле устроил себе отдых. Целых два месяца практически не работал со штангой. Подходил только к легким весам чуть-чуть размяться. В основном бегал, прыгал. Мало ел. Подсох, похудел почти на семь килограммов. Так что в Швеции

Фото С. Киврина.

много поднять не мог, да и не собирался. Лишь бы выиграть. Благо серьезных конкурентов не было.

— То, что перерыв в тренировках сказался на результате, понятно. А потерянные семь килограммов веса тоже повлияли?

— Существует примерно такая закономерность: вес штангиста вырастает на килограмм, его результат в сумме — на два. Значит, либо изнурительными тренировками набирать чистую мышечную массу, и это потребует много времени и труда, либо нажираться, что гораздо легче и быстрее.

Вот и появляются штангисты-«пузыри»: рост — метр семьдесят, вес — сто пятьдесят — сто шестьдесят килограммов. Тяжело дышат, ботинки зашнуровать не могут. Их не волнует ни собственное сердце, ни собственный вид, лишь бы был результат.

— Но штангу поднимают все-таки мышцы...

— Не только. В темповых движениях и общая масса тела имеет большое значение. К тому же те, о ком я говорю, тоже много тренируются, и мышцы у них, конечно, есть. Другое дело, что в каждом килограмме веса, который они прибавляют, мышц всего граммов шестьсот. Остальное — жир. Я же хочу, чтобы прирастали только эти шестьсот граммов мышц и ни грамма жира.

Стоит установить верхнюю границу категории супертяжеловесов — допустим, сто тридцать килограммов, — и все сразу захотят быть стройными. Уверен, такая мера имела бы смысл, ибо спорт — это прежде всего эстетика гармонично развитого человеческого тела. А «пузыри» своим видом агитируют против спорта, против штанги.

— Но вас-то они не сагитировали...

— Я не пример. В тяжелую атлетику вообще попал случайно, так как всегда считал ее глупым занятием, а до этого перепробовал многие виды спорта.

Когда я еще не учился в школе, мой дядя Валера, моряк по профессии, отвел меня в бассейн: мужчина должен уметь плавать. Я научился, даже выполнил разрядную норму. В школе поочередно занимался гимнастикой, баскетболом, классической борьбой, вольной. По борьбе однажды был чемпионом Киева в своей возрастной группе.

У меня такой характер: если увлекался чем-то, то не пропускал ни одной тренировки, надоедало — бросал сразу и навсегда. Лет в пятнадцать я оставил спорт и предался соблазнам переходного возраста. Хватило, правда, ненадолго. Организм привык к регулярной физической нагрузке, режиму и уже не мог без этого. Вот тут приятель и затащил меня в секцию тяжелой атлетики киевского «Динамо», к Михаилу Петровичу Кемелю.

Я думал: полгодика покачать силу не повредит, а там видно будет, куда податься. С тех пор и качаю.

— Почему?

— Тренер такой попался. Если бы он командовал, приказывал, навязчиво учил, я при моей склонности к анархизму давно бы ушел из секции.

А этот разрешал делать все, что хочешь. Лишь иногда давал совет и то таким тоном, будто это был не его, а мои собственные мысли, а он только помогал их четко сформулировать.

В свое время Михаил Петрович входил в сборную страны, даже «снял» один из рекордов Григория Новака. Громких титулов он, правда, не имел, но опыта ему не занимать. Он может в течение всей тренировки не сказать мне ни одного слова. Но если скажет, то оно будет единственным, которое необходимо в данной ситуации.

Такой вот тренер-нянька, тренер-родитель, коро-

че — идеальный тренер, от которого уйти все равно, что предать.

— Тренер тренером, а если спорт, как вы сказали, глупый, чего не бросить?

— Так мне казалось раньше. А выступил на соревнованиях и понял: на помосте идет тонкая психологическая борьба, и она требует ума. Понравилось. Когда стали расти результаты, оказалось, что и увальнем штангисту становиться не обязательно, можно оставаться гармонично развитым атлетом. Вы видели когда-нибудь Юрика Варданяна? Разве он похож на типичного штангиста? Или я похож? Между прочим, я и сейчас могу, став на борцовский «мост», делать забегания в любую сторону. Гибкость сохранилась...

— Как все же объяснить ваши высокие результаты, показанные при таком относительно небольшом собственном весе? Первого сентября 1981-го в Подольске вы установили мировые рекорды для супертяжеловесов в рывке — 201,5 килограмма и в двоеборье — 447,5. Причем последний принадлежал раньше Василию Алексееву и продержался четыре года. Через восемнадцать дней в Лилле вы стали чемпионом мира, сделав в сумме двух движений 425 килограммов.

— Мог больше, но переосторожничал.

— Я не о том... Ваш собственный вес во Франции был...

— Сто двадцать три килограмма, страшно подумать. Это тренер сборной заставил набрать лишних четыре килограмма против моего обычного тренировочного веса. Никогда у меня еще столько не было...

— Но вместе с тем никогда еще не было и штангиста, который бы при таком весе показывал подобные результаты. Говорю это не в качестве комплимента, просто хочу поинтересоваться: как вам это удается?

— Чтобы много поднимать, нужно много тренироваться. Не только, чтобы шлифовать технику, но и наращивать силу мышц. А это неизбежно ведет к увеличению их массы, что, в свою очередь, — к увеличению веса спортсмена. Не случайно большинство выдающихся штангистов — и наших и зарубежных — в течение своей спортивной карьеры переходили постепенно из одной весовой категории в другую, более тяжелую. Некоторым удавалось успешно выступать в двух-трех, иногда даже четырех-пяти весах. При этом, естественно, росли и показываемые ими результаты.

За годы, что занимаюсь штангой, я побывал, по моему, в шести весовых категориях. Начиная мальчишкой, рос, мужал, набирался сил, так что ничего удивительного в этом нет. Остановлюсь подробнее на двух последних годах, не оттого, что они чем-то выделяются из общего правила, а именно потому, что убедительно подтверждают его.

На Спартакиаде народов СССР 1979 года я выступал в первом тяжелом весе, имея 107 килограммов, и занял второе место с суммой 392,5 килограмма. В мае 1980-го на чемпионате страны я снова завоевываю «серебро», но уже во втором тяжелом, показав в сумме 425 килограммов при собственных 119. В сентябре следующего года, еще чуть-чуть потяжелев, «снял» два мировых рекорда: в рывке и в сумме.

Конечно, соревнования не могут быть абсолютно точным показателем истинной силы спортсмена: нервничая, он допускает неточности, срывы, хватает «баранки» — тем не менее по их результатам можно понять, кто на что способен. Так вот, с известной условностью можно сказать, что за два года с небольшим я, потяжелев на шестнадцать кило-

граммов, увеличил свой результат в сумме на пятьдесят пять килограммов.

Теперь пойдем дальше.

Занятия штангой — тяжелый физический труд. Особенно возрастают нагрузки, когда готовишься к большим соревнованиям или рекорду. (Я, например, в этот период поднимая по тридцать тонн за одну тренировку.) Вернуть организму израсходованную энергию может только усиленное питание. Вот и получается: чтобы нарастить мышечную массу, ты должен много есть, чтобы восстановить силы — то же самое. Я говорю сейчас не об обжорстве, а о самом необходимом уровне потребления калорий.

Но усиленные тренировки не могут продолжаться круглый год. Человеку нужен отдых, и в графике любого штангиста есть периоды относительного спокойствия, даже полного «отключения» от «железа». Это может длиться недели, а то и месяцы. И организм, привыкший много потреблять и расходовать энергии, с трудом приспосабливается к новым условиям. По инерции он требует прежних калорий, расходовать которые ему не на что. Если в этот момент не установить строгий режим питания, не ограничить себя в еде, вес поползет вверх, причем за счет жира.

Мне лично в этом отношении повезло: у меня нет аппетита. Сколько себя помню, всегда слышал одно и то же: ешь! Сначала мать заставляла. Теперь вот жена и тренеры. А я не могу есть лишнее, не хочу. Конечно, когда много тренируюсь, съедаю столько, сколько нужно для восстановления сил. В период же отдыха не больше любого человека. Хватает. А так как в это время я много бегаю, прыгаю — вообще любую подвижную образ жизни, то вес быстро падает. Уходит водичка, случайный жирок. Вот и после первенства мира я сбросил семь килограммов без особого напряжения воли.

Но, что говорить, мне уже давно советуют: «Не будь дураком, набери килограммов 140, и ты покажешь фантастические рекорды, станешь непревзойденным чемпионом». На это я неизменно отвечаю: «Такой дорогой ценой я не хочу платить ни за рекорды, ни за чемпионские звания». Если дело повернется таким образом, что ради результата мне нужно будет «нажираться» вес, я оставлю спорт раз и навсегда. Сто тридцать килограммов — вот предел, который я себе могу позволить. И не больше.

— Это вы говорите сейчас, когда не почувствовали до конца опьяняющей сладости побед...

— Да, я тоже думал об этом. Возможно, будущие рекорды, будущие победы мне так придутся по вкусу, что не захочется с ними расставаться. Человеческая натура склонна к компромиссам. Может быть, и я со временем смогу найти какое-то оправдание, чтобы «достойно» отступить от своих нынешних принципов. Но как бы там ни случилось в будущем, сегодня мне такое отступление кажется душевной слабостью, отсутствием мужского характера, если хочешь, предательством самого себя.

Но я оптимист. Мне кажется, к высшим результатам может вести и другой путь, не только «наедание» собственного веса. Нужно совершенствовать технику работы со штангой.

1981 год был моим годом. Весной во Львове я выиграл Кубок Дружбы. А в мае неожиданно — очень долго готовился и был в отличной форме — «сгорел» на чемпионате страны. Подвел рывок. Я так «забил» большими тренировками мышцы, что они, став очень сильными, потеряли необходимую для рывка чувствительность. Я легко выхватывал штангу вверх, но там ее удержать не мог: не чувствовал. Короче — «воль».

Мне дали возможность реабилитироваться, послали в Гданьск на Кубок Балтики, где я победил с лучшей для себя суммой — 432,5 килограмма.

Но все это присказка. Живет в Симферополе мой друг Володя Ильин. Врач по профессии, аналитик по складу ума и отличный к тому же штангист: был чемпионом страны, побеждал и на Кубке СССР. Штангу он, кажется, бросит, так как занялся наукой, готовит диссертацию. Жаль, конечно, так как он умеет «осмыслить» штангу. Как «осмыслил» и мой рывок. Он мне как-то говорит: «Главное в рывке не поднимать штангу, а вставать самому вместе с нею. Поднимать надо себя, а штанга должна быть с тобой одним целым, как привязанная. Встать нужно до конца, как можно выше, а когда штанга пойдет вверх, ты должен как можно быстрее уйти в низкий сед. Чем больше будет амплитуда, тем больший вес ты сможешь выхватить».

Модель вроде бы предельно простая. Но почему-то до Володи никто мне этого не говорил. Когда он все разжевал, мы стали выдумывать специальные тренировочные упражнения, которые бы помогли выработать нужную координацию, чувство единого целого со штангой и дали бы дополнительную нагрузку нужным группам мышц. Потом мы определили оптимальный для меня угол, при котором я начинаю рывок. (Мой старт, надо сказать, выше, чем у других штангистов, что расценивается специалистами как изъян в технике. Но это их дело — наводить критику.) Короче, готовить я стал рывок по новой методике. И за три летних месяца мой личный результат в этом виде двоеборья вырос на 15 килограммов. Что я и продемонстрировал первого сентября на помосте в Подольске.

— Что из этого следует?

— То, что в тяжелой атлетике, несмотря на высокие достигнутые результаты, есть еще скрытые резервы. Нужно их исследовать и пускать в дело. Думаю, что с этой задачей успешнее всего справятся хорошо сложенные, координированные ребята. Они уже на подходе и, как только наберут силу, во весь голос заявят о себе, время «пузырей» кончится. Им будет просто стыдно выходить в таком виде на помост и показывать посредственные суммы. Нарращивание веса как способ достижения высокого результата истощало себя.

Это интервью я взял у Анатолия Писаренко в конце декабря прошлого года, когда он по пути из Стокгольма в Киев из-за нелетной погоды застрял на день в Москве. Все, что он говорил, было мне крайне симпатично, и захотелось узнать, что думают по этому поводу его знаменитые предшественники — Юрий Власов, Леонид Жаботинский и Василий Алексеев.

Каждого из них я спрашивал: как вы оцениваете результаты Писаренко, и удастся ли ему, по вашему мнению, успешно выступать и в дальнейшем, «не теряя фигуры»?

В Л А С О В. Рекорды Анатолия Писаренко великопелны, тут и говорить нечего.

Выстоит ли он против обжиралюхих монстров, не уверен. Это очень трудно, так как неравны условия борьбы. Испытал это на собственном опыте.

Эту гонку за весом одним из первых начал американец Пол Андерсон. Тогда он потрассал всех нас своими результатами: первым набрал 500 килограммов в сумме троеборья. Стал чемпионом мира в 1955 году, олимпийским — в 1956-м. И все за счет искусственно набранного веса. При росте 175 сантиметров он догнал свой вес примерно до 170 кило-

граммов. А когда попытался сбросить перед Мельбурном до 140, показанный результат сразу значительно упал. В своем письме он объяснял мне, что в Австралии простыл, температурил и поэтому и не смог сделать все, что хотел. По-моему, это не так. Почти каждому штангисту когда-нибудь приходилось выходить на помост с легкой температурой. Если ты в форме, это не влияет на результат. У Андерсона причина была другой — сбросил вес.

На первом своем чемпионате мира в Варшаве я весил 118 килограммов и победил американца Бредфорда, который был на двадцать килограммов тяжелее. К Олимпиаде в Риме я прибавил пять кило, но без жира, так как много работал на тренировках. К следующему чемпионату в Вене наикнул еще три, но с жирком, так как не успевал отработывать вес. Запретил себе этот прием, но... Соперники наседали, они брали результаты, нажирая вес, и, к сожалению, я был вынужден включиться в эту гонку, давать себе послабления. Иначе не получалось. Я сильнее. В зале они не могут повторить ни одно мое упражнение. А выходят на помост, как шурнут в жиме или толчке штангу всей своей массой, так сразу наверстывают все, что я зарабатывал за счет силы и техники в рыжке. Из всех моих соперников лишь Норберг Шиманский был всегда легче меня. Это был великий спортсмен и труженик. Но и его обходили штангисты, распухавшие от обжорства.

Выдержит Писаренко состязание с ними? Не уверен. Повезет ему — хорошо. Но это будет случайностью, которая ничего не докажет. Есть объективно существующие факторы. Будь моя воля, ограничил бы второй тяжелый вес 130 килограммами. Пусть соревнуются Аполлоны.

ЖАБОТИНСКИЙ. Я не знаком с Писаренко, но его результаты вызывают уважение, хотя бы потому, что достигнуть их может только много потрудившийся человек. Симпатизирую работягам.

Думаю, что все время держать свой вес ему не удастся. Чтобы увеличивать результаты, нужно наращивать собственную массу. Он молод и со временем поймет эту истину.

АЛЕКСЕЕВ. Анатолия Писаренко я знаю достаточно хорошо. Приходилось вместе тренироваться. Парень спосібный, еще многое может сделать, если ликвидирует недостатки в технике. Она у него не идеальна. Его результатами я бы не спешил восторгаться. Говорю это без ревности, хотя он побил мои достижения. Оба мировых рекорда — «домашние», показаны в своей стране, где, естественно, выступать легче. На чемпионате в Аляске его килограммы были поскромнее. Кстати, поехал он туда по «чужому» билету. (Замечу, что и Анатолий Писаренко мне говорил: во Францию должен был ехать более опытный и, по его мнению, более сильный Султан Рахманов, олимпийский чемпион. — Л. П.) Надо подождать, посмотреть, как он будет выступать в дальнейшем. И особенно на международных соревнованиях, где психологические нагрузки значительно возрастают.

Что касается его маленького веса, то, на мой взгляд, тут такая причина. Анатолий мало тренируется, и поэтому его не тянет есть, чтобы восстанавливать затраченную энергию. Желудок же его так устроен, что лишнее не берет. Его не сравнить с иными тяжками, которых за обеденным столом не видно из-за горы еды, приготовленной к уничтожению.

Думаю, если Писаренко прибавит килограммов десять, они на его фигуре не будут заметны, а результаты от этого только вырастут. Мне кажется, что скоро его соперниками станут не обжоры, а моло-

дые ребята, которых уже немало в первом, да и во втором тяжелом весах. Высокие, сильные, резкие, они скоро начнут задавать тон среди супертяжеловесов.

Спросил я попутно у трех бывших рекордсменов и чемпионов, как дела у них с весом сейчас.

Юрий Власов, который был среди них самым легким (136,5 килограмма), похудел на тридцать пять килограммов. Леонид Жаботинский, весивший 170 килограммов, — на сорок. Василий Алексеев на Олимпиаде в Москве весил 175 килограммов, сбросил уже сорок пять.

Было трудно?

ВЛАСОВ. Очень. Я пытался голодать. Чувствовал себя отвратительно, хотя некоторого результата добился. Потом разработал целую систему физических упражнений. Ежедневно трачу на зарядку около двух с половиной часов. И, конечно, соблюдаю режим питания.

ЖАБОТИНСКИЙ. Сбрасывать большой лишний вес — дело не одного месяца и даже не одного года. Все просто: трать энергии больше, чем потребляешь с едой. Но сколько это требует воли — многие годы недоедать, если привык к другому режиму! Но надо.

АЛЕКСЕЕВ. Эффективная методика сгонки веса разработана давно и не является большим секретом: надо есть капусту, свеклу, брюкву, морковь. И много работать.

Короче, штанга продолжает доставлять им хлопоты и после того, как они покинули помост. За свои громкие былые победы им приходится расплачиваться и поныне.

А Анатолий Писаренко тем временем продолжает бить мировые рекорды.

В марте во Фрунзе на международных соревнованиях Кубок Дружбы он в течение десяти минут установил сразу три мировых рекорда. Зафиксировав в рыжке 197,5 килограмма, он во втором подходе толкнул штангу в 252,5 килограмма, что дало сумму, на два с половиной килограмма превышавшую его же прежнее мировое достижение. В третьей зачетной попытке он толкнул уже 258 килограммов, которые принесли ему еще два мировых рекорда: в толчке и сумме — 455 килограммов (в зачет двоеборья идет результат кратный 2,5 килограмма).

Чтобы по достоинству оценить подобную щедрость нашего нового лидера во втором тяжелом весе — к прежнему своему рекорду Писаренко прибавил сразу семь с половиной килограммов, — следует вспомнить, что супертяжеловесы последних лет расходовали свои силы более экономно и расчетливо. Кстати, весил он в тот день всего 123 килограмма.

А в конце мая в Днепропетровске на чемпионате страны он для начала превысил рекорд мира в рыжке — 202,5 килограмма и был близок к успеху, когда пошел на вес 207,5 килограмма. Сделав рекордную сумму — 457,5 килограмма, он в дополнительной попытке толкнул 258,5 — установил еще один рекорд. Сам он весил в этот день 123,9 килограмма.

Итак, за неполных девять месяцев Анатолий Писаренко восемь раз обновлял мировые рекорды в супертяжелой весовой категории. Не увеличив практически собственный вес, он поднял высший результат в двоеборье на 12,5 килограмма. Как видим, его пример убедительно опровергает бытовавшее до сей поры представление.

Посмотрим, что будет дальше.



ГРИГОРИЙ ГОРИН

ЭКСПЕРИМЕНТ

(Письмо в редакцию)



Рисунок П. Сацкого.

«Уважаемые товарищи! Обращается к вам человек, пострадавший в борьбе с преступностью.

Зовут меня Батюнин В. И., 36 лет, работал на картонажной фабрике, оклад 120 рублей, плюс дополнительный, плюс бездетность, так что всегда еще оставалось много свободного времени для удовлетворения духовных потребностей. В связи с этим неоднократно пытался записаться в драмкружок, в волейбол или в хор, но нигде не был принят по причине маленького роста и невыразительной внешности. Однако в скором времени меня приглашают в штаб народной дружины, и местный главный товарищ спрашивает, хочу ли я попробовать свои силы в борьбе с преступностью? Я сказал, не знаю. Тогда он поясняет, что в нашем парке появилась опасная банда, которая срывает ондатровые шап-

ки с прохожих. Пытались их поймать, не получается. И вот решили провести эксперимент, вроде как ловля щуки на живца, то есть надеть на кого-нибудь из своих товарищей со свистком ондатровую шапку и запустить его в этом состоянии в парк культуры и отдыха. Как мне, мол, идея? Я сказал, идея нравится, но почему я? Он говорит, у вас замечательные внешние данные, в смысле того, что с вас так и хочется немедленно сорвать головной убор. А, кроме того, ондатровая шапка, которую прислали для эксперимента, оказалась 55-го размера и ни на кого больше не налезет.

Так я вышел на борьбу с преступностью. Надел шапку, взял свисток и стал ходить по аллеям парка. День хожу, другой, только ясно ощущаю, что банда мной не интересуется.

Тогда мы собрали совещание в

штабе дружины и стали думать: в чем ошибка? Встает тут дружинница Ольга Куренцова и говорит: товарищи, здесь же все ясно, наш план не продуман, вы посмотрите, какое на товарище Батюнине пальто! Все смотрят внимательно на мое пальто и говорят: ну и какое у него пальто? Жуткое пальто, говорит дружинница Ольга, немодное, с блеском, такое впечатление, что из стекловолна. Человек в таком пальто ондатровую шапку не достанет, а если случайно и достал, то скорее умрет, чем отдаст. Это и отпугивает преступников.

Все тогда поняли ошибку, позвонили, куда следует, и в скором времени мне принесли югославскую дубленку, финские сапоги, а кроме того, дали «Мальборо», которое я сразу стал курить, хотя с непривычки кашлял.

И вот в таком виде я ходил целую неделю взад-вперед по аллеям, предлагая себя преступникам, только банда почему-то опять мною не интересовалась.

Тогда мы вновь собрали совещание в штабе и стали обсуждать: в чем ошибка? Многие предлагали усилить мою внешность за счет мохерового шарфа или, к примеру, опрыскать голландским дезодором. Но тут опять встала дружинница Ольга и сказала, что не в этом дело. Одет товарищ неплохо, и вещи ему к лицу, но преступников может настораживать тот факт, что такой представительный мужчина все один да один. У нас сегодня и на заваливающих мужиков большой спрос, а этот весь с иголочки, как из комиссионки, а не при деле. Я согласна с ним ходить в парке и тем самым усыпить бдительность преступников.

Так и порешили. Четыре дня гуляли мы с дружинницей Ольгой по парку, затем неделю у меня на квартире с целью расширения зоны облыны...

И вот в такой напряженный момент борьбы с преступностью меня вдруг вызывают в штаб и сообщают, что, мол, банда уже поймана и чтоб я немедленно вернулся полученные вещи.

Я стал решительно возражать против такой постановки вопроса, сказав, что у нас банд много, и я ничего с себя не отдам, пока мы их всех не переловим. Кроме

того, говорил я, что мой организм отравлен привыканием к «Мальборо» и свежим продуктам, которые мне выдавались по заказам и что выводить меня из такого состояния врачи рекомендуют постепенно...

Однако со мной говорили неубедительно, мол, отдай, сукин сын, и все.

Вот в таком нервном возбужде-

нии и сильно выпив, я действительно пришел к неправильному решению и той же ночью сорвал с какого-то прохожего шапку. Сделал я это с единственной целью—доказать, что преступность у нас еще есть и рано нам сдаваться... Бескорыстность моих действий доказывает тот факт, что при ближайшем рассмотрении сорванная мною с прохожего шапка

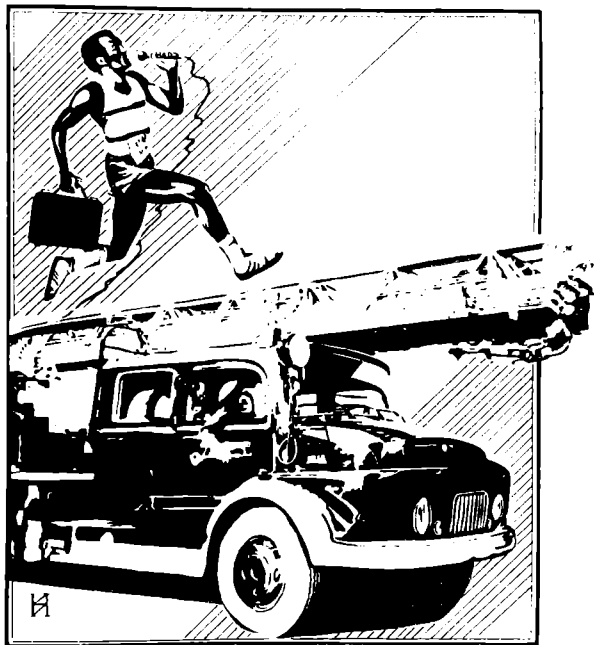
оказалась вовсе и не ондатровой, прохожий не прохожим, а постоянным милиционером.

Сейчас, находясь в трудовой колонии общего режима, имею возможность в оставшееся время писать письма, что и делаю, а по возвращении убедительно прошу продолжить со мной эксперимент, тем более что зима в этом году ожидается очень суровой...

ВАСИЛИЙ ТРЕСКОВ

«ВЫСКОЧКА»

Рисунок И. Наржного.



— пять ты быстрее всех гайки закрутил,—ворчал старый бригадир Иван Константинович.

— Увлёкся...— оправдывался молодой рабочий Боря Барабанов.

— Ты увлекся, а нам потом норму повысят. Ишь, умник!..

— Он просто гаечный ключ неправильно держит. Подучиться ему малость надо,—сехидничал помощник бригадира.

И Барабанов пошел учиться. Через несколько лет ученый совет одного технического института собрался по поводу досрочной защиты дипломного проекта.

— Итак, исходя из формулы, выведенной мною, можно ускорить процесс производства в десять

раз,— закончил Барабанов и положил указку.

— М-да, это все очень интересно,— встал председатель ученого совета Пал Палыч,—но что-то больно уж ловко у вас получается. Вы, молодой человек, прежде чем лезть в Ломоносовы, попробуйте еще сдать мне спецкурс. А то, я вижу, у вас слишком много свободного времени. Наука — это не спринтерский бег... А может быть, вам в самом деле лучше в бегуны переквалифицироваться?

Ученый совет рассмеялся.

...Стадион был переполнен. Раздался выстрел. Спортсмены пулей взяли старт. Вперед вырвался бегун в желтой майке—Барабанов. Он, используя свой новый метод

бега на короткие дистанции, набирал фантастическую скорость.

— Ты куда разогнался? — хрипел ему сзади бегун в синей майке.— Я заслуженный мастер спорта, многократный чемпион... А у тебя даже разряда нет... Сбавь темп!.. Сбавь, кому говорят! На пожар, что ли, бежишь?..

Когда Барабанов финишировал первым, чемпион презрительно кинул в его сторону:

— Ему не спортсменом нужно быть, а пожарником.

...В пожарном депо раздались тревожные звонки.

— Пожар, товарищ начальник! — вбежал в кабинет молодой пожарный Барабанов.

— Ты чего орешь? — спокойно остановил его хозяин кабинета Иван Ерофеич.— Пожаров никогда не видел? Раскричался, как в опере.

...В оперном театре давали премьеру. Исполнитель партии Фигаро был настолько расторопен и искрометен на сцене, что сидящий в последнем ряду бригадир Иван Константинович подумал: «Вот мне бы такого в бригаду...». Председатель ученого совета Пал Палыч, сидящий в двадцатом ряду, наклонился к жене и сказал: «Эх, если бы такие парни шли в науку...» «Цены ему на стадионе не было бы»,—прошептал про себя бывший чемпион по бегу. А в голове начальника пожарной охраны, восседающего в первом ряду, пронеслась мысль: «С такими способностями только в пожарные».

В программке значилось: «Фигаро — артист Б. Барабанов».

НОВАЯ

Д ошло до меня, о высоко-
чтимые читатели, что в
одном городе, похожем
на тысячи городов, где солнце
восходит на востоке, а садится на
западе, где за зимой приходит
весна, а лето сменяется осенью,
так вот, в одном таком городе
жили Он и Она.

Она была прекрасна, с чарую-
щими глазами, осененными из-
огнутым луком бровей, и дыхание
ее благоухало амброй, и коралло-
вые уста ее были сладостны, и
лицо ее своим светом смущало
сияющее солнце, как сказал о ней
поэт:

Она блещет, как много солнц
на восходе.

Сняв покровы, смутит она
звезды ночи.

И Он был тоже прекрасен, бли-
стал совершенством, был подобен
стройному дереву и чаровал все
сердца своей красотой и все умы
восхищал своей нежностью, как
сказал о нем поэт:

Когда красу привели бы,
чтоб с ним сравнить,
В смущенье бы опустила
краса главу.

И Он полюбил Ее. И Она полю-
била Его. И Он пришел в дом к
Ней, чтоб сказать о своей великой
любви и предложить навеки свои
сердце и руку.

— О свет очей моих!.. — произ-
нес Он.

Но больше ничего произнести
Он не успел. Потому что был
включен телевизор, и в этот мо-
мент лунолика диктор-ханум
объявила высокочтимым телезри-
телям, что начинается первая се-
рия многосерийного фильма «Ты-
сяча и одна ночь».

И Он и Она, забыв обо всем,
стали с большим интересом сле-
дить за удивительными приключе-
ниями мудрой Шехерезады и ее
сестры Дуньзады, великого царя
Шахрияра и брата его Шахзе-
мана.

А когда фильм закончился, на-
стала уже полночь. И Он вернул-
ся к себе домой, решив, что при-
дет завтра, чтобы рассказать ей
о своей великой любви и предло-
жить навеки сердце и руку.



ШЕХЕРЕЗАДА

И назавтра Он пришел к Ней и
произнес:

— О свет очей моих!..

Но больше Он опять ничего про-
изнести не успел. Потому что лу-
нолика диктор-ханум объявила
высокочтимым телезрителям, что
начинается вторая серия «Тысячи
и одной ночи».

И снова Он и Она, забыв обо
всем, стали с большим интересом
следить за приключениями ковар-
ного визиря и всемогущего джи-
на, властителя Омара ибн ан-Ну-
мана и его любимого сына Дау-
аль-Макана.

А когда фильм закончился, на-
стала полночь. И снова Он вер-
нулся к себе домой, твердо ре-
шив прийти завтра, чтобы уже
непрерывно рассказать ей о своей
великой любви и предложить на-
веки сердце и руку.

И назавтра Он пришел. Но за-
втра была третья серия.

А послезавтра четвертая. А по-
том пятая. А затем шестая, седь-
мая, двадцатая... Фильм был мно-
госерийным. Он продолжался ты-
сячу и один вечер. И тысячу и
один вечер Он и Она с глубоким
интересом следили за удивитель-
ными приключениями заколо-
ванного юноши и похищенной де-
вушки, хитроумного евнуха и
подлого горбуна, веселого ци-
рюльника и отважного бедуина.

А когда закончилась тысяча
первая серия, Он поднялся из
кресла и опустился перед Ней на
колени.

— О свет очей моих!.. — произ-
нес Он.

Но более вновь ничего произне-
сти Он не успел: лунолика дик-
тор-ханум объявила, что после
окончания последней серии филь-
ма «Тысяча и одна ночь», начи-
нается первая серия фильма «Сто
лет одиночества».

И Он так и не рассказал о люб-
ви своей. И Он так и не узнал о
Ее любви. И так и не предложил
навеки сердце и руку.

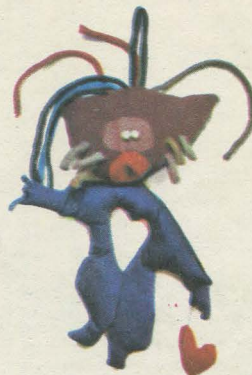
Они прожили вместе у голубого
экрана долго и счастливо. И умер-
ли в один день. Когда сломался
телевизор.

Рисунок
И. Оффенгендена.



Иллюстрация.

Любовь ЮКИНА.



Любовь ЮКИНА.

Куклы.

На стендах «ЮНОСТИ»



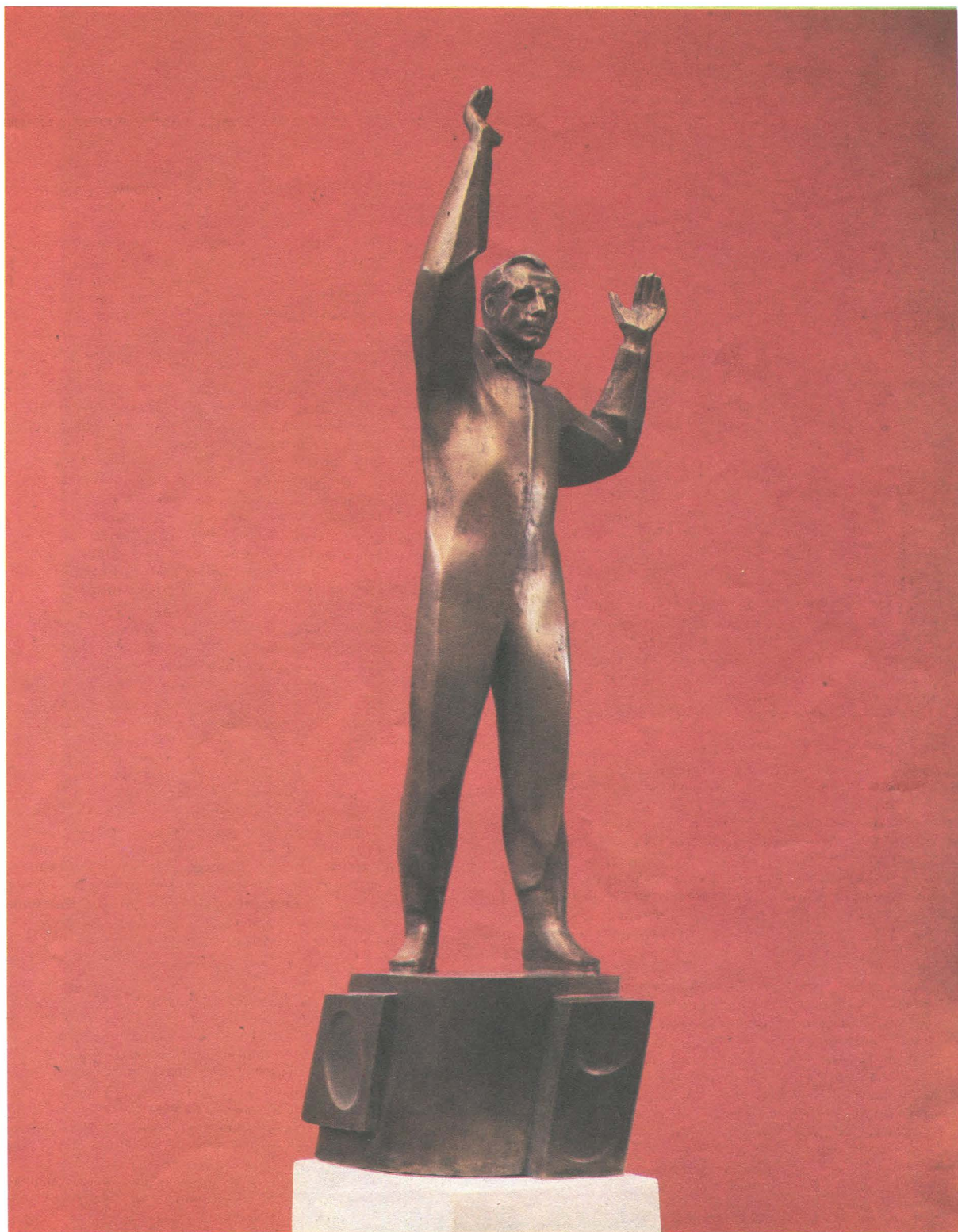
Татьяна ГНИСЮК. Доска «С днем рождения».



Татьяна ГНИСЮК. Пасечник.

Татьяна ГНИСЮК. Тбилисский театр марионеток.



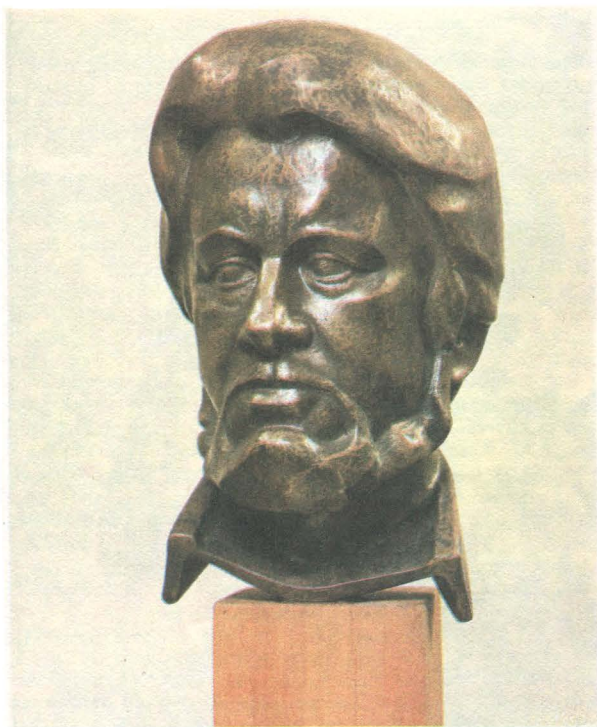


Юрий Гагарин (бронза).

По залам выставки произведений народного художника РСФСР
скульптора ЮРИЯ ЛЬВОВИЧА ЧЕРНОВА.



Высота (бронза).



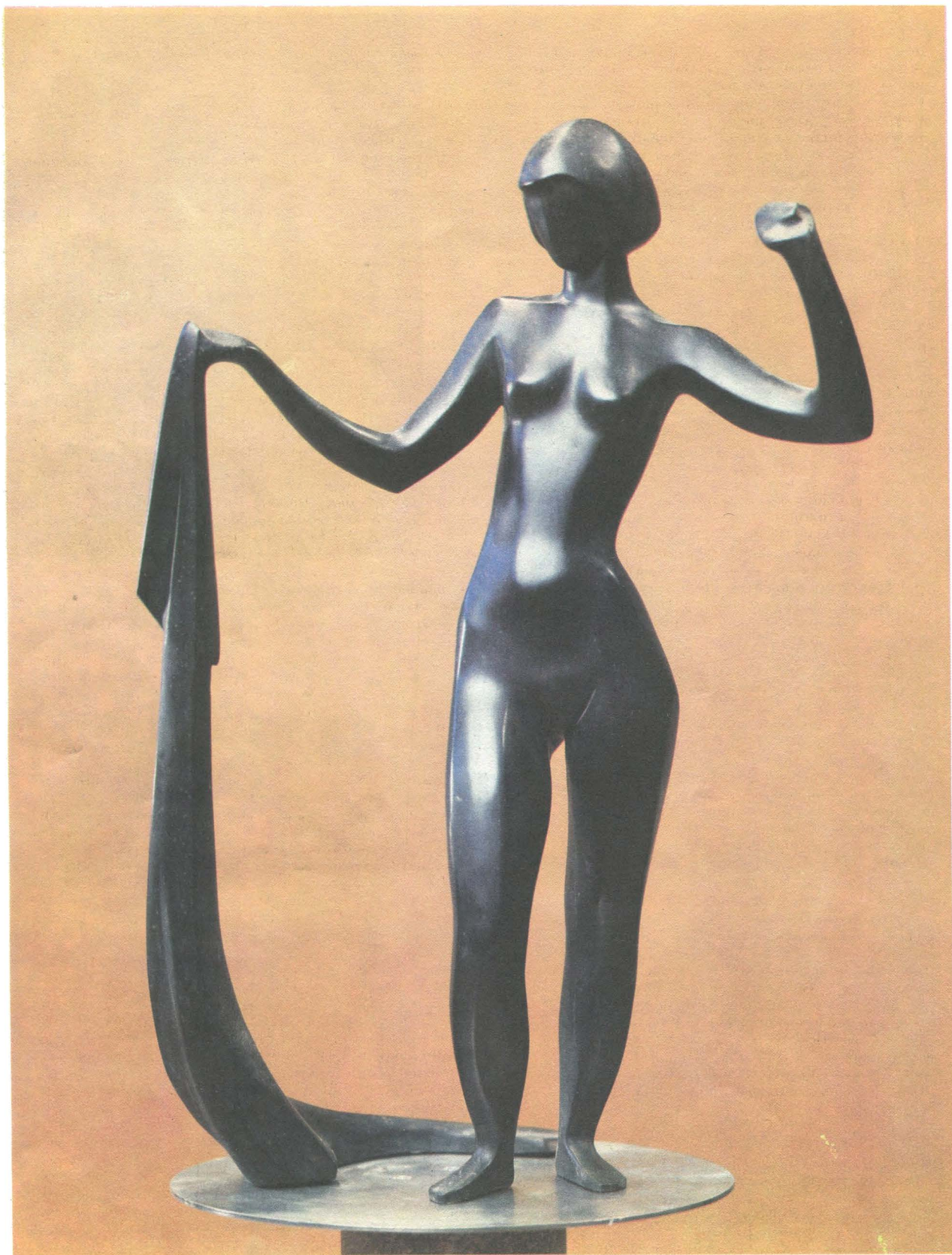
**Итальянский путешественник.
Карло Маури (кованая медь, дерево).**



Портрет дочери (мрамор).



Отец и сыновья (кованая медь).



Девушка с тканью (пластмасса).

ЮНОСТЬ 7

Индекс
71120

Цена 70 коп.